

Валентин Серов. Купанье лошади. 1905 г.

ISSN 0321-0561. В мире книг. 1989. № 8. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.

ISSN 0321-0561

СЛОВО

В МИРЕ КНИГ 8 89



Михаил Врубель. Эскиз к «Демону».
На обложке:
Константин Коровин. Бульвар Капуцинов. 1906 г.

БОРИС ВЫШЕСЛАВЦЕВ

МОИ ДНИ С КОРОВИНЫМ

Судьба дала мне редкое счастье прожить много лет вместе с художником Константином Алексеевичем Коровиным. Это был один из замечательных русских людей. Память о нем, ввиду его исключительной талантливости и значения для русского искусства, должна быть сохранена. То, что я пишу, это не монография о Коровине и не просто мои воспоминания, это рассказы Коровина о том, что он сам считал наиболее интересным в своей жизни, и о тех людях, которых он считал достойными внимания. В долгие осенние и зимние вечера в русской деревне я записал, по возможности, в собственных выражениях К. А. Коровина, то, что он мне рассказал.

Париж, Италия, Испания

22-х лет, заработав за зиму своими декорациями 300 рублей, Коровин едет в Париж. Париж — это великий перелом в каждой русской душе, одаренной чувством прекрасного: это любовь наших прадедов, воплощенная в садах и дворцах, в статуях и парках, нарядах и манерах; это всегдашняя мечта художников и поэтов. Сколько раз я расспрашивал Коровина о его въезде в Париж, об улице, об отеле, о первой ночи и о пробуждении. И всегда он рассказывал с новыми подробностями и с новым волнением.

«Я остановился в Hôtel de la Nevá, rue Montigny, против театра «Паризьен», в окно ночи были видны трубы большого города, жалюзи окон, вся эта темная таинственная громада... спать я не мог... Я писал письма брату, товарищам, двоюродным сестрам. Огни кафе, рекламы, движение, поток нарядов, вежливость, аристократизм тихой Place Vendóme, вся история, изваянная в камне — все это я как будто видел когда-то. Лет восемнадцати я написал Париж (акварель) со слов Поленова, он еще сказал тогда: «Это очень похоже, ты как будто там был». И действительно Париж был такой.

Наутро я поехал в Салон и был поражен невиданными красками, разнообразием художников, праздником для глаз. Светлые краски воздуха, непосредственная, правдивая гамма простоты и изящества, отсутствие условности и олеографичности, свобода от тенденциозности, все это — восторг, жизнь, веселье, бодрость. Потрясенный, я тихонько сказал себе: так вот что! здесь пишут, как я! Значит я был прав, когда не шел по пути, который мне указывали, и избрал свой... Я написал Париж из окна, кусок Парижа, и он был не похож на них, на французов. Мне хотелось его показать кому-нибудь из художников, но я не мог ни с кем познакомиться. Сам я, однако, думал, что мог бы участвовать на выставке, в Салоне».

Первая поездка Коровина была непродолжительна. Но это было настоящее художественное образование; он видел Лувр, и, главное, он нашел веру в себя, убедился, что его живопись имеет право на существование, что французский импрессионизм ставит себе те же задачи, хотя и решает их иначе.

По приезде домой Коровин увидел другую Москву и другую Россию. Вот как он изображает Москву после своего возвращения:

«Фонари показались мне кривыми, дома, покрытые салом, странная мостовая, маленькие окна, маленькая и грязная Москва. И еще какая-то невозможность работать и безделье. Время идет в разговорах, художники обсуждают, что такое искусство и в чем моя вера? Никто ни в чем не уверен; все говорят о деньгах, тоскуют, что нет денег, как будто кто сжалится и даст их сейчас. «Хорошо Шаляпину, — сказал мне один певец, — эдак всякий споет — получает 20.000 в сезон».

Здесь зарождалось у Коровина то недоверие к русскому обществу и к русской интеллигенции, которое превратилось у него впоследствии в ясное предчувствие неминуемой ка-

тастрофы, при этом он вовсе не искал вслед за народниками и Толстым утешения в мужике. Охотник, любитель природы, он слишком близок был к мужику и слишком зорок, чтобы заблуждаться и обольщаться на его счет. «Дикари, — говорил он, — глина, из которой все можно сделать».

Двадцати шести лет Коровин едет в Италию и знакомится с великими классиками. Пред ним проходят Венеция, Флоренция, Рим, Неаполь. Это второе событие, второй перелом в душе художника. Все современное показалось ему тогда ничтожным; гениальность мастерства итальянской живописи, конечно, поражала, но еще более изумлял дух эпохи Возрождения и его творении. «Всякое подражание и заимствование было бы жалким, — говорил он, — мы люди иного духа и иной цивилизации, мы уже не можем так жить и чувствовать... Мелким, больным, дешевым, замученным рабом показался я сам себе, — рассказывал Коровин, — не вера и религиозность сюжета поражали, не идея, а мощь искусства, сила красоты, пышность, насыщенность... Казалось, что люди того времени все видели через красоту и действовали через красоту: гнев, страсти, любовь и все движения жизни были создаваемы в формах прекрасного... Я не могу сказать, что это христианство, ибо там нет культа бедного, угнетенного, слабого, нет miseria, только сильное и высокое считалось там правым».

В Коровине был редчайший дар проникновения в стиль и дух чужих, далеких культур. Это дар русского гения, как на это указывал Достоевский. К сожалению, Коровин воплотил это только в своих эфемерных декорациях. Меня всегда изумляла эта его способность фантастического воссоздания: какая бы, в сущности, эрудиция требовалась там, где он, как бы играя, как бы во сне, вызывал все эти образы.

Как-то раз мы смотрели в окно моей квартиры на Ивана Великого и на Кремль. «Посмотрите, — сказал Коровин,— в этом Иване Великом, что вы в нем видите? Это монах старой Руси в надвинутом клобуке, высокий, прямой, но придавленный какой-то тяжестью. Великий пост, стояние, затвор, мрак есть в этой архитектуре; весь дух эпохи в ней виден... Недаром русские так любят похороны...»

После Италии К. А. едет в Испанию. Эта страна много дала для его живописи и декораций. Здесь он написал знаменитых «Испанок», выставленных впоследствии в Париже, он сделал также несколько этюдов для декораций «Кармен» и, наконец, увез с собой в своей изумительной художественной памяти всю эту нагроможденно-пышную, экзотическую и величественную архитектуру, все эти скалы и желто-красные пустыни со странными колоритами. Эти видения окаменевших фигур в плащах на папертях храма, все это он сохранил, чтобы потом воплотить во множестве миниатюр, написанных много лет спустя на память, а также в декорациях к «Дон-Кихоту».

Коровин, замечательно схватывавший стиль наций, часто говорил мне о сходстве испанского и русского характеров. Какие-то испанские художники тотчас же с ним познакомились и до того подружились, что один к нему переселился жить, и все это без всякого общего языка; тотчас был устроен вечер, вино и речи... Коровин тоже был принужден сказать речь (к концу вечера это было уже не так трудно). И на другой день речь была напечатана в газетах. Ему перевели, и он был изумлен: откуда взяли это красноречие?

«Страна дикая, странная, жутковатая, невероятно богомольная, гостеприимная и благородная. Непохожа на Европу и больше всего похожа на Россию», — говорил Коровин. Он любил вспоминать двух своих моделей, Ампару и Леонору, которые ни за что не хотели брать с него деньги, и которым он подарил вместе с ними выбранные башмачки и китайские платки.

По возвращении Коровина в Россию, его работы по-прежнему не принимались на Передвижную выставку, и его «Испанки» долгое время валялись в углу мастерской. Но декорации, сделанные по эскизам с натуры и по мощным живописным воспоминаниям, имели успех. Для театра Мамонтова он сделал «Каменного гостя» и «Кармен», а также ряд постановок итальянских опер: «Отелло», «Фенелла», «Лукреция Борджия», «Дон-Жуан», «Севильский цирюльник» и другие.

Серов н Врубель. Мастерская в доме Червенко

Эти три художника — Коровин, Серов, Врубель — были друзьями, вместе боролись за жизнь, за свое искусство, вместе прокладывали новые пути.

С Серовым Коровин познакомился у Мамонтова. В это время Остроухов, Серов и Михаил Мамонтов (который тоже хотел быть художником) занимали в Москве отдельную мастерскую, где писали модели. Коровин никогда не был туда приглашаем, так как считался декоратором, а не художником. К его живописи относились отрицательно, не признавая ее серьезной. Коровин тоже не придавал молодому Серову большого значения. «Видя его еще ребячьи наброски и большую трудоспособность, я сначала не заметил в нем ничего интересного», — говорил Коровин. Но понемногу отношения изменились. Серов сам стал искать сближения с Коровиным. В это время Коровин жил на Долгоруковской улице в доме Червенко, где у него была мастерская. И вот Серов, который тоже имел мастерскую, предложил Коровину построить отдельную комнату для него при коровинской мастерской. Так и было сделано. Серов переехал к нему, и началась их совместная дружеская жизнь и работа.

Материально художники вели довольно трудную жизнь, но их индивидуальности раскрывались и расцветали. Насколько зависть убивает дух, настолько же дружба его окрыляет. Постоянные беседы о живописи давали импульс к работе. Живопись Серова в это время изменилась — сделалась сильной и темпераментной. Портрет, который он сделал с Коровина, представляет живое воплощение этого периода его творчества. Коровин изображен молодым, полным радости и юмора; изображена знаменитая мастерская в доме Червенко, и наконец воплощены колоритные искания Серова — результат его художественного общения с Коровиным. Серов писал этот портрет очень долго, и все же он остался незаконченным, эскизным.

К этому времени относятся работы, выставленные обоими художниками на конкурсе общества любителей художеств. Серов выставил портрет, Коровин — пейзаж и жанр. Первой премии не получили ни тот, ни другой, ее вообще не выдали никому. Оба получили вторую. «Жанр» Коровина изображал людей на террасе на фоне вечернего солнца.

Замечательна та характеристика, какую Коровин, редкий мастер замечать существенное в человеке, дал Серову того времени: «Серов был человек мрачный, глубоко тоскующий. Он говорил: жизнь просто ненужная, невольная проволочка и тоска... Серов был брюзглив, ничто ему не нравилось. Вообще он производил впечатление человека, совершенно упавшего духом. Он очень любил Веласкеса, ценил Репина и как-то не мог сделать ничего своего, словно не зная, что делать. Юморист и насмешник, по характеру скептик, никогда никем и ничем не довольный, он долгое время собирался писать картину: привоз Иверской в публичный дом. Чем увлекала его такая тема, для меня было не совсем понятно. Он обнаруживал еще необыкновенный интерес к стоящим на бирже извозчикам. Однако он недостаточно писал типичное и смешное, хотя и был юморист. И только в своих карикатурах он вполне проявлял себя, в них он был для меня настоящим художником... «Опять надо писать противные морды», говаривал он, отправляясь на портретные сеансы; казалось, он пишет их только нз нужды. Возвращаясь с этих сеансов, он рассказывал: «Пришел, брат, я писать А., старика. Поздоровались, меня пригласили присесть в гостиной и подождать покуда позавтракают. В открытую дверь виден завтрак — папаша, мамаша, дети, стук тарелок... Долго завтракали. Наконец, вытирая рот, вышел папаша: — ну, теперь, господин художник, займемтесь делом. И вот, я занимался делом за 500 рублей», — и Серов качал головой и смотрел мне в глаза. Так Серов «занимался делом», а я — своими декорациями. Мне все хотелось написать русские большие симфонии в пейзажах с людьми, а Серову Иверскую. Но это так и не вышло».

Вскоре в мастерской Червенко произошло одно важное событие: к Коровину и Серову примкнул Врубель. Врубель приехал в Москву из Киева, где он только что закончил свою прекрасную живопись во Владимирском соборе и в Кирилловской церкви. Его появление и обстоятельства его приезда были необычайны, как, впрочем, и все в этом человеке. Вот что рассказывал мне Коровин об этой встрече: «Однажды в октябре, в одиннадцать часов ночи я возвращался домой. Было холодно, грязно, моросил дождик. Москва — мрачная, мокрая, неуклюжая. Все сидят по домам, на улице мрак, туман, слякоть. Из дверей трактиров вырывается пар на улицу. Я шел, задумавшись, в свою деревянную мастерскую. Она стояла в саду, усыпанном мокрыми осенними листьями. Вдруг сзади я услышал: «Коровин!» Я обернулся — в летнем пальто с приподнятым воротником, в легкой шляпе, стоял Врубель. Узнав, что он две недели уже как приехал, я удивился, что он не отыскал ни меня, ни Серова. В ответ Врубель предложил сейчас же идти с ним в цирк, куда он сам спешил.

— Но ведь цирк уже кончается, поздно?

— В таком случае я приду к тебе завтра.

— Где ты остановился?

Врубель не ответил.

— Я приду завтра в три часа, а вечером пойдем в цирк.

Мы простились.

Отойдя, он закричал: — Постой, дай мне три рубля! — Я дал.

На другой день Врубель пришел, как сказал, в три часа в нашу мастерскую. Серов тоже очень ему обрадовался. Врубель не посмотрел совершенно на то, что было написано мною и Серовым и висело в мастерской и, побыв недолго, стал звать нас непременно в цирк, где он будет нас ждать:

— Я вам покажу замечательную женщину, необычайной женственности и красоты!

Вечером мы с Серовым пошли в цирк. После обычных клоунов, силачей, обезьян, на белой лошади выехала наездница.

— Вот она! Смотрите! — сказал Врубель.

Наездница прыгала в кольца, пробивала бумагу, ехала стоя на голове. Вглядываясь тщательно в нее, я видел бледное лицо брюнетки, с большими темными глазами и сильно закрученной перевитой косой. Когда она кончила свой номер, Врубель взволнованно сказал: «Пойдемте»! и быстро потащил нас за кулисы какими-то темными лестницами. Мы вошли, когда отводили лошадь. Наездница, одетая в трико, стояла рядом с человеком низкого роста, сильного и грубого сложения, в костюме паяца и с лицом типичного итальянца из народа. Это был ее муж. Врубель нас тотчас же представил. Тут я увидел ее ближе. Она была небольшого роста, с совершенно белым, как мрамор, лицом и с большими, добрыми, как у лошади, глазами. Голова ее была посажена красиво, на ровной, прямой, белой шее. Обычный итальянский тип...

— Хороша? — спросил Врубель в сторону.

— Ничего особенного, — сказал Серов и стал прощаться.

Врубель просил меня остаться, чтобы вместе пойти к ним после представления. Они жили недалеко от цирка на Третьей Мещанской, во дворе, в деревянном доме. По грязной лестнице мы вошли в маленькие комнаты с запахом деревянного масла и щей. В первой комнате был диван, на котором стояло огромное полотно. На нем изображалась она, эта женщина, размером вдвое более натуры. Портрет был поясной. Рядом были разбросаны картоны. Портрет давал лицо с огромными глазами, в каких-то облачных красках и был удивительно странный и особенный. На полу лежал тюфяк без простыни. Я догадался, что здесь помещалась мастерская Врубеля. Пальто служило ему, очевидно, одеялом. В соседней комнате, где жила удивительная женщина с мужем, стояла скудная, печальная мебель и стол с вязаной салфеткой, на котором она, положив бумагу, стала резать колбасу и хлеб. Итальянец откупоривал бутылки пива. Одета была она в вязаную красную кофту с синим воротником. На шее у нее была черная бархатная лента со стертым большим золотым медальоном. Итальянец был тоже в вязаной кофте, подпоясанной широким синим шарфом. В общем они давали цвета каких-то попугаев.

В комнате было жарко. Врубель снял свой элегантный сюртук. Наездница подошла ко мне и сказала почему-то — «Господин Ноблэсс!» — стала снимать с меня сюртук. Врубель и ее муж без умолку говорили по-итальянски. Я понял, что речь идет о цирке, о каком-то клоуне, который взял вперед деньги и досадил антрепренеру. Врубель жил и горел их профессиональными интересами. Мне было очень странно. У них была свою особая жизнь.

Наездница сидела, как царица, изредка вставляя решающее авторитетное слово. Вглядываясь в нее, я видел, что она была торжественна н в атмосфере обожания (которая ее окружала) была действительно прекрасна. Это была какая-то особая богема, в которой все эти люди понимали друг друга. Я сидел среди них, как чужой. Только тут, наконец, я узнал, что Врубель приехал из Киева с цирком!

На другой день Врубель пришел ко мне. Я предложил ему переселиться к нам в мастерскую, и он вечером же переехал. Итальянцев он больше уже никогда не видал. Перестал интересоваться ими и портрет оставил у них. Он привез с собою картон, на котором в центре композиции был изображен распятый Христос. Тело Христа было написано все, как бисер; оно было из мелких бриллиантов. Каждая грань была тронута цветами радуги и потому сияла, как алмаз. Херувимы и серафимы, окружавшие Христа, былн как бы изумруды, сапфиры, топазы. Поразительными орнаментами соединялись их крылья, опускавшиеся до земли в причудливых строгих и ритмичных формах. Это был каскад необычайных красочных гармоний; опасная грань модерна, плаката, дешевой изысканности и величия серьезной неожиданной формы, равной классикам. Все это восхищало и подавляло меня.

Но каково же было мое удивление, когда через неделю я увидел этот картон разрезанным на четыре части с наклеенной на них ватмановской бумагой, на которых Врубель стал делать иллюстрации к кушнеревскому изданию «Демона». Пораженный, я высказал Врубелю свое удивление. Он сказал: «Это же никому не нужно, и никто этого не поймет».

Врубель часто делал костюмы для театра, которые ему не заказывали, рисовал на память карандашом лица женщин, с которыми познакомился, но оставлял их там, где делал. Однажды он взял у меня 25 рублей, тогда большие деньги для нас, и привез на них духи, дорогой заграничный кусок мыла и ликер.

Проснувшись утром, Врубель, стоя в глиняном тазу, обливался теплой водой с духами. Каждый день он бывал у куафёра и чуть не плакал, когда манжеты хоть немного были запачканы краской. Он клал в золу печки куриное яйцо, которое ел с хлебом, запивая водой с ликером, что составляло его завтрак и обед. Но одет он был всегда изысканно-элегантно. Он не любил бывать в гостях у богатых людей (хотя ценил роскошь) и все, что получал, тратил в тот же день. Тогда он, один, отправлялся в лучший ресторан, требовал лучшего метрдотеля, обсуждал с ним изысканные блюда и вино. Понимая гурманство, один метрдотель сказал мне: «Из всей Москвы это настоящий господин, они понимают, и им приятно служить».

Однажды я пришел в мастерскую и застал Врубеля за работой. На большой широкой атласной голубой ленте был сделан прямо от руки, четко, без всякой поправки, удивительной формы невиданный орнамент. Подходя, он остро водил штрих за штрихом, как будто откуда-то его снимал. За орнаментом следовали стильные особенные буквы, и я прочел: «Николаю Евгеньевичу слава, Боже Левочку храни, Шурочке привет!».

Оказалось, соседний дом, богатой немецкой фамилии, узнав, что здесь живет художник, поручил сделать этот плакат на именины Левочки; плакат должен был быть повешен над корзинкой со сластями, которую вывезут на колесиках в разгар именин. Николай Евгеньевич, как оказалось, был доктор, Левочка — любимец семьи, которому доктор сделал операцию, а Шурочка кто — так я и не узнал. За эту работу Врубель получил 10 рублей.

Странно то, что в Москве, столь занятой искусством, после прекрасных фресок Кирилловской церкви в Киеве и работ во Владимирском соборе, никто не сумел оценить изумительного дарования Врубеля. Повторяя модное слово «декадент», Москва прилагала его к Врубелю, так что даже Коровина на время оставили в покое. С невероятной злобой и раздражением отнеслись к Врубелю и все интересующиеся искусством, и художники.

«Однажды пришел ко мне Павел Михайлович Третьяков смотреть мои летние картины, — рассказывал Коровин. — Долго раскланиваясь, чем на меня он производил впечатление боярина скромного и серьезного вида, он внимательно осматривал картины, то чуть ли не касаясь их лицом, то отходя далеко-далеко. На большом столе у стены стояли прекрасные эскизы Врубеля — иллюстрации к «Демону» и «Хождение Христа по водам».

— Павел Михайлович, посмотрите эти замечательные вещи, это работа Врубеля! — Он посмотрел на них искоса и сразу стал со мной прощаться. Я сказал: — Павел Михайлович, вам это не нравится?

— Не знаю, не знаю, — сказал он. — Извините меня, но это не искусство!

Когда пришел Врубель, я рассказал ему, что произошло.

— Если бы он сказал другое, я бы очень удивился, мне было бы очень грустно, если бы это ему понравилось.

Когда Врубель выставил большую акварель — своего умершего сыиа, в цветах, чудную акварель, дивиый трагический портрет, с маленьким шрамиком на губе, который был и у отца, то художественный критик, имевший большие претензии на понимание искусства, написал: «Видно, что это сын декадента».

Прошло 8 лет. Врубель уехал за границу, в мастерскую ко мне опять пожаловал П. М. Третьяков и спросил, где бы увидеть эскиз Врубеля «Хождение по водам»? Эскиз был у меня и был мною приобретен у Врубеля. Я показал его Павлу Михайловичу, и он просил устроить ему эскиз для галереи.

— Отчего же вы тогда не посмотрели, Павел Михайлович?

— Не понял, не понял, — отвечал Третьяков.

Я с радостью уступил ему этот эскиз, как дар. Но на другой стороне этого картона был другой эскиз: занавес для оперы Мамонтова — «Ночь в Италии», певцы времен Чинквеченто, который Третьяков обещал мне вернуть, разрезав картон, ибо это ему ие нравилось. После смерти Третьякова я сообщил это управлению, и оно разрезало и возвратило эскиз, иначе он остался бы похороненным на оборотной стороне картины. Я подарил эту вещь в Третьяковскую галерею, находя ее лучшей, чем первый эскиз...»

Интересио проследить, как отразилась совместная дружеская жизнь всех трех художников иа их творчестве. Серов здесь получил больше всего для своей живописи, он находился под влиянием Коровина. Будучи талантливым рисовальщиком и человеком редкой трудоспособности и упорства, он старался усвоить живописную насыщеииость и пышность коровинских колоритов. Достигнуть этого вполие он никогда не мог, так как был человеком совсем иного жизнечувствования, но все же живопись его стала сильнее.

Напротив, Врубель иичего не мог заимствовать у Коровина, так же, как и Коровин у Врубеля. Это были мощные художественные индивидуальности, и каждая шла своим путем. Коровии искал лиризма в русской природе, в русской деревне, в образах ежедневной жизни. Врубель же, напротив, говорил: «Я ненавнжу ваши мостики, речки, деревеньки... На этом мостике Сегаль может сломать ногу». Сегаль была кровиая скаковая лошадь, а Врубель был страстным наездником.

Врубель не был лириком русской жизни. Его захватывала лишь романтика фантастического потустороннего мира. Другое различие их путей заключалось в том, что Коровин был импрессиоиист и потому прежде всего живописец. Врубель же не был импрессионистом, и живописность никогда не стояла у него на первом плаие. Его область была совсем иная: это были гениальная графнка, иллюстрация, выражавшая мистические и символнческие образы, и фантастические ориаменты. Только один раз Врубель увлекся чисто живописной задачей, это в своей картине «Ночное» (Третьяковская галерея), и нужно признать, он достиг здесь большой силы. Коровин, считавший Врубеля совершенно исключительным, мировым художником, говорил часто, что в нем были заложены все позднейшие искания живописи: и Пикассо, и кубизм.

В силу этого основного различия путей, Врубель не особенно любил жанр Коровина: его «Испанки» ему не иравились; зато он очень ценил декоративные искания Коровина. Область сказочной фантастики и романтизма далеких стран и культур объединяла художников. 〈...〉

Однажды Коровнн был приглашен в жандармское отделение в Москве. К нему вышел очень приличный человек, в штатском, маленький, полиый. Он был изысканно любезен и просил сесть, предложив папиросы. У него, видите ли, имеется запрос из Петербурга, касающийся Коровииа. Постановки, вызвавшие такую сенсацию, требуют маленького объяснения, которое нисколько не должно огорчать художника. После всех этих любезных прелюдий он наконец сказал главное:

— Скажите, пожалуйста, какая связь между импрессионизмом, который вы проводите на сцене, и социализмом?

Коровину редко приходилось так широко открыть глаза, как в этом случае.

— Вы не подумайте, что это допрос, — сказал он. — Это только необходимое разъяснение, и мне нужно что-нибудь ответить в Петербург.

Коровин мало понимал в политических учениях, но возразил, что решительно не находит никакой связи между нмпрессионизмом и социализмом и никогда подобного вопроса себе в своем творчестве не ставил.

— Так, так, — сказал он, — так и запишем. Все же вы со миой не совсем искреиии, хотя я желаю вам только добра. Против вас вся пресса, и я мог бы вам помочь.

Коровин ответил ему, что наша пресса невежественна в вопросах искусства. Тем и закончился этот любопытный разговор.

А театры были по-прежнему полны, и в самой прессе наконец образовалось два враждебных лагеря, за и против Коровина, и публика также раздвоилась. На репетициях одни жали Коровину руку, другие — мрачно молчали. Работа Коровина была периодом совершенио исключительного расцвета декоративного искусства на сцене императорских театров в Петербурге и Москве. Коровинские постановки были событием в истории балета.

Его сказочные пираты, испанки, испанцы и персианки были вовсе не реалистичны, вовсе не списаны с исторических и национальных костюмов. Театр не этнографический музей, говаривал Коровин. Эту мысль К. А. всегда проводил в своих постановках. Он считал, что театр не должен пассивно воспроизводить реальиость; изображая лес, не следует тащить на сцену настоящую березу. Поставить действительные юрты и фигуры самоедов в подлинных костюмах не значит дать декорацию севера. Всякий, кто вступает на этот путь, покидает путь художествениого творчества. А театр должен всегда действовать средствами искусства. Художествеиная фантазия писателя, поэта, драматурга, юмориста, живописца никогда не должна ставить своей целью пассивно отразить то, что есть, или то, что когда-то было. Искусство берет свои образы, проблемы, идеи из действительной жизни, но оно поднимает их в план прекрасного, в совсем особый мир, и серый мир ежедневной реальности всегда лежит глубоко под ним...

ВЫШЕСЛАВЦЕВ Борис Петрович (1877—1954) родился в Москве. По окончании средией школы поступил на юридический факультет Московского уииверситета, где примкнул к талантливой молодежи, группировавшейся вокруг профессора философии права П. И. Новгородцева. Уже в ту пору стали складываться основные интересы Вышеславцева, и когда он уехал в заграничную командировку для работы, то темой своей диссертации избрал этику Фихте. Все характерно в этом сосредоточении на этике Фихте: и то, что Вышеславцев выбрал того представителя трансцендеитализма, который ближе всех стоял к Канту, и то, что он занялся не гносеологическими изыскаииями Фихте, а именно его этикой. Выбор темы, работа иад ней превратили Вышеславцева в одного из интереснейших представителей философского персонализма.
После защиты диссертации (1914 г.) Вышеславцев стал доцентом, а позже профессором Московского университета. Блестящий оратор, ои собирал всегда огромную аудиторию спушателей. После революцин сблизился с Н. А. Бердяевым, принял участие в созданной им в Москве Религиозно-философской Академии, а в 1922-м, вместе с другими русскими философами и писателями, был выслан за границу и поселился в Берлине. Здесь ои стал ближайшим сотрудником воссоздаиной в Берлине Религиозно-философской Академии, вместе с Бердяевым переехал (в 1924 г.) в Париж, совместно с ним редактировал журнал «Путь»... Во время оккупацин Франции Вышеславцев попал в Швейцарию, где и оставался до конца дией. В годы пребывания в Париже ои был профессором Богословского института (по кафедре нравствениого богословия).
Вышеславцеву принадлежит много интересных работ, этюдов, статей. Кроме его первой книги «Этика Фихте», самым значительным его трудом является книга «Этика преображенного эроса» (том 1, Париж, 1932 год; том 11, темы которого уже были намечены в предисловии к I тому, так и остался ненаписанным). Среди других работ можно отметить такие, как: «Русская стихия у Достоевского», «Сердце в индийской и христианской мистике», «Кризис индустриальиой культуры», «Трагизм возвышенного и спекуляция на понижение», «Вечиое в русской философии».

В Р Е М Я

ИДЕИ. ДИАЛОГИ. ПОИСКИ.

ПРИГЛАШЕНИЕ К ЯРМАРКЕ

MIBF

Moscow International Book Fair

ЮРИЙ ЖИЖИН,
генеральный директор

Московская международная книжная ярмарка будет проводиться, как и прежде, на ВДНХ СССР, с 12 по 18 сентября.

Это уже седьмая по счету деловая встреча представителей издательских и книготорговых фирм, международных и национальных ассоциаций издателей и книготорговцев, литературных агентств и обществ, а также авторско-правовых организаций. За прошедшие двенадцать лет она сумела завоевать широкое признание мировой общественности. Если первая выставка-ярмарка, проходившая в 1977 году, собрала 67 государств-участников, то на ММКВЯ-87 число их достигло ста. Все больше становилось и фирм, предлагающих свою продукцию в Москве: 1535 — в 1977 году и уже 3000 в 1987-м. Только на ММКВЯ-87 было заключено более 9000 деловых соглашений; общая сумма сделок лишь одного Всесоюзного объединения «Международная книга» составила 135 миллионов рублей: экспорт советской печатной продукции приблизился к 72 миллионам, а импорт — к 63 миллионам рублей. В чем же особенность московского книжного форума этого года!

Наблюдательный человек заметит, что в аббревиатуре ММКВЯ исчезла одна буква — В, под которой подразумевалось слово выставка. Это, конечно, не просто сокращение, а, как мы ожидаем, изменение сути работы. Собственно, что такое книжная ярмарка? Большинство тех из них, что проводятся за рубежом, нацелены прежде всего на оживленную коммерческую деятельность. Первейшая забота их участников не демонстрировать, а продавать книги. Такой деловой подход подсказал и нам принципиальные коррективы. Элементы выставки, например, возможность посещения ее всеми желающими, на ММКЯ останутся, но главным все-таки будет ярмарка, то есть международное торговое предприятие, для которого самое важное — проведение переговоров, заключение контрактов по экспорту-импорту изданий, приобретение или уступка авторских прав, обсуждение идей конкретных издательских акций, будущих соглашений и совместных программ.

Уже давно повелось у западных фирм: намереваясь отправиться на книжную ярмарку, они готовят к ней издания только для продажи. И если раньше привозили в Москву немало книг для показа, демонстрации своих возможностей, то этим отдавали дань и выставочному характеру ММКВЯ. На этот раз мы не увидим в основной экспозиции достаточно широкую, как прежде, панораму мирового книгоиздания, особенно советского.

На стендах ММКЯ-89 будут представлены книги, выпущенные в 1988—1989 годах, то есть те, которых не было в прошлых экспозициях, — во всякой коммерции должен максимально присутствовать элемент новизны.

Не менее важны для партнеров реальные планы издательств хотя бы на последующие два года. Будут показаны на ММКЯ-89 и макеты будущих книг — они могут особенно заинтересовать зарубежные фирмы, предоставляя им возможность видеть и более отдаленную перспективу двустороннего сотрудничества.

Одновременно в павильоне ВДНХ «Советская печать» откроется выставка многонациональной литературы нашей страны и изданий по искусству, выпускаемых издательствами всех союзных республик, хотя они и не всегда будут представлять коммерческий интерес. В каждой экспозиции разместится около ста книг.

Хочу подчеркнуть: теперь никто не диктует нашим издательствам, что выставить на московской ярмарке, какую проводить коммерческую политику до и после нее. Но коль уж предлагаешь товар, постарайся его продать. Возможности для этого есть.

Проработав немало лет во внешней торговле, могу твердо сказать, что деловые качества лучших советских коммерсантов ни в чем ни уступают западным критериям. Но при условии, если речь идет о профессионалах. Сейчас внешнеторговые сделки могут осуществляться любым издательством и кооперативом, но, что надо отметить, работа эта пойдет в условиях жесткой конкуренции. Если говорить о системе Госкомиздата СССР, то, на мой взгляд, всем предприятиям отрасли надо максимально использовать возможности коллектива Всесоюзного объединения «Международная книга», его квалифицированных в области внешнеторговой деятельности работников.

Итак, главная цель перестройки ММКЯ — придание ей максимально делового, коммерческого характера. Наш призыв «Приезжайте торговать!» наполнен однозначным смыслом.

Изменен и регламент работы ярмарки. В первый, второй и последний дни она будет открыта только для специалистов. В остальное время на ней смогут побывать обычные посети-

Фото НИКОЛАЯ КУЛЕБЯКИНА

ЖИЖИН Юрий Борисович родился в 1933 году. Закончив Институт внешней торговли, работал на различных должностях в Министерстве внешней торговли СССР, тринадцать пет возглавлял крупное торговое объедииение. С 1987 года — в системе Госкомиздата СССР.
В 1988 году был назначен генеральным директором Генеральной дирекции международных книжных выставок и ярмарок.

тели. Еще один штрих: нв ММКЯ-89 будет гораздо больше, чем раньше, коммерческой рекламы зарубежных фирм и организаций, за которую мы намереваемся получить плату, в том числе, в твердой валюте, так же как и за прочие услуги. Коммерческие интересы не основное для нас, но в складывающихся условиях хозяйствования все же важные, тем более, что заработанные рубли и валюту решено отдать отрасли в целом.

Какои же ожидается экономическнй результат от этого граидиозного мероприятия? Призову на помошь шутку. В кинофильме «Берегись автомобиля» звучит примерно такая фраза: все люди делятся на две категории — те, кто имеет автомобиль и хочет его продать, и те, кто не имеет автомобиля, но мечтает его купить. Конкретно задаиного плана суммы сделок на ММКЯ у иас нет. Конечно, имеются определенные наметки, предположения, однако говорить о них преждевременно. Самое главное на ярмарке — встречи специалистов, переговоры, обмен идеями и конкретиые коитракты, установление или расширеиие прямых связей между партнерами. Как мы ожидаем, будут образованы новые совместные предприятия. Мы хотим, чтобы иаша ярмарка стала ведущим центром международного книгообмена.

Если говорить о Гендирекции, работа которой на московской ярмарке в 1987 году вызвала справедливые иарекания, то для иас сегодня главиая задача — создать более благоприятные условия для коммерческой деятельности. То есть оборудовать нормальные офисы и стенды, организовать четкую работу информационной службы и так далее. А вот плодотворность, так сказать, творческой части ярмарки зависит от ее участников.

Сколько же будет представлено иа ММКЯ-89 стран? Меньше, чем их было два года назад. В 1987 году, тем паче, еще раньше, в Советском Союзе существовали другие условия, многое было лишь внешним благополучием, иными были подходы к проблемам развития нашего общества. Сейчас время перестройки, иной взгляд. Теперь оргкомитет ярмарки предлагает участвовать в неи всех, кто хочет, отправив приглашения во все страны, но сократим количество официальных гостей. Это, конечно, и приведет к уменьшению числа государств-участников.

Если же говорить о том, какие качественные изменения произойдут в тематике экспозиции ММКЯ, то надо подчеркнуть, что, благодаря демократизации и гласности, западные издательства смогут показать более широкий тематический спектр литературы. Когда прежде некоторые западные фирмы привозили так называемую эмигрантскую литературу на русском языке, около стендов выстраивалась очередь, чтобы здесь же почитать понравившуюся книгу. Сейчас произведения многих писателей русского зарубежья вышли в советских издательствах.

Хочу иапомнить, что в московском выставочном комплексе на Красной Пресне работает организованная нашей Гендирекцией постоянная выставка американской и английской литературы. Там можно почитать книги многих западных издательств. Все это организуется на коммерческой основе, и от участников этой экспозиции поступает, пусть в небольших суммах, но все-таки твердая валюта.

Могу сказать определенно — дело это перспективное, выставка американских и английских изданий на Красной Пресне получила положительную оцеику предприятии и научных учреждений, от которых получены конкретные заказы.

В интересах максимально продуктивных переговоров на ярмарке не должно быть излишней сутолоки, суетливости. Там преимущественно будут находиться специалисты, которые реально ведут дела и за них отвечают. Поэтому оргкомитет ММКЯ выдаст ограниченное количество аккредитационных карточек, исходя из роли издательства, его значимости, конкретной экспозиции и даже занимаемого метража. Мы просто вынуждены это делать, так как одна из главных организационных трудностей ярмарки — недостаток выставочной площади. В идеале для ММКЯ надо иметь пять, даже семь больших павильонов. И вообще, надо сказать, что у нас в стране нет специальных помещений для книжной ярмарки. Павильоны на ВДНХ не приспособлены в должной мере для показа книг. Хорошими условиями располагает центр на Красной Пресне в Москве, но его руководство, по коммерческим соображениям, не очень заинтересовано в проведении масштабных книжных выставок.

На прошлой ярмарке насчитывалось три тысячи участников-экспонентов. Такое большое количество — специфика подобных мероприятий, потому что в мире существует масса мелких, и тем не менее успешно функционирующих издательств. Большинству из них требуются небольшие стенды, маленькие офисы.

Наиболее классический пример — ярмарка во Франкфурте-на-Майне. Это специальный комплекс, где круглый год проходят различиые выставки и ярмарки. Но специфические, для небольших изделий — меховые, товаров массового спроса, книжные и так далее. Почему бы и иам не подумать о создании подобного комплекса с помощью Моссовета. Постоянно действующего, с помещениями для торговых сделок и выставок, с книжными магазинами, библиотеками, переплетными мастерскими... Прежде всего, нужен земельный участок, выкроить его в Москве чрезвычайно трудно, хотя надежды терять не следует. Такое предприятие будет выгодно для города, который сможет использовать помещения книжного центра и для своих нужд.

Естественно, на все это потребуются большие средства. Гендирекция пока еще ие использует хозрасчет, но готовится на него перейти. Когда хозрасчет будет задействован в полной мере, тогда и начнем получать уже гарантированные валютиые отчисления для финансирования проектов. Особенно большие перспективы появятся в нашей коммерческой деятельности, если советский рубль станет конвертируемым и каждый читатель страны получит таким образом возможность купить любую зарубежную книгу по экспонированному образцу. Тогда ММКЯ и любые книжные ярмарки и выставки приобретут неизмеримо больший интерес для западных партнеров, потому что потенциальиый спрос на книгу, наши масштабы миру известны. Деловые люди разных стран это прекрасно понимают и приезжают в Москву не только заключать сделки, но и подержать руку на пульсе нашей политической и экономической жизни, чтобы лучше знать конъюнктуру, яснее видеть перспективу.

МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ

ЧТО ПОЗВОЛЕНО ЮПИТЕРУ...

Открываю номер толстого журнала. Заголовок статьи в разделе критики гласит: «Примирения искать рано!» Вот так — с восклицательным знаком. С радостной уверенностью в великой пользе конфронтации.

Увы, не стихает накал борьбы между противостоящими литературными силами. Имею в виду не собственно литературную борьбу — явление естественное, проистекающее из потребностей развития, из несходства вкусов, интересов, художнических принципов. Речь о другом — о жестком противоборстве, сопровождаемом заведомым недоверием, переходом на личности, глухотой к доводам рассудка.

Литпресса наших днеи способна немало удивить грядущих исследователей: как это творческие интеллигенты конца 80-х, зная, какой отчаянной сложности проблемы стоят перед страной, тратили, тем не менее, свою энергию на взаимное поношение. А совсем уж особенное удивление должно будет вызвать вот какое обстоятельство. Если отбросить конфронтационную шелуху, если ознакомиться с иными — предметными, серьезными — высказываниями, возникающими с разных сторон, то окажется: у непримиримо враждующих миого сходного, общего. Причем в самом главном: в понимании того, что нет альтернативы перестройке, что трагично состояние экологии, что необходимы радикальные реформы (при всем различии мнений об их конкретных путях) в экономике, правовой сфере, политической структуре.

Действительно, думая об этих коренных вопросах, от которых, без преувеличения, зависит сама судьба наша, само существование как великого государства, с удовлетворением, с надеждой отмечаешь: в одно русло сливаются гражданские, патриотические устремления известных писателей, пусть нередко и находящихся сегодня в литературно-общественном противостоянии.

Неотступно, вопреки всем и всяческим препонам, ведут борьбу в защиту природы и в защиту души народной В. Астафьев, В. Белов, В. Распутин. Но разве не созвучны их усилиям усилия А. Вознесенского, ратующего за «экологию духа», или Д. Гранина, пропагандирующего движение милосердия?

Близки, неотделимы друг от друга в истории советской военной прозы шестидесятых годов имена Г. Бакланова и Ю. Бондарева. Ныне их позиции, их оценки литературно-общественной ситуации резко расходятся. Однако если судить по реальным, главным критериям, то очевидно: одной общей цели служат те активные действия каждого из этих писателей, что направлены на упрочение уважения к русской культуре, ее традициям (в частности, к наследию Льва Толстого).

Или вот такое: не единомышленниками ли видятся М. Алексеев, сумевший в неблагоприятных к тому условиях сказать (в «Драчунах») правду о голоде тридцать третьего года, и А. Рыбаков, в чьем «Тяжелом песке», появившемся в ту же пору, страшные эти обстоятельства тоже не обойдены молчанием?

Уместно упомянуть в связи с затронутой темой общественно-публицистическую платформу, с которой выступает С. Залыгин. Основные ее положения, направленные на утверждение демократического сознания, природно-экономической целесообразности, — они ведь объективно не могут не разделяться носителями самых несхожих взглядов, бытующих в творческой среде, приверженцами вроде бы непримиримых «полюсов». Едва ли не первым в полный голос заговорил Залыгин о настоятельнейшей необходимости многовариантного мышления, имея в виду, естественно, не путь к разъединению, а, напротив, общее, коллективное раздумье, свободный поиск наилучших путей жизнеустройства.

Да, разномыслие тем прежде всего и важно для нас, что должно вести к единству созидательных действии. Это не парадокс. Это потребность времени, в котором дискуссионность утверждается не просто как общественная норма, но как действенный инструмент социалистического обновления.

Думаю, наличие серьезных, значимых совпадении имеет первостепенное значение для переживаемого нами сложнейшего этапа жизни. И как же прискорбно, что у печатных органов, литературной критики не ощущается желания видеть это, поддерживать нарождающуюся в разномыслии общность. Напротив, немало энтузиастов нашлось, жаждущих воспринимать споры, дискуссии как некую приятную игру, не обремененную объективными обстоятельствами, упивающихся процессом борьбы как таковым.



Фото НИКОЛАЯ КОЧНЕВА

СИНЕЛЬНИКОВ Михаил Хананович — литературный критик, член Союза писателей СССР. Родился в Москве в 1933 году, окончил Московский государственный библиотечный институт. Заведовал отделом критики «Литературной газеты», работал в редакциях «Литературной России», «Литературного обозрения».
Автор книг «Право отвечать за все» (удостоена в 1981 году премии СП СССР в области литературной критики), «Диктует время», «Советский характер», «Николай Кочин» и др.

Упомянутая выше формула — «Примирения искать рано!» — действительно куда как красноречива. За ней видится целая программа, коей следуют ревнители новой чистоты литературных нравов — разумеется, как они ее понимают. Противники, то бишь приверженцы иных взглядов, должны быть низведены, заклеймены, повержены. Ибо речи их сплошь лукавы, а мысли гибельны для дела общественного прогресса.

Именно из этого исходит Евгения Щеглова, автор той самой статьи («Нева», 1989, № 2), что впечатляет ригористичностью заглавия. Не могу сказать, что нет в статье некоторых справедливых соображений (правда, они по большей степени касаются фактов, уже освещавшихся в литературной печати). Однако что касается манеры, в какой ведется разговор... Писатели, критики, с которыми Е. Щеглова не согласна, шельмуются ею как... сторонники «владычествующей бюрократии», как люди, что «явственно тяготеют к той системе, которую мы сейчас с таким трудом изживаем, — к административно-командной».

Представьте себе картинку: с одной стороны Е. Щеглова, самоотверженно изживающая указанную систему, с другой П. Проскурин, ужасно этому сопротивляющийся... Забавно, не правда ли? Но именно так получается у автора статьи, представляющего П. Проскурина адептом бюрократической косности. Что с того, если против этого протестует все творчество писателя, проникнутое остросгражданским раздумьем о трудной народной судьбе? У Е. Щегловой свой подход, свои принцип спора, она и в душах читать умеет. «Что бы там ни говорили П. Проскурин и его единомышленники», они «тоскуют всего более» по... застойным временам.

Вот так, вместо естественной, на реальностях основанной, полемики читателям предлагаются пугающие мифы.

Критический стиль Е. Щегловой довелось испытать и на себе самом: в том же выступлении в «Неве» совершенно искаженно представлены некоторые положения моей статьи «Должны быть все-таки святыни...», опубликованной в прошлом году в «Литературной газете».

Нет, не жалует Е. Щеглова тех, с кем спорит, не дает себе заботы держаться на уровне идей и доводов: всенепременно надо и в искренности других усомниться, и насчет «регрессивности» формулировочку дать (в собственной прогрессивности сомнений, разумеется, никаких). И вообще, Е. Щеглова уверена, что литераторы, «настроенные» на неприятную ей «идейную волну», обречены в творческом отношении: «пишут они плохо»... Тут, однако, критик находится в очевиднейшем заблуждении: неважное качество письма от идейных волн никак и ни в чем не зависит. Вот, скажем, Щеглова, желая сказать нечто неприятное Ю. Бондареву, острит по поводу «свойственной ему лапидарности мышления». Язвительно? Трудно сказать, потому что не очень грамотно. Все-таки, как бы ни была велика прогрессистская уверенность в себе (и в своем праве не примиряться), она вряд ли позволяет путать понятия: лапидарной может быть форма выражения, а не сущность...

О самоуверенности-то, собственно, и речь. Скольким несообразностям, скольким завихрениям в текущей литературной жизни это почтенное свойство сопутствует!

В № 43 «Книжного обозрения», вышедшем в канун первоапрельского веселья, ряду литераторов предложено ответить на приличествующую случаю анкету. Среди ее пунктов есть такой: какие книги, воспитывающие чувство юмора, следует ввести в школьную программу? Критик Бенедикт Сарнов, как, впрочем, и некоторые другие участники анкеты, воспользовался вопросом, чтобы назвать отменно плохие, примитивные сочинения современников: школьники, смеясь над ними, как раз и будут постигать стихию комического. Все бы хорошо, остроумно. Да вот закавыка: в числе имен сочинителей — Василий Белов. Назван его роман «Все впереди».

Роман этот, по моему разумению, неудача Белова: в нем маловато истинно социальной глубины, тенденциозность порой подминает под себя художественную пластику. И тем не менее имеются ли какие-нибудь основания, чтобы зачислять книгу и ее автора в тот самый уничижительный список? Основания моральные? Ибо, даже относясь критично к «Все впереди», нельзя ведь не понимать, сколь велик вклад В. Белова, многих его произведений, в нравственную атмосферу нашей литературы.

Совсем негоже критику игнорировать это понимание. Даже в канун 1 апреля. Даже резвяся и играя.

Мне кажется, слишком мало обращаемся мы в литературных делах и спорах к простым этическим критериям. Между тем надо ли забывать, что этика не есть абстрактное, ни к чему не обязывающее понятие, что практический потенциал ее куда как велик. Чем, как не этической недостаточностью, отмечен приведенный только что пример с Б. Сарновым?

А вот еще один пример, вернее сказать, даже целый сюжет.

Печатает журнал «Наш современник» (№ 11, 1988) сенсационное читательское письмо, представляющее плагиатором А. Рыбакова. В одной колонке идут цитаты из романа «Тридцать пятый и другие годы», в другой — из мемуарных источников, которыми пользовался писатель. Что-то совпадает, что-то изменено, но все равно узнается.

Эффектно? Убедительно? Еще бы! Но только при одном условии: если не ведать ничего об особенностях исторической романистики, допускающей, порой даже подразумевающей, подобные совпадения с документами. Критически обсуждать правомерно не прием как таковой, а степень уместности, обоснованности.

Спрашивается, неужто не знают, не понимают этого редакционные работники «Нашего современника»? И, что совсем уж невероятно, как они могут забывать, что тут же, в собственном их журнале, печатается историческая проза В. Пикуля, щедро пользующегося тем же — в принципе, повторяю, вполне законным — литературным приемом?

Нагляднейший случай двойного подхода, группового мышления. Как говаривали древние, что позволено Юпитеру, то не позволено быку. Или по-современному, по-простому: этот — наш, а этот — не наш.

А далее события вообще развивались замечательно интересно. Некомпетентность читателя получила на страницах «Нашего современника» мощную поддержку со стороны автора, увенчанного ученой степенью доктора филологических наук. Автор этот, Николай Федь, в статье «Послание к другу, или Письма о литературе» (№ 4, 1989) изысканно, в лучших традициях эпистолярного жанра обращается к Рыбакову: «Ах, Анатолий Наумович, Анатолий Наумович... Вам ли, автору серых и скучных сочинений, к тому же уличенному в плагиате, читать рацеи и вещать...» Как видим, единым махом и зачеркнуто творчество популярного писателя, и выдана за некую данность, можно сказать, канонизирована вольная версия о «плагиате»... Не обошел Федь и теоретической стороны дела: «...плагиат — это постыдное воровство, поступок, который на Руси испокон веков считался одним из наиболее ярких проявлений непорядочности...» После чего сразу же адресовал Рыбакову вопрос «на засыпку»: «А ведомо ли это вам, Анатолий Наумович?»

Удручающий уровень полемического разговора. Каким же все-таки сильным, непреодолимым должно быть желание уязвить «не своего», если при этом столь очевидно попираются этика, такт, простое здравомыслие!..

Немалый и достаточно своеобразный материал для размышлений об этической стороне споров, и не только литературных, дает «Огонек», вокруг которого то и дело взвихряются страсти. Послушать апологетов журнала, так получается, что именно «Огонек» и только «Огонек» олицетворяет собой перестройку и что в силу этого критически относиться к огоньковским публикациям могут лишь пресловутые «сторонники Нины Андреевой». Хулители журнала тоже предпочитают выступать глобально. Приходилось, к примеру, встречать в печати суждения, согласно которым «Огонек» занимается-де всего лишь конъюнктурным «иллюстрированием».

Да полно, не так это. Читатели без труда назовут публикации журнала, обращенные к самым жгучим социальным и духовным вопросам. Один лишь известный очерк Ю. Черниченко взять — «Мускат белый Красного Камня». Какая уж тут конъюнктура — напротив, смелый, глубоко обоснованный гражданский поступок, протест против новейших, уже в нынешнее время совершившихся административных безумств, извративших всю суть антиалкогольной борьбы.

Лучшие, истинно глубокие публикации «Огонька», несомненно, в активе перестройки. Между тем и претензии к журналу (если брать их суть, а не форму, которая подчас бывает излишне резкой) порождены вполне реальными причинами. Нынешний «Огонек» явил собой некий феномен: как ни один печатный орган до него, выказал удивительную способность к «самоподрывной» деятельности. К тому, чтобы ослаблять собственные свои, в принципе весомые намерения и позиции крикливостью тона, мелкотравчатостью обоснований. Многие и многие огоньковские материалы откровенно бьют на сенсацию, попутно сокрушая критерии меры и вкуса. В очерке, посвященном чурбановскому делу, можно было прочесть: «душу... изнасиловал... в объятиях нелюбимой женщины»; полагают, видимо, что ежели о пошлом — пошло, то будет очень выразительно...

К сожалению, как раз не лучшие качества «Огонька» определяют его линию по освещению современной советской литературы. В прискорбную обстановку конфронтации, существующую в творческой сфере, полемисты журнала внесли весьма активный вклад: избрав мишенью систематических обвинений строго определенный круг писательских имен, заменяя анализ, доказательства оскорблениями личного характера.

Главный редактор «Огонька» не раз заявлял, что стремится к сотрудничеству и взаимопониманию, считает своим долгом прекратить «перепалки по мелочам». Прекрасные заявления, да к тому же на каком уровне делались — на высоких встречах в ЦК. Казалось бы, вот-вот оно и свершится... Но куда там! Очевидно, нет должной философской ясности, что считать мелочами.

«Моя маленькая гражданская война...» — так, не без гривуазности, определил характер своей нынешней деятельности Виталий Коротич в одном из интервью (газете «Молодежь Эстонии»). Любопытно: Коротич не раз заявлял, как сильно не нравится ему батальная терминология применительно к журнальным, литературным делам. Но вот, выходит, боевые доспехи все-таки способны доставлять удовольствие — пусть и «маленькое»...

Признаюсь, в заявлениях, в общественных поступках В. Коротича для меня лично таится немалая психологическая загадка. С одной стороны, заслуживающее уважения поведение на XIX Всесоюзной партконференции, смелое выражение своей позиции (при всем том оговоримся, что в известном «антикоррупционном» деле немало сложного, противоречивого). С другой — лишенное всякого достоинства мельтешение вокруг вопроса о своих прежних, «доперестроечных» сочинениях, полнейшее нежелание признать очевидные факты.

Всякое действие, как известно, рождает противодействие. Когда «Огонек», начав свою полемическую литературно-критическую кампанию, стал упрекать ряд писателей — злорадно, уничижительно, без малейшей попытки разобраться — в идеологическом обслуживании застоя, ясно было, что ответ неизбежен: ведь упреки подобного свойства вполне могут быть обращены и к Коротичу. Так оно и получилось. В некоторых печатных органах появились материалы, воспроизводившие достаточно выразительные фрагменты публицистических выступлений Коротича 70-х и начала 80-х годов. И что же? Хотя обострившаяся полемическая ситуация, элементарная логика спора требовали от редактора «Огонька» ясных, недвусмысленных суждений, он не пожелал обратить никакого внимания ни на один серьезный довод оппонентов (к сожалению, имелись и несерьезные — не о них речь). Огоньковские «Колонки редактора», посвященные этой ситуации, были откровенно казуистичны, из них нельзя получить представление ни о характере, ни о хронологии событий. А чего стоит история с телеграммой Коротича, связанной с публикацией его статьи о брежневской трилогии? Факсимиле телеграммы, воспроизведенное в журнале «Политическое образование» и точно, сдержанно там прокомментированное, редактор «Огонька» вдруг перепечатывает — без ссылки на источник, полностью игнорируя смысл проблемы, выдавая очевидную свою уязвимость за благость... И вновь, после очередного обещания не мелочиться — нападки на тех коллег, кто, видите ли, пропагандировал концепцию «развитого социализма», отдавал «преждевременные рапорты». Между тем, известно ведь, что среди рапортующих голос самого В. Коротича звучал особенно проникновенно.

Что за счастливая способность — взять да наглухо забыть о вчерашнем, предъявлять счет кому угодно, только не самому себе. Вот если бы, однако, было это делом частным... Общественная амнезия, неколебимо демонстрируемая главным редактором, сугубая личная его пристрастность, думаю, в немалой степени определяют противоречивость, какой отмечен облик «Огонька». И, несомненно, оказывают негативное влияние на литературную атмосферу.

Говорю об «Огоньке». А до того приводил примеры, в частности, из «Нашего современника»...

Объективность требует признать: журналы эти, занимающие позиции на противоположных флангах литературной жизни, немало делают полезного, способствующего углублению процессов перестройки. И если, допустим, в связи с «Огоньком» я называл имя Ю. Черниченко, то в «Нашем современнике» в последнее время заинтересованный отклик вызвала публицистическая работа Б. Куликова, посвященная вопросу об удорожании жизни. Или взять цикл очерков А. Салуцкого, темпераментно и вдумчиво анализирующих современные социально-экономические тенденции: очерки эти, при всей их полемичности, воплощают конструктивную линию «Нашего современника».

Как же досадно, что позиции каждого из журналов ослабляются, дискредитируются перехлестами, несообразностями литературных полемик, двойственностью, неискренностью подхода к объектам критики. Предвзятости, проявляемые с разных сторон, поощряют, питают друг друга, неимоверно усложняют спор и в тех случаях, где для выяснения истины достаточно простого уважения к фактам...

О точности воспроизведения, толкования фактов надо бы говорить особо — тут первооснова всякого нормального литературно-дискуссионного выступления. И чем больше сегодня наши споры свободны, открыты, нелицеприятны, тем больше выверенности, собранности требуется от полемистов. Нередко, однако, происходит нечто обратное: свобода воспринимается как возможность вольного, необязательного отношения к фактам, восприятия их только лишь в эмоциональном плане.

Неоспоримо, знакомство наше с богатством книг, много лет пребывавших под спудом, снятие ограничений, запретов в анализе истории и современности — все это создало богатейшие возможности для углубления исследовательской мысли. Но каково, если, например, литературовед, обуреваемый пафосом тотальной переоценки, не находит ничего лучшего, как объявить культуру, признанную в советском обществе, «врио-культурой», которая «временно выполняет функции духовного творчества в стране»? По мнению этого литературоведа, В. Воздвиженского (мне уже довелось полемизировать с ним в печати), советские писатели, определявшие основное, известное широкой читательской аудитории русло литературы, исповедовали одну лишь узкодоктринерскую мораль, ничего не сделали для утверждения общечеловеческих нравственных ценностей. Речь, заметьте, идет не о том, что действительно заслуживает критического отношения, подчас даже осуждения, а именно обо всем русле художественного процесса. Остается загадкой, как же удалось советским писателям, тем, что якобы изгоняли все общечеловеческое из своих творений, завоевать живой интерес человечества? И еще более загадочно, как вообще могло родиться определеньице «врио», коль скоро оно применимо и к творчеству крупнейших художников (в «концепции», предложенной В. Воздвиженским, не щадятся ни Леонов, ни Маяковский, ни Алексей Толстой)?

Отвечая на эти вопросы, можно говорить о вызывающей, кощунственной позиции литературоведа, и это будет справедливо. Но, наверное, есть резон и в более простом объяснении: дело тут — в крайнем неуважении к фактам литературы, реальной их ценности, в насилии над фактами.

Существуют, распространяются и другие формы болезни, которую можно назвать фактологической легковесностью. Прежде всего это путаница, обыкновенная путаница, когда подводит память, а пишущий, высказывающийся не дает себе труда на проверку. Например, В. Чубинский, историк, привел недавно (на страницах «Невы») целый перечень неточностей, ошибок, которые допущены в политических очерках, столь частых сейчас в периодической печати, которые, естественно, ослабляют доверие к этим очеркам, к весьма серьезному их содержанию. Подобные перечни внушительно выглядели бы и применительно к литературно-критическим публикациям. Может быть, они касались бы не столь серьезных, менее драматических обстоятельств — литература все-таки материя иная, нежели непосредственно политика, история. Однако заведомо можно сказать, что по обилию неточностей в сведениях, данных, именах и т. п. литераторы наверняка держат пальму первенства. Право, неловко бывает, когда искаженно цитируют, когда приписывают оппоненту слова, которых тот не произносил, когда, короче говоря, проявляют приблизительность в деле, требующем точности.

Воспользуюсь случаем, чтобы опровергнуть одно ошибочное утверждение, касающееся меня лично.

В передаче Центрального телевидения, посвященной творчеству Константина Воробьева (она дважды не столь давно выходила в эфир), ведущий И. Золотусский рассказывал об отношении критики к творчеству писателя и, в частности, о том, какая неблагоприятная атмосфера была создана вокруг повести «Убиты под Москвой», напечатанной в 1963 году в «Новом мире», как критика «навалилась, грубо говоря», на Воробьева «за ту правду, которую он показал в своей повести». Критика, говорил И. Золотусский, обвиняла Воробьева в том, что он изобразил «частную правду войны», а не правду «всей войны», «частная правда, как утверждала такая критика, это, по существу, ложь».

Первым в ряду критиков, таким вот образом «навалившихся» на повесть «Убиты под Москвой», И. Золотусский назвал мое имя.

Отвлекаюсь сейчас от вопроса, что и как писалось о данном произведении К. Воробьева, насколько обоснованными или необоснованными были упреки. Хочу сказать лишь о следующем. Никогда, ни в 1963 году, ни в любое другое время, я не высказывался о повести «Убиты под Москвой». Ни при каких обстоятельствах не опубликовал о ней ни одной строчки, ни единого слова.

Скрупулезности ради упомяну, что в 1962 году писал о другом, более раннем произведении К. Воробьева — повести «Крик». Писал в основном критически, хотя и с полным уважением к таланту автора, трагизму жизненного материала. Нелишне, наверное, и то заметить, что, разбирая «Крик», я не употреблял при этом термин «правда войны»...

Ошибка, о которой сейчас речь, носит в общем-то проходной характер (да и в очень уж отдаленном, «раннем» времени поминает меня оппонент). Наверное, можно было бы об этой ошибке и вовсе не говорить. Но, с другой стороны, отчего же не сказать? Когда нарушается достоверность фактов, то грань между проходным и не проходным оказывается очень тонкой. Неточность легко оборачивается необъективностью.

Собственно, случаям такой необъективности, искажающей, осложняющей литературную полемику, и посвящены наши заметки. Они, понятное дело, не претендуют на какую бы то ни было полноту освещения проблемных узлов жизни литературно-критической периодики. Они, скорее, о внешних проявлениях этой жизни — связанных, впрочем, с глубинным ее течением.

Стоит, очевидно, назвать некоторые из проблемных узлов.

Тут и вопрос об отношении к истории советской литературы, истории, самым непосредственным образом отзывающейся в настоящем, о распространившемся, неоправданно резком, конфронтационном противопоставлении двух линий художественного творчества, «признанной» и «непризнанной» (мы отчасти коснулись этого).

Тут и острая проблема национального, вообще чрезвычайно обострившаяся во всей общественной жизни. Необходимость возрождения народных духовных ценностей, обогащения ими современного бытия осознается сегодня как задача чрезвычайной важности, в том числе, разумеется, и для литературной нашей действительности. Серьезное, плодотворное значение имеет в связи с этим утверждение той мысли, что приверженность национальной культуре определяется не кровью, но духовной сутью человека. (Хорошо пишет об этом применительно к русской культуре Арсений Гулыга, автор опубликованной в «Звезде» работы «Революция духа» — горячей, в чем-то, наверное, и спорной, однако везде отвечающей требованиям высокой интеллигентности).

Еще одна непростая проблема — консолидация творческих сил вокруг задач перестройки. С нее, с этой проблемы, и начинался наш разговор. Действительно, как важно, чтобы и самыми непримиримыми спорщиками осознавалась общая их причастность к народному, созидательному делу, и как необходимо способствовать такому осознанию...

Слово «консолидация» многих литераторов сейчас лишь раздражает, и не без оснований: какая, действительно, консолидация, когда угрожающе нарастают тенденции к раздроблению Союза писателей. Наличие внутри писательской организации объединений по идейно-эстетическим, творческим интересам — дело нормальное, полезное, но налицо и очевидное стремление к иному характеру объединений, претенциозному, стремящемуся подменить собой Союз, присвоить себе его функции...

Но отчего бы уже сейчас, исходя из общих перспективных интересов, не стремиться ставить во главу угла то, что способно объединять? Почему бы не избавляться от наносного, привходящего, не убирать понемногу завалы предвзятости, опираясь на здравый смысл, на общечеловеческие этические нормы: они ведь приложимы к литературным спорам не менее, чем к любым другим видам человеческой деятельности.

Проблемы творчества в силу давней отечественной традиции, в силу характера социалистического искусства никогда не существовали у нас изолированно от положения дел в обществе, от гражданских страстей.

Сегодня в действительности нашей совершенно особая пора. Она исполнена острейших противоречий, чревата катаклизмами. Но она несет в себе и великую надежду, потому что, отнюдь не решая еще многих труднейших проблем, лишь подойдя к ним, мы совершили тем не менее чрезвычайно важный прорыв — прорыв в сознании.

Все это имеет чрезвычайное значение и для литературы, лучшими своими произведениями приближавшей перестройку, выстрадавшей ее, и для литературной жизни, которую необходимо строить по тем глубоким, ответственным законам и критериям, которые утверждаются в жизни общественной.

Поразительное чувство прямой, недекларативной причастности к судьбе Отечества испытали мы в дни работы Съезда народных депутатов СССР. Это чувство питалось не только возможностью непосредственного знакомства с происходящим в зале заседаний, что уже само по себе замечательно, но прежде всего характером дискуссий. Впервые — впервые для людей, принадлежащих к практически действующим поколениям, то есть для огромнейшего большинства граждан — шло обсуждение проблем страны на основе многовариантности, истинного разномыслия. Мы стали свидетелями самого неоспоримого, реального воплощения взятого Коммунистической партией курса на ленинское обновление, перестройку, гласность. Мы почувствовали: вот так устанавливается народовластие, утверждается необратимость перемен.

Ход дискуссии, характер выступлений порой производили впечатление противоречивое. Разный круг вопросов, не всегда стыкующихся. Разный уровень интенсивности да и самой подготовленности депутатов. Искренность одних, их значительное большинство, и жажда самоутверждения у других... Однако все это, вместе взятое, словно в огромном кипящем тигле, переплавлялось, устремляясь к главному: ответственности.

Опыту этого Первого съезда — и объективному его содержанию, и нашим личным переживаниям, с ним связанным, — суждено остаться в повседневном духовном бытие. Прекрасно, что такой заметный, яркий, конструктивный вклад внесли в работу съезда писатели. На благодатную почву легли и слова академика Д. С. Лихачева о том, что без культуры в обществе нет не только нравственности, но и нормально действующих социальных, экономических структур, и страстные, и одновременно деликатные, взвешенные размышления Бориса Олейника и Олжаса Сулейменова о проблемах национального. А разве не к самому ядру, первооснове вещей было обращено выступление Валентина Распутина, показавшего разъедающее воздействие на жизнь этической недостаточности, двойственности, где бы и в чем бы она ни проявлялась?

И если еще и еще раз задуматься о текущих литературных делах, характере наших споров, то нельзя, думается, не признать: нравственная, этическая суть съезда, итогов, к которым он пришел, должна отзываться тут самым действенным образом.

Плодотворный путь дискуссий — это движение к ответственности. Иного пути просто нет.

КНИГА И ПЕРЕСТРОЙКА. ИЗДАНИЕ ЗА СВОЙ СЧЕТ

Документы о выпуске книг за счет средств автора, принятые Госкомиздатом СССР (один — в прошлом, другой — в нынешнем году), могут послужить характерным примером демократизации «сверху», цель которой — по возможности разрядить напряженность на «авторской бирже», разгрузить издательские портфели, дать выход творческим силам молодых...

Сегодня «авторская книга» все увереннее завоевывает позиции. Если весной 1988 года в литовском объединении «Периодика» вышла первая в стране книжечка за счет средств автора (о чем пресса говорила как о событии), то в конце нынешнего — число таких изданий достигнет пятисот; практика эта становится обычной.

В первые месяцы текущего года уже вышли в свет: повесть Т. Новиковой «Истина» (М.: Прометей), оригинальные и переводные стихи А. Метса «Таллинские камни» (М.: Известия), поэтический сборник Т. Сельвинской «Посвящение» (М.: Художественная литература), стихотворная книжка В. Виговшина «Преодоление» (Ижевск: Удмуртия), приключенческая повесть В. Потиевского «Логово» (Петрозаводск: Карелия). Издание сборника духовной поэзии подготовило кооперативное объединение «Ноосфера» (М.: Художественная литература). Активно включились в работу по выпуску «авторской книги» издатели Украины, Дагестана, Поволжья...

Непривычная возможность опубликовать книгу за свой счет успела породить как надежды, так и разочарования, о чем свидетельствует почта, которую мы попросили прокомментировать главного редактора межиздательских программ Госкомиздата СССР Л. В. Ханбекова.

ЛЕОНИД ХАНБЕКОВ

НЕ ТОЛЬКО ЖЕСТ

Как только мечты стали реальностью — пошли письма в Госкомиздат. Потенциальные авторы просили совета, иные недоумевали, другие не скрывали негодования.

«На опыте убедился, что даже добротная рукопись не находит издателя, если ее автор «не вписался» в систему», — пишет журналист из Нижневартовска Н. Смирнов.

«И хорошее разрешение из-за бюрократических инструкций становится лишь широким жестом», — сетует преподаватель ворошиловградского пединститута имени Т. Г. Шевченко И. Геращенко.

«Кажется смешным, — иронизирует житель города Александрова, «преподаватель и историк» В. Стариков, — что, запретив в 1987 году деятельность шестидесяти кооперативных издательств, выдают чуть ли не за героизм давно принятую в мире практику издания книг за свой счет».

Отчего же столько скептицизма, когда речь идет об очевидном — стремлении облегчить путь книги к читателю, о попытке — пусть и с помощью привлечения средств самих авторов попытаться разобрать монбланы залежавшихся рукописей, проредить многолетние очереди жаждущих публикаций? Убежден: причина в отсутствии широкой информации не только об экономической и технологической стороне дела, но и о праве каждого автора на издание своего сочинения как явления духовной культуры. Пусть даже за свой счет. Скажем, барнаульский композитор А. Лобанов запальчиво сравнивает «Положение» с вольной, которую получили русские крестьяне при отмене крепостного права, то есть почти не получили ничего. Но ведь за прошедший год ни в издательство «Советский композитор», ни в издательство «Музыка» предложений издаться за свой счет не поступало. И ничего удивительного — даже периодические музыкальные издания не оповестили об этой возможности композиторов и поэтов-песенников. А ситуация все меняется. Сегодня речь идет и об издании за счет авторов плакатов, открыток, буклетов, альбомов, нот...

Однако отсутствие широкой информации — лишь одна из причин того, что «Положение» работает вяло. Застопорила дела и эдакая экономическая прохладца. Разрешение получено, авторов хоть пруд пруди, а издателей, желающих воспользоваться предоставившейся возможностью, не было. Доходило до курьезов. Московский критик и литературовед В. Петелин не единожды наведывался в издательство «Московский рабочий» буквально с пачками денег — по предварительным подсчетам, публикация монографии «Михаил Булгаков» обошлась бы ему в 10—11 тысяч рублей. И он добыл их — занял у друзей, взял ссуду в Литфонде. Но издательство не брало деньги. Дескать, как потом заплатить редактору, художнику, корректору? Для них это будет неплановая работа, они вовсе не обязаны ею заниматься...

«Часть отпуска я потратил на то, чтобы узнать, выполняют ли издательства «Положение», — пишет литератор В. Медведев из Тульской области. — Обошел большинство столичных издательств, был также в Туле, в Одессе. Везде один ответ: дело новое, нам почти не выгодное, а ответственность велика — наша «фирма» будет стоять на обложке. Ссылались также на план, нехватку бумаги, загруженность типографий...»

С похожими доводами столкнулся и поэт-фронтовик А. Буканов, пока не открыл для себя «Прометей» — издательство Московского пединститута, десятки других творческих людей. Пришлось пригласить в Госкомиздат руководителей нескольких московских издательств.

Одни заявили: «Нет образца договора на такое издание».

Нашли образец.

Другие пожаловались: «Не знаем, как рассчитываться за авторские издания с типографиями».

Дали соответствующий циркуляр.

Третьи спросили: «Как определить цену? По прейскуранту или ее назначает автор?».

Подсказали: приемлемы и тот, и другой варианты.

Четвертые сказали: «Нет типографий, которые взялись бы исполнять заказы сверх лимитов».

Указали типографии, в частности, московские — Первую Образцовую, №№ 4, 9, 11, ленинградскую № 4.

Пятые в который раз сетовали: «Нет бумаги».

Подсказали, где ее можно попытаться раздобыть.

И вот начали появляться первые результаты. Только в прошлом году увидели свет свыше 50 книг без малого 70 авторов. И не только в Москве, но и на Украине, в ряде местных издательств России. Тем не менее еще немало проблем будора

жит умы авторов. Прибавляется вопросов и у читателей. Например, одессит А. Ляхов возмущен: «Видел в телепрограмме «Взгляд», как один автор выпустил книгу в Ленинграде и берет за нее 15 рублей. Это же спекуляция». У жителя Курска, ветерана войны и труда И. Сереброва своя забота: «Нигде не могу добиться, во сколько, хоть примерно, могла бы мне обойтись книга воспоминаний». А вот жителю поселка Плисецк Архангельской области А. Клочеву, пожелавшему выпустить сборничек стихов, наоборот, стоимость издания подсчитали, но сначала (в типографии) обрадовали — набор, верстка и печатание обойдется в 300 рублей, а затем (в Северо-Западном издательстве) огорчили, посмеявшись над наивностью автора, — назвали другую сумму — 2000 рублей. Ведь существуют еще и издательские расходы. Так-то.

Надо помнить, что при определении стоимости издания учитывается много других факторов: чья бумага — издательства или автора, каково ее качество, каким будет оформление книги, какова, наконец, рентабельность издательства.

Правда, нет-нет, да и услышишь мнение, что можно идти другим путем. Об этом пишет нам, в частности, московский журналист Г. Гунн: «Я готов стать автором, издающим книгу за свой счет. Но не так, как предписано это Госкомиздатом. Он предполагает издание книг за счет автора исключительно в рамках существующих издательских структур, в то время как издание книг за счет авторов предполагает уже по смыслу самих этих слов независимость автора от издательства».

Под иной «издательской структурой» Гунн явно подразумевает издательства кооперативные. Но их нет, и они в ближайшее время не предвидятся. И тут я попутно вынужден снова обратиться к письму Старикова, которое процитировал в самом начале. Откуда он взял, что к октябрю 1987 года у нас существовали кооперативные издательства? Да еще целых 60. Тем более никто не выдает за героизм давно существующую в мире практику издания за свой счет. Так, румынское издательство «Литература» специализируется на выпуске именно таких книг. Ежегодно сюда поступает до 500 заявок на произведения разной тематики, почти 160 из них выходят в свет. Я уже не говорю о том, что в капиталистических странах можно издать все, что заблагорассудится, если, конечно, хорошо заплатить. Разумеется, мы не будем оглядываться в этом на страны Запада — у нас свои традиции, свои принципы. Однако любое новаторство в нашем книгоиздании, в том числе и то, о котором здесь идет речь, при ленивом старте, при молчаливом сопротивлении издателей, многие из которых (да и некоторые авторы тоже) привыкли без особых на то оснований заглядывать в государственный карман, можно извратить, даже опрокинуть примитивным подходом, пассивностью, отсутствием фантазии. И в который раз хочется воскликнуть: нужны подвижники!

Таких людей становится все больше. Их действия не продиктованы меркантильными интересами — они готовы рисковать, облегчить путь тем, кто пойдет за ними следом. К их размышлениям об уточнении первоначального варианта «Положения» был резон прислушаться. Что мы и сделали. Приведу несколько примеров, так как они имеют принципиальное значение.

На взгляд ярославца А. Лаптева, надо было уточнить три пункта: об ответственности за содержание книги; о приоритетах в установлении цены за авторское издание; об услугах издательства автору.

В первом варианте «Положения» было сказано: «Ответственность за идейно-художественное, научное содержание книг, издаваемых за счет авторских средств, несет в первую очередь автор». Лаптев предложил снять оговорку «в первую очередь», которая настораживает издательства. Ибо каждый почти редактор и поныне по привычке стремится снять все, что представляется ему спорным, «острым». На нем ответственность «во вторую очередь». «Но ведь один только автор,— убеждает Лаптев, — согласовав свои слова с собственной совестью, с так называемым «внутренним редактором», должен отвечать за свое произведение». В утверждении этого молодого поэта чувствуется определенная нравственная позиция, и с ней нельзя было не согласиться. Поэтому мы решили: если издательство не разделяет взгляды автора, оно, уведомив об этом читателя, может выпустить книгу в авторской редакции. Да и вообще редакторская сверхбдительность, надо надеяться, постепенно станет рудиментом. Нам всем предстоит еще долго учиться терпимости к чужому мнению, нестандартному мышлению, живому языку.

Особый предмет для разговора — определение цены на авторские издания. Поначалу мы решили, что на них устанавливаются (при участии автора) либо договорные цены, либо по прейскуранту. Чего проще! Казалось бы, сам рынок подсказывает стоимость книги. Но можно ли быть безразличным к тому, что договорная цена может оказаться вдвое и даже втрое выше той, которая «выпадает» по прейскуранту? Нравственно ли стремиться заломить поболее? Нельзя закрывать глаза на то, что вдруг открывшаяся возможность может породить еще одну категорию дельцов, которые, пользуясь читательской всеядностью, порожденной нехваткой художественной литературы, и не подумают разумно соразмерять степень своего таланта с требованием завышенных цен на свои произведения.

Выпуская в ленинградском отделении «Художественной литературы» книгу прозы, Г. Прусов (это он подразумевается в письме Ляхова из Одессы) поставил цену за экземпляр — 15 рублей. Что-то не слишком верится, что такая сумма не остановит многих читателей. У Юлиана Семенова и Жоржа Сименона неизмеримо бóльшая репутация на книжном рынке, но стоило советско-французскому предприятию «ДЭМ» на свои первые, не слишком респектабельные видом две книги определить цену в более чем по пять рублей за каждую, как застряли они на прилавках. Кусается!

В свое время издательство «Художественная литература» хотело поскорее сдать в производство несколько рукописей авторов, пожелавших издаться за свой счет, но притормозилось дело — уж очень они были несговорчивыми, не устраивало их даже три номинала, стремились установить такие цены, при которых продажа книги сулила бы не только возврат расходов, но и солидный куш. Можно, конечно, остаться безразличным: пусть ставят какую угодно цену. Но если она в несколько раз превышает производственные расходы, как соотнести такую диспропорцию с моральным обликом автора, его гражданской совестью?..

И последнее, о чем просил Лаптев: в «Положении» должно быть отражено право отказаться по крайней мере от части предлагаемых издательством услуг — от редактирования, художественного оформления, корректуры... Это мнение учтено. В «Положении» оговорено четко: в договоре между автором и издательством должны быть указаны услуги, предлагаемые автору и принимаемые им.

Как будто шаг за шагом новая форма книгоиздания приобретает разумные параметры. И все же пробелы остаются. Ясно, что автор получает деньги за проданную книгу. А что имеет издательство, что получает типография? Едва родившись, новое дело было сразу же отнесено к оказанию издательско-полиграфических услуг населению. Пусть будут услуги, лишь бы не стопорилось важное начинание. Стопорить же у нас, как известно, весьма изобретательны. Скажем, ясно, как распорядиться полученными за авторские издания деньгами издательству и типографии: совет трудового коллектива полномочен употребить прирост к прибыли по своему усмотрению. Но каким бы ни было «усмотрение», должно не забыть оплатить труд специалистов, непосредственно занятых выпуском авторских изданий. Однако сделать это уважительно, грамотно ни в издательствах, ни в типографиях не спешат. Так что ряды заинтересованных людей, протягивающих руку помощи желающим издаться за свой счет авторам, если и не редеют, то и не пополняются. Прежде такие действия назывались жестко, но точно — саботажем, ныне их называют мягче — торможением...

Демократия демократией, самостоятельность самостоятельностью, но в развитии всего многообразия подходов к книжному делу надо продвигаться быстрее. Не должны здесь оставаться безучастными и писательские организации. Мы информировали секретариат Союза писателей СССР о новой форме книгоиздания и заодно предложили: почему бы не поддержать молодых талантливых авторов денежной ссудой? И Литфонд СССР выразил такую готовность. Издательство «Советский писатель» уже готовит первые книги, выходящие за счет ссуженных средств. Между тем такие издательства, как «Молодая гвардия», Воениздат, ДОСААФ, «Радуга», «Прогресс», Агропромиздат, «Просвещение», «Знание», десятки крупных республиканских и областных сохраняют невозмутимость.

Удивительный факт недавно преподнесла жизнь. Работает в Волхове при городской газете «Волховские огни» литобъединение — одно из старейших в стране. В конце 1988 года ее редактор Ю. Сяков проявил инициативу — задумал помочь выпустить небольшой сборник произведений молодых авторов «Приладожье». Местная типография взялась отпечатать 700 экземпляров на собственной бумаге. Требовалась поддержка какого-нибудь издательства. Обратились в Лениздат — отказ. В ленинградские отделения «Советского писателя» и «Художественной литературы» идти не решились — все же не профессионалы. И тут вспомнили члены объединения, что они в некотором роде дочерняя организация Ленинградского молодежного социального театра нерешенных проблем, поэтому обратились за помощью в ЦК ВЛКСМ. Казалось бы, кто, как не издательство «Молодая гвардия», может поддержать молодых энтузиастов. Но из ЦК ВЛКСМ письмо переслали в... Госкомиздат. Потому что работники издательства с легкой душой отфутболивают все подобные заявки, ссылаясь все на те же полиграфические мощности, дефицит бумаги... А не кривят ли здесь душой? Ведь тем временем «Молодая гвардия» продает, например, 10 тонн бумаги фабрике «Детская книга» для нужд некоего кооператива, выпускающего рекламные плакаты...

Итак, порой даже в Москве, в столичных издательствах робко, чрезмерно осторожно только приступают к новому делу. Долго еще приходится книжицам, о которых велась здесь речь, шагать по издательским коридорам, перебираться с одного редакторского стола на другой, переходить от одного рецензента к другому, прежде чем увидеть свет. Впрочем, не будь на дворе перестройки, этого и вовсе могло не случиться!

Идея «авторской книги» открыла пути для осуществления старой мечты читательской общественности — издания своего рода пробных тиражей. Кроме того, тоненькая, «карманная» книжица как раз по карману малоизвестному или никому не известному автору. А как хочется, чтобы узнали, оценили, полюбили... И не в будущем веке, не когда-то (ближние места в официальных издательских планах заняты), а уже сегодня, сейчас...

Разумеется, не все книги равны, не все авторы одинаковы. Есть такие, которые априори твердо уверены в успехе у читателей. Но есть и другие: одни из них в глубине души подвергают сомнению свои литературно-художественные способности, вторые знают наверняка, что «всемирной славы» им не завоевать. В этом случае их произведения часто тиражируются не по высшему уровню в 3 тысячи экземпляров, установленному для «авторской книги», а всего лишь в 200, максимум 300 экземпляров, т. е. для очень узкого круга ценителей таланта автора.

Сегодня редакция представляет отрывок из выходящей в издательстве «Московский рабочий» книги Олега Юлиса «Стихами разбавленная проза», который позволит читателям составить свое представление о художественных достоинствах литературы, предлагаемой для выпуска за счет средств автора.

Одновременно редакция обращается к читателям с просьбой высказать мнение относительно конкретных «авторских книг», которые им удалось купить и прочесть, а также порассуждать вообще о проблеме выпуска книг за счет средств автора.

ОЛЕГ ЮЛИС

СТИХАМИ РАЗБАВЛЕННАЯ ПРОЗА

...Он проснулся ночью. Терзаемый ветром дождик пробовал стучаться в карниз, стекло, водосточную трубу, карниз... Черное небо так быстро опускалось закрыть окно, что Илья Иванович не успел досыта налюбоваться тем, как бьется, бессильно дергается верхушка тополя. Опережая падающее небо, он спустился по тополю на больничный двор, изрезанный траншеями и кое-как перевязанный досками. Хищно огляделся.

— Хороша грязь! Утром кто-нибудь, если не увязнет, обязательно поскользнется. Что-нибудь себе сломает.

Вернувшись в исходное положение, он медленно улыбнулся. Как и путешествовал. Не изменившись ни лицом, ни каменным сердцем.

— А ведь я еще жив, — выпорхнула из него мгновенная радость. Улетучилась, не оставив после себя тепла и света.

— Я скоро умру, — объявилась мысль на следующей ступеньке.

— А как скоро? — донеслось из-под земли или из-за облаков.

— Завтра в полдень.

Рухнула лестница, обвалилось небо, кровать превратилась в гроб. Помогая себе деревянными руками, он коснулся ногами холодного пола. Стараясь не разбудить кого-нибудь из половцев, открыл тумбочку. Взял газету, трижды перегнул и положил на колени. Ноги коченеют быстрее, чем горячий язык успевает слюнить химический огрызок. Мелькает, как рыбий хвост, плещется словечко жирного заголовка: «Ратификация». Но вот и готов отпечаток коленных чашечек. В засаленных «Известиях», наконец, растворилась отвергнутая редакциями жизнь Ильи Ивановича: «Уйду завтра в полдень».

— Какой сегодня день? Понедельник? — пытался прочесть Илья Иванович в светлевшем окне. Вслушивался, как бурлит, пенится вкруг милых с детства четвергов и суббот его зараженная кровь. Бурлит, протестуя против их загадочности, будто они были иностранными. Пенится, отказываясь бежать к бесчувственным ногам, нащупывавшим давным-давно украденные тапочки.

За два больничных месяца Илья Иванович десятки раз назначал себе этот срок. И все свои сознательные минуты он провел, мучительно решая, выигрывает он тем, что продолжает жить, или проигрывает. Но никогда еще не было так, чтобы потерявший половину веса и три четверти облика, стыдившийся дурного запаха от уцелевших килограммов и никогда не встававший... еще не случалось так, чтобы Илье Ивановичу хотелось выбраться из кровати или дать роковое объявление в газету.

Он сучил ногами, просил у стоявших у окна богородицы и младенца предотвратить неизбежное и все требовала новой деятельности впервые в жизни встрепенувшаяся душа. Спрятал газету под подушку. Начал взбивать каменно-ватные внутренности. Раз, два... Обессиленный, повалился на кровать. Но душа все сосредотачивалась.

— Надо же так разволноваться. И вот они завтра спокойно будут ужинать, — вдруг пронзили его слова Ивана Ильича, головокружительно возвращая Илье Ивановичу в молодости утраченную память, увлекая его для начала куда-то в минувшее столетие. И хотя уже в следующее мгновение раздался пятнадцать лет тайно им жданный звон серебряных колокольчиков, далеко умчавшийся, Илья Иванович его не услышал.

(Он ушел умирать, и не в уличный гул
Он, дверь распахнувши руками, шагнул,
Но в глухонемые владения смерти.
Он шел по пространству, лишенному тверди,
Он слышал, что время утратило звук
И образ младенца, с сияньем вокруг
Пушистого темени, смертной тропою
Душа его нежно несла пред собою,
Как некий светильник. В ту черную тьму,
В которой дотоле еще никому
Дорогу себе озарять не случалось...)

Добрый день, Илья Иванович, давайте сделаем укольчик. Крепче сжимайте кулачок. Умничка, — «цок, цок, цок», навсегда уходят сторублевые неотмытые Зиночкины сапожки. Убегают угорелые облака.

Что это ночью я так разволновался? Разве мне жаль жизни? Разве не ненавидел я свою работу, с которой справилась бы любая тупая ма...

Началось последнее мозговое кровоизлияние. Он дернулся. Затих. Но еще несколько часов вздрагивали, покрывались сукровицей губы.

(...Светильник светил, и тропа расширялась.)

Следующая станция Динамо, следующий к смерти острослов Сокол вылетает из обмана Войковской, Аэропорта, снов. Облаков. Как ваше имя? Чем вы прольетесь? Как сделалось темно. Жуть берет. Колодец должен быть выложен белым тесаным камнем. Мать несет веревку, сгибается под тяжестью мотка. Ведро стучит полчаса. Что во мне щелкает, часы, годы, минуты? Зачем было то, в чем старалось меня убедить пробежавшее сквозь меня время?

На черном контейнере жизни бежит от меня, возвращается ко мне белоснежный сверток с моей смерью. Предупредительнейший из аэровокзалов, впервые в социалистической практике планирования, приглашает желающих сделать пересадку, сменить больничную койку на покойницкую тележку.

Через ипподром, к центру бегущая ветка. Растет из ствола подпольного тотализатора. Эстетика любви к помойкам и уродству. Центростремительный поток сознания, в который можно войти только однажды. Конной императорской гвардии скачки в Царском Селе.

Обрушивают, выдерживают натиск, перегоняют, отстают, все не теряя породистости.

Это называется внутреннее зрение. Я вижу, как десница речи уверенно и цепко схватилась за НИЧТО. Гипнозом артистической выразительности, внушая мне, что держит НЕЧТО.

После семи лет беспросветного послушания у бабы-яги девица получает ларчик, а в нем все, чего ей не хватало: изба да корова, хлев да муж восемь пуд. Получает после того, как уже перестала желать.

Обстановка именин. Дары природы, предназначенные несуществовавшей жизни. Однажды в студеную зимнюю пору я вышел из мрачного подвала. Вместо меня кого заставят в нем жить до двухтысячного года? Огонь и магия обещания, в котором сгорят перегородки между людьми, все сделаются исключительными. Всякий в собственной квартире начнет смотреть сон о жизни. А само это слово будут выделять курсивом: ***ЖИЗНЬ***.

Бабушка, ведь это ты мне рассказывала про дом оренбургского губернатора, в котором все ступени мраморных лестниц были изгажены мужиками, а на портретах красавиц из губ торчали махорочные козлики.

Зато ты легко умерла. Во сне мы тебя и похоронили. А меня с минуты на минуту начнут потрошить. Теперь я понимаю, зачем нужны близкие. Чтоб не дали изрезать. Чтобы кто-нибудь приложился ко мне с поцелуем. Взял бы меня живого в свое мертвеющее тело. Прикосновение, которое подчиняется закону сообщающихся сосудов и длится вечность. Безмерно раскрытые объятия. Наклон головы при поцелуе, дрожание губ. Какие божественные движения. Загадочные, как нравственный закон.

Как беззаконие будней. Вооруженное до зубов здравым смыслом, вымученное существование. Обвалянное в муке, как полуфабрикат. Вполне готовый к употреблению. Аппетит юных актрис, нетерпение пройти школу жизни. Приобрести лоск сегодняшнего дня через серию альковов и шабашей.

Теряют равновесие, когда далеко и высоко метят. Я ничего не хочу и слышу музыку. Моя просторная дорога усыпана бесконечной гирляндой снов, виденных моим дедом и прадедом.

Как использованный зимней ватой, я хочу закрыть собой щели в какой-нибудь судьбе, борьбе, чтобы в чужие дома не пропустить ветра, боли. Будь благословенна всякая чужая рука, изловчившаяся бросить твой мячик вон до той весенней верхушки тополя. Даже наши подслушанные разговоры о погоде остаются иероглифами на асфальте, вмятинами на домах. И через сотню лет будут расшифрованы любознательными и любящими.

Так одиноко, молчаливо звучит все, что совершается внутри. Любое воплощение этой музыки в пространстве жизни — только грубое, пародийное ее пересоздание. Во мне никогда не было веры в жизнь, а одно желание приложиться к бутылке, разгуляться, раствориться в тайных звуках, что падали на зажженный снег.

Идет дождь, падает снег, но никто не участвует в празднике. Все смотрят телевизор, на круглый отполированный стол, за которым откормленные философы торгуют гнилым товаром целостного мировоззрения. Торгуют или обменивают идеологию на свежие телефонные звонки в студию. К устам эпохи поднесли микрофон, и жарит она теми же убогими истинами, что были в ходу сто лет назад, убеждая каждого строить жизнь по испытанному образцу, под оглушительную колыбельную песню.

Простирается небо, предсказывает нам свободу. Протягивает руку свою, чтобы оторвать нас от телевизора, от ежедневного пойла, от лицезрения всамделишных мертвецов и необходимости хоронить их за наш счет.

Свежая могила. Свежая мысль. Только бы не задохнуться. Не начать распутывать глупый узел будней. Я отражался в зеркалах и предметах. А можно было бы видеть себя в тысячах глаз. Всегда по-иному. Твоя судьба отражается в каждом устремленном на тебя взгляде.

Мне не хватает воздуха, но я никогда не остановлюсь. Мне слишком нравится обстоятельность, а еще больше — необязательность этих мыслей. Так же не торопится дилижанс, и все успевают перезнакомиться, поговорить и увидеть с двух, трех сторон всякий предмет, попавшийся на дороге и принявший участие в беседе. Дилижанс заблудился в грозе и бездорожье лучших кусков русской прозы, вырезанной гнить в архивах.

Легкая перелетная мысль о грозе и смерти. Все живут одновременно: и теперь, и во времена Соломона, и через тысячу лет. И чем отдаленнее событие во времени, тем более оно умиротворяет. Одна из заповедей — об умиротворении.

Сейчас меня разденут, чтобы я смог принять новый покров. Противоатомный, противоадовый, в котором лишь и можно сойти по темным ступенькам в слепую мглу времени. Только бы не забыть мне сбросить с гибнущего корабля эти драгоценные минуты тишины и пустоты. Они ведь никому, кроме меня, не нужны, и за ненужностью никто их у меня не отнимет — ни Бог, ни человек.

. . . .

Суббота.

Серые нежные камни старых набережных Москвы, очистившиеся в пятницу, точно на церковный праздник. В тихом воздухе рассеянье и забывчивость. Осень остановилась, и ни единый лист не пожелтел и не упал сегодня. На лице беспредметная улыбка, как колебание и игра света, отражение нежности. Но лишь на мгновенье остановилось колесо в высшей точке, и упадет, и понесется к пустоте и холодам.

Отношение к книгам, как к живым людям. Гамсуну отказано от дома: «Мы не знакомы боле». Манна терплю, но стараюсь не замечать.

Воскресенье.

От раннего утра скитания по лесу. Воздух холодный и крепкий, жаркое солнце. Ноги стынут от сырости, а лицо горит. Ни единой больной печали: душа занята собиранием грибов. Так ли мы еще отпразднуем наступление новой жизни. Мы двадцать километров пройдем, не заметя, и будем говорить, говорить.

О море, море, ты мне будешь сниться.
Не может быть, чтоб ты совсем оглохло,
Не может, чтоб заморская синица
Тебя зажгла и море пересохло.

Праздничное (украдкой) предчувствие: завтра куплю маленькое янтарное ожерелье. Тайно от всего буду владеть им и любоваться, точно случайно оно появилось, откуда-то подарок. Это и удовольствие — потратить последнее на пустяк и безделку. Я чувствую себя роскошно богатой и защищенной от превратностей мира. Даже если завтра пойдет дождь, мне будет с бусами в сумке, как в теплом доме, уютно. Закрываю глаза: под елкой коричневые шапки грибов.

Образ вдохновенья: злой, невыспавшийся человек, раздражительный и с перьями в волосах. Ни с чем по возвышенности не сравнимое творение...

ПОЛЕМИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

СЕРГЕЙ КУЛИЧКИН

ЧИСТЫ ПЕРЕД НАШИМ НАРОДОМ

В общество пришла пора обновления. Ждали ее долго, понимая жизненную необходимость преобразований, очищения от тяжкого груза прошлых преступлений, обмана, лицемерия, морально-нравственного застоя, в который скатилась страна. Первым подняла знамя перестройки литература. Как мы радуемся появлению дошедших, наконец, до читателей мыслей Соловьева, Флоренского, Розанова, произведений Булгакова, Платонова, Замятина, Набокова, Ходасевича, Гумилева, Пастернака, Домбровского, Шаламова. Этот список можно было бы продолжить. К нам возвращается ранее скрываемая от общества литература. Мы узнаем самобытную, блестящую русскую философию, глубину и трагизм размышлений Булгакова и Платонова, гнетущие душу и сердце, близкие к действительности предсказания Замятина, весь ужас шаламовской лагерной прозы.

Но вот начинаешь замечать, что вместе с этой массой прекраснейших произведений, а то и опережая их, забивая истерическим криком и сенсационностью, идет другая волна — новой или забытой старой литературы. Здесь тоже в ходу понятия очищения, покаяния, страданий, но главная и отличительная их черта колеблется в интервале от развенчания, мстительного злобствования и всеразрушающей иронии до эстрадного хихиканья и анекдота. Каких только сторон жизни прошлой, настоящей, да и будущей не коснулись эти «забытые» и «гонимые» авторы. Не без гордости считают они свои произведения настоящей бомбой, а их выход «информационным взрывом». Впрочем, взрыв тщательно регулируется, а гласность понимается довольно избирательно. Обрушиваясь на сталинщину, они почему-то свели ее к репрессиям 37—50-х годов, старательно умалчивая о чудовищных преступлениях времен гражданской войны, голода и коллективизации. Выдвигая в первые ряды мучеников партийных функционеров, интеллигенцию, они скромно помалкивают об уничтоженных миллионах крестьян, рабочих, а иногда и сваливают на них истоки появления культа и страшных беззаконий.

Народ-де достоин своего вождя. Господи, в чем только не виноват наш многострадальный народ. Не уберег он цвет нации, а потому и бедствует до сих пор. Закидал своими телами, залил кровью полчища безумного Гитлера, а надо было еще в сорок первом могучим ударом уничтожить врага. Сбежал из деревни, оставив без колбасы «цвет нации», а заодно и себя. Испоганил природу, живое тело земли своей и задыхается теперь без глотка свежего воздуха. Разрушил и разрушает могилы предков, памятники родной земли, теряя последнюю нравственную почву. И все это он — народ, обманутый и злобный, некультурный и грубый.

Где же были те, кто сейчас вскрывает нам эти язвы, гневно бичует, обличает, растаптывает и сорняки, и жито? А они все это время «были на Луне» и ни сном, ни духом не ведали о творимых в отчей земле безобразиях. Теперь спустились с оной, ужаснулись тому, что натворил народ, и ну его поучать, «дурачину», раскрывать глаза «бестолковому», наставлять на путь истинный. А здесь что главное? Главное показать, как ты мерзок, в какой мерзости живешь. Да так показать, чтобы волосы на голове зашевелились, чтобы текли блудливые слюнки от похотливых откровений, чтобы уж не оставалось в душе и светлого пятнышка о прошлом.

Не привыкший ко всему этому, бедный наш обыватель ошеломлен и зачарован. И радуется-то он не тому, что узнал что-то новое, вечное и необходимое, а возможности заглянуть в грязные тряпки сильных мира сего, в замочную скважину публичного дома, который так долго был недоступен для нас. Ох уж этот глоток свободы! И уже не хочет один из скороспелых разрушителей иметь ничего общего с работягой, для которого кусок колбасы дороже глотка свободы, глушит бедолагу роком гласности. Здесь уж не так важно, что сказать, главное — первым да погромче. Впрочем, не совсем так. Есть тут и определенная направленность, определенные объекты и идеи для нападения. Скажем, русский шовинизм — главная опасность, как будто другого шовинизма нет и в помине. Скажем, долой зоны вне критики, и уже нет других зон, кро-



КУЛИЧКИН Сергей Павлович, 1949 года рождения, сын солдата и сам профессиональный военный, полковник, окончил академию. Автор исторической повести «В Порт-Артуре» и биографической книги о генерале Кондратенко, герое порт-артурской обороны, которая выходит в серии «ЖЗЛ». В полемических заметках он говорит о наболевшем, о том, что его, как профессионального военного не может не волновать, — о современных произведениях литературы, посвященных армии, выражая, как нам кажется, то самое альтернативное мнение, которое во многом не совпадает с общепринятыми оценками. Редакция намерена и впредь предоставлять страницы журнала для выражения именно таких — альтернативных мнений по наиболее важным проблемам литературы, искусства и общественной жизни.

ме армии и КГБ. А уж если дорвались, то камня на камне не оставить от этих антидемократических, антигуманных (и каких еще хотите «анти») институтов государства

Вот выходит вполне безобидная повесть Юрия Полякова «Сто дней до приказа». Какой молодец! Вскрыл-таки гнойный нарыв «дедовщины». Глупо, безмерно глупо, что запрещали повесть, делая ее тем самым еще более привлекательной, а автора чуть ли не мучеником. Нет в ней того, что могло бы заставить глубоко сострадать, ибо автор и не ставил задачу докопаться до истоков этого анормального, безобразнейшего явления. Он от имени Алексея Купряшина спокойно, не без доли таланта показывает злоключения рядового Серафима Елина, гнусную душонку ефрейтора Александра Зубова по кличке «Зуб» и ему подобных и, конечно, беспомощность, нежелание работать с подчиненными и вообще отвращение к службе офицеров. Вот и узнали мы вроде бы всю подноготную казарменной жизни, что означает на жаргоне «дед», «черпак» и т. д. А дальше-то что? У автора один вывод — так везде, этим поражена вся армия, вот во что она превратилась. И хороший вывод, скажет читатель. Вот «прокричал» Поляков на всю страну, и зашевелилась армия, начала-таки борьбу с «дедовщиной».

Но дело-то не в повести Полякова, а как раз в том, о чем он умолчал. В тех истоках, причинах, откуда росла эта мерзость, раковая опухоль, опутавшая солдатские коллективы. Поразила эта опухоль, оказывается, все общество, а в армии в силу специфических условий ее быта она проявилась особенно отчетливо. Когда же общество вступило на путь обновления, тогда и армия приступила к хирургической операции. Было бы неплохо, скажут иные читатели, чтобы армия не ждала, а стала инициатором этой борьбы. Что ж, так оно пока и происходит. Армия уже ведет борьбу, а вот общество пока дремлет, продолжая поставлять в ряды своих защитников бывших уголовников с четко определившейся психологией тюремного закона; воспитанных на культе силы, наркотиках и прочих производных масскультуры пэтэушников; инфантильных «маменькиных сыночков», которые не то чтобы подтянуться на перекладине, подставить плечо другу, но и по земле-то ходить боятся, которые, дожив до 17 лет, даже не представляют, что нужно убирать за собой.

Слов нет, должны заниматься воспитанием и офицеры, и прапорщики. Но ведь главная их задача — научить молодого человека за два года армейским порядкам, помочь освоить сложнейшую боевую технику. А им сначала приходится ликвидировать физическую немощь, учить великовозрастного дитятю умываться, ухаживать за собой. Обо всем этом, видимо, скучно писать. Брошен главный клич — «дедовщина». И пошел он гулять по страницам газет, журналов, книг. Авторам тоже не хочется докапываться до истоков, а очень неймется успеть забить свой гвоздь. Что говорить о повести Полякова, это цветочки. Ягодки куда более серьезны.

И вот уже один из самых уважаемых толстых журналов «Новый мир», всегда отличавшийся тонким вкусом и разборчивостью, печатает в четвертом номере за 1989 год повесть Сергея Каледина «Стройбат». Где уж тут Полякову с его «черпаками»! Это уже и не воинская часть, а что-то вроде лагеря особого назначения по психологии и поступкам ее обитателей, и разбойничьего притона по степени организации и порядка на ее территории. Правда, автор по ходу повествования несколько раз напоминает нам, что это особый стройбат, скорее штрафбат, куда свозится весь криминогенный контингент строительных отрядов. Однако и эти напоминания не слишком убедительны, особенно для человека, служившего в армии.

Сюжет весьма прост, обычен. И это не беда. В армии дни похожи один на другой, конфликтные ситуации тоже в общем-то стереотипны. Три «дембеля»: попавшийся на воровстве москвич Костя Карамычев, забитый изгой цыган Нуцо и такой же забитый, но внутренне в себе уверенный деревенский еврей Фиша Ицкович чистят общественные туалеты, приближая вожделенный «дембель». Весь этот процесс скалывания нечистот, их переноски, сшивания досками новых уборных описан не без знания дела. Попутно мы выясняем, что Костя попал в стройбат из-за физического недостатка и целей в жизни не имеет, кроме соблюдения закона стаи. По этому закону он стоит выше своих товарищей-подельщиков, имеет право на внеочередное мытье в бане, своего персонального слугу — Бабая и, разумеется, на самоволки с пьянками и девочками. Его подельщики опустились совсем, пропахли нечистотами. И если Фиша видит впереди светлую мечту, готовится к поступлению в университет, то Нуцо дошел фактически до животного состояния. Есть в повести и неизменные атрибуты: «губари» — особый контингент солдат с гауптвахты — садисты и насильники; «старики» — от заросшего салом вершителя судеб с КПП Валеры до опустившегося уголовника «Старого»; полнейшее ничтожество младший лейтенант Шамшиев, или «Бурят», который и внешним видом вызывает омерзение; хитрый, приспособившийся ко всему старшина Мороз; ну и, конечно, библиотекарша Люсенька — полковая шлюха, раскуривающая с солдатами в казарме «анашу». За несколько дней до «дембеля» в стройбате происходит чудовищная драка, в которой одного из посланных на усмирение «губарей» убивает Фиша, тихий Фиша. Костя видит это, но его друзья не числятся участниками драки и вне подозрения. Когда же на повестку дня встал вопрос: или ему вместе с остальными участниками драки идти под суд, или назвать виновного, Костя рассказывает о Фише старшине. Повесть заканчивается стандартной положительной характеристикой, которую получает по «дембелю» Костя для поступления в университет.

Все, казалось бы, есть: и закрученность сюжета, и жуткие картины жизни так называемого стройбата, и мучения героев, но все время преследуют два вопроса. Откуда все это? В чем корни, истоки? Без попытки ответа на этот вопрос бессмысленны описания всех ужасов стройбата. И второе. Что же это за сборище негодяев? Не может быть, чтобы в таком многочисленном коллективе не было нормальных людей. Ведь они есть даже в лагерях, тюрьмах. Неужели автор не понимает, что такая организация в жизни просто не может существовать. Заранее предвижу, как оппоненты крикнут в один голос: «Может!» «Может и не только такое, а похлеще». И не удивлюсь. Будем ждать дальнейшего развития цветочков в ягодки, а ягодок в засохшую червоточину.

«Зато как написано!» — скажут другие. А вот здесь можно возразить. После вновь открываемой набоковской, булгаковской прозы, совершеннейших рассказов Сергея Воронина, Юрия Казакова и Сергея Никитина вряд ли испытаешь подобное удовольствие после чтения безусловно профессиональных, но не более, повестей Полякова и Каледина.

Впрочем, сейчас это и необязательно. Ибо наряду с хорошей и плохой прозой настойчиво навязывается так называемая другая проза, которую сами же писатели называют совершенно определенно «чернухой». Это смакование всех мерзостей жизни и непристойностей или бессмысленный набор фраз, отвлеченные, «космические» рассуждения и т. п. «Что привязались: хорошая, плохая, — доказывают иные критики. — Все бы вам делить на черное и белое. Не хорошая и не плохая, а другая».

Так, может, мы говорили о другой прозе? Совсем нет. Проза самая обычная. Секрет в ином. Уж больно лакомая тема. А раз ее открыли, так нужно открыть так, чтобы читатель содрогнулся.

Не отстает от литературы и кинематограф. Ну он у нас по напористости вообще бежит впереди перестройки, вот только шедевров никак не дождемся. Ленинградский режиссер Александр Рогожкин снял фильм «Караул». Вы, конечно, уже догадались, о тех же неуставных взаимоотношениях. Снято хорошо, и затронута действительно больная струна. Автор талантливо рассказывает, как ломается молодая душа солдата, охраняющего заключенных на этапе. Действительно, зачем брать в эти тюремные вагоны неокрепших юношей, когда можно спокойно набирать вольнонаемных. Фильм трагический, тяжелый, правдивый. Но вот что интересно. Обобщающая идея его тесно переплетается с вышеупомянутыми повестями. И режиссер убежденно вещает об этом миллионам телезрителей. Заявляя не без пафоса, что искусство не должно судить, ибо это безнравственно, сам все же судит. Безапелляционно говорит, что события, отображенные в фильме, типичны не только для внутренних войск, но и для Советской Армии. И это еще цветочки. Ну мы уже говорили о том, как быстро из них выращивают ягодки. А дальше идут более серьезные обобщения. Что современная армия изжила себя и совершенно небоеспособна. Это, по его мнению, показал Афганистан. Слушайте и смотрите, участники афганских боев, как вас оценивает «крупный военный специалист». Что показуха вообще присуща всей нашей армии, а «дедовщина» выгодна офицерам, чтобы меньше работать с солдатами. Вот кто, оказывается, ее насаждает — бездельники-офицеры. Правда, Рогожкин наверное не знает, что они сутками не бывают дома, живут в таких условиях, которые уважаемому режиссеру и не снились. Нет, возможно, снились. Ведь все свои выводы он подкрепляет «вескими аргументами» — «...если верить военным». Каким военным? Кто мог рассказать ему подобные истории? Кто дал ему право судить о всей армии?

«О чем вы говорите? — скажет читатель. — Надоела лакированная литература, приукрашенный солдатский рай с шутником старшиной, страдающими от любви и ожидания подругами и новобранцами, по мановению ока превращающимися в бравых солдат». Правильно. Надоела. Армия всегда, даже в мирное время, была суровой школой. Но нельзя же, по воле некоторых авторов, превращать ее из суровой школы в мрачный застенок или бандитский притон. Ведь даже в последние годы, когда особенно обострились негативы армейской жизни, тысячи матерей ждут не дождутся, когда их чадо заберут в армию. Недавно встречаю соседку. Спрашиваю: «Как дела у сына Олега?» Заплакала. «Два месяца, — говорит, — осталось до призыва, хоть бы дотянул, не посадили. Из армии человеком вернется...» Значит, осталась еще у людей вера в воспитательные возможности армии. А ведь Олег, можете мне поверить, придет в армию с твердо сложившимися убеждениями, что сильный всегда прав, что унизить слабого так же естественно, как безропотно подчиниться насильнику.

Но мы и этого не замечаем в своем разоблачительном рвении. Вот и рисуем общую безысходную картину. Призывник знает, кто и как будет над ним издеваться, как офицеры будут гонять его на строительство собственных гаражей, но ровным счетом не представляет, что его могут встретить доброжелательные начальники, товарищи, просто нормальные люди.

Спору нет, много еще безобразий в армии. К сожалению, далеко не лучшие люди нередко носят офицерские погоны. Вот уже в Ленинграде в числе налетчиков оказались курсанты высшего военного училища. Служат в армии и казнокрады, и насильники, взяточники и убийцы. Но так ли уж их много, чтобы делать обобщающие выводы о всех?! Армия — сколок общества, общества больного, в котором вышеперечисленные болячки еще страшней, объемней, разрушительней. А мы уже начинаем искать особую разлагающую роль армейских коллективов.

Так ли уж новы нынешние нападки на армию, неуемное стремление представить ее в неприглядном виде? Конечно, нет. Не будем вдаваться в давнюю историю. Вместе с волной гласности до нас дошел, наконец, известный ранее по «голосам» роман В. Войновича «Жизнь и необычайные приключения солдата Ивана Чонкина». Здесь разговор не об неуставных взаимоотношениях и наркотиках в казарме. Это, как считают некоторые критики, литература самого высокого уровня. Уже одним тем, что роман был запрещен, а автора «вынудили» покинуть родину, Войновичу был создан режим «наибольшего благоприятствования». Автор-то страдалец. Как говорит его друг известный кинорежиссер Э. Рязанов, Войновичу создали такие невыносимые условия, что он вынужден был четыре года жить с отключенным телефоном. Следуя этой логике, всем миллионам нетелефонизированных граждан тоже надо бежать из Советского Союза. Но вернемся к роману о Чонкине. Какими лестными эпитетами его только не награждают! Тот же Рязанов считает, что роман непременно останется в истории нашей словесности. Критик И. Золотусский сравнивает автора с великим Гоголем, что весьма странно для специалиста, многие годы занимавшегося творчеством Гоголя. Критик Бенедикт Сарнов идет еще дальше, добавляет имена Фонвизина, Грибоедова, Щедрина и даже Розанова. Розанов и Войнович, что может быть несопоставимей и нелепей! Еще сравнивают с Ярославом Гашеком. Много-де общего. Что же, действительно, общего немало. У Гашека Швейк в известном месте читает обрывок книжной страницы, полностью приведенный автором. И у Войновича в этом же самом отхожем месте Чонкин читает обрывок, только газеты, и тоже полностью приведенный в тексте. Таких совпадений более чем достаточно. Без труда прослеживается стремление Войновича создать советского Швейка. Но Гашек потому и обессмертил себя гениальным романом, что его Швейк неповторим, как неповторимы сюжеты, характеры, язык великого чешского писателя. Наши же критики этого не замечают или делают вид, что не замечают.

О чем речь в книге? Да все о той же армии, только образца предвоенного и первых месяцев тяжелейшей войны, ставшей болью нашего народа. Самый объект для сатиры, над чем еще смеяться. Главные герои — красноармеец Иван Чонкин и его любовь Нюра Беляшова. Описывается русская деревня и маленький городок с их обитателями и представители, надо полагать, типичные для Красной Армии. Солдата-разгильдяя Чонкина посылают сторожить потерпевший аварию самолет, который сел прямо около Нюриного огорода. Чонкин сходится с Нюрой, работает по хозяйству, знакомится с жителями деревни. С началом войны, как и полагается в анекдоте, он превращается в руководителя диверсионной банды, с которой ведут борьбу органы НКВД района и, наконец, целый полк регулярной армии. Чонкин и Нюра, как говорят некоторые критики, любимые типажи русских героев, с их характерными чертами. Черты эти сводятся к одному понятию — придурки. Но именно они, по мнению автора и некоторых критиков, и есть соль земли русской. Они, заявляет с пафосом Э. Рязанов, и выиграли войну. Ну, разумеется, кому, как не «активному участнику войны» Рязанову, знать это. Конечно, Чонкины, а не Жуков и Покрышкин, панфиловцы и даже не Василий Теркин и шолоховский Андрей Соколов, выиграли войну. Не доживем ли мы до того времени, когда вместо памятника Теркину поставим памятник Чонкину! «А почему бы и нет!» — уже сейчас заявляют некоторые популяризаторы Войновича.

Об остальных героях романа говорить еще проще. Это совершенные монстры. Тут и горе-селекционер, доноситель Гладышев, скрещивающий помидор с картофелем, но более известный тем, что гонит из дерьма самогонку, которую, естественно, и поглощают все герои романа. Городской сапожник Моисей Соломонович Сталин, обдуривший всех представите-

лей власти, и капитан НКВД Миляга — тоже соль земли русской. Господи, да разве от таких придурков, как Миляга, страдала земля наша. Тут и целая галерея мерзавцев и недоумков в военной форме, от тупого старшины Пескова до злобного маньяка генерала Дронова. Вот такой сброд, занимающийся пьянством, скотоложством и прочими «достойными делами», в конце концов и победил лучшую в мире армию, спас не только страну, но и мир от фашистской чумы.

Признаться, жаль, что наши литературные чиновники запрещали в свое время роман. Тогда больше было живых участников тяжелейших боев Великой Отечественной. Как бы они «посмеялись» над самими собой, как «порадовались» бы, очутившись в одной компании с Чонкиным, Милягой и им подобными. Сейчас их осталось совсем мало. Видел бы Войнович слезы этих стариков, появляющиеся от его «гениальной сатиры». Ну что тут слезы лить? У Гоголя и Щедрина было похлеще. Было. Но сколько в этом похлеще горечи, боли, страданий, а здесь-то — один анекдот, эстрадное хихиканье и злоба. Автор и не скрывает этого. Вторую часть романа даже он считает написанной на этой основе: «На меня давили, — говорит он, — я и отвечал злостью». Ну и отвечал бы тем, кто давил. При чем здесь война, народные страдания, горе. Сейчас, чувствуя, что перегнул палку, Войнович занимается авторской правкой перед изданием второй части романа в нашей стране. Однако на Западе вторая часть вышла в первозданном виде со всем ее злобствованием.

Да что нам какие-то ветераны, главное молодежь. Она должна знать «правду» о войне, об армии. И в срочном порядке экранизируются Чонкин, повесть Полякова. Как будто мало миллионных тиражей «Юности». Выходит, мало. Надо до последнего уголка земли нашей довести слово «правды». А вот сценарий фильма Бориса Шустрова об Алёне Арзамасской уже несколько лет никому не нужен. Затягивается дело с еще же фильмом об Александре Невском. Зачем они? Это все неинтересно. Зачем вообще фильмы о нашей истории, замечательных патриотах русского государства, если, наконец, можно насладиться киноэротикой, ужасами армейского быта. Лучше мы будем показывать придурков. Надо полагать, что до тех пор, пока не нахлебаемся этой грязи досыта, ни о каком очищении и речи быть не может.

Так что же, опять запрещать? Ни в коем случае. Печатать, показывать, но не раздувать, не навязывать, оставлять право на критику. Только слегка покритиковал А. Ланщиков В. Войновича и уже причислен к гонителям «мученика». А сам «мученик» не стесняется в выражениях. На вечере в ЦДЛ поучает нас, какой должна быть армия. С апломбом повторяет, что никакому народу он не служил и служить не собирается. Я служу только самому себе — вот кредо писателя. Что же может он сказать хорошего о военных людях, которые служат именно не себе, но Родине. Только сделать их объектом балаганных шуток. Конечно, ссылаются на Пушкина, который призывал не зависеть ни от царя, ни от народа. Но как служил Пушкин себе, а как России, по-моему, не требует пояснений. В самом срочном порядке Союз писателей вернул Войновичу членский билет, сажает во многие президиумы, стесняется слово сказать против.

Это далеко не полный перечень произведений об армии, которые сейчас обрушились на читателей, но главная идейная направленность их полностью совпадает с вышеперечисленными. Так ли уж опасны они? Сами по себе, конечно, нет. Более того, некоторые из них талантливы, правдивы, трогают душу читателя. Опасность в тех обобщениях, которые они несут. А обобщения состоят не только в критике негативных явлений армейской действительности, но армии как института государства в целом.

Любой народ живет в обществе, ограниченном определенными рамками, где армия является гарантом его безопасности. Испокон веков вооруженные силы были, есть и в ближайшем будущем будут краеугольным камнем в основании государства, особенно нашего. Почему особенно? Хотя бы потому, что русский народ, исторически ведя непрерывную войну за свое физическое существование, привык видеть и осознавать душой особенность этой организации, ее высокий смысл и предназначение именно как историческую необходимость своего существования. С древних времен лучшие люди страны в армии окончательно и бесповоротно закрепляли свой авторитет, становились народными героями. Это князья Святослав, Владимир Мономах, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Петр Первый, воеводы Боброк, Ермак, монахи Пересвет, Ослябя, полководцы Суворов, Потемкин, Румянцев, Платов, Скобелев, матрос Кошка и гренадер Леонтий Коренной, рядовой Александр Матросов. Для этих людей слова поэта-фронтовика: «Была бы наша Родина богатой и счастливою, а выше счастья Родины нет в мире ничего...»— смысл жизни. Как и для нашего современника, поэта-афганца, сказавшего: «Ты прости нас, великая Русь, мы чисты перед нашим народом».

Великие традиции русской армии — это и подлинный (а не мнимый, показушный) интернационализм, то самое солдатское братство, когда в одном строю защищали Отечество лифляндец, генерал-лейтенант Вейсман, эстляндец, генерал от кавалерии фон дер Фельден, украинец, генерал от инфантерии Котляревский, армянин, генерал-лейтенант Мадатов, грузин, генерал от инфантерии Багратион, армянин, генерал-лейтенант Лазарев, не говоря уже о казахе Чокане Валиханове, болгарине Казарине, французе Сен-При, шотландце Барклае де Толли и многих других «инородцах», служивших верой и правдой нашему Отечеству. Русская армия всегда была армией всех солдат и всех матерей, объединенных общими заботами и общими утратами. Поэтому исторически более чем закономерно, что руководящий состав такой армии — офицерство — всегда было цветом и гордостью нации. Разве забудет Россия, кому она обязана замечательными географическими открытиями? Беринг и Крузенштерн, Невельской и Пржевальский, как и многие, многие другие первооткрыватели и первопроходцы — офицеры. Горное дело, железные дороги, металлургия — все это тоже связано с именами офицеров. А русская литература? Денис Давыдов, Федор Глинка, адмирал Шишков, Павел Катенин, Лермонтов, Баратынский, Чавдаев, Вельтман, Владимир Даль, Достоевский, Толстой, Фет. Все они — офицеры. А музыка с офицерами Мусоргским, Алябьевым, Римским-Корсаковым, Бородиным? Да и ныне офицеры есть и в литературе, и в искусстве, и в науке.

Армия соединяет в себе лучшие духовные, умственные силы общества. Но вот общество заболело, осознало свою болезнь, встало на путь очищения. Болела и армия. Но, положа руку на сердце, спросим себя: разве армия — худшая часть общества? Нет. Скорее наоборот. Вспомним хотя бы Чернобыль, Ленинакан, Спитак. А некоторые наиболее рьяные «прорабы перестройки» видят именно в ней источник едва ли не всех бед и, что самое странное, стараются убедить в этом народ.

Тысячу раз согласен с высказыванием талантливого педагога и публициста Карема Раша: «Любовь к своей армии, верность ее традициям есть самый верный признак здоровья нации. Нападки на армию начинаются всегда, когда хотят скрыть и не трогать более глубокие пороки общества. Чаще всего неприязнь к армии проистекает от нечистой совести и страха перед службой и долгом».

«Армия сидит на хребте народа!» — кричат одни. Но разве армия виновата, что опустели деревни, крестьянин исчез с лица русской земли и мы не можем прокормить самих себя? Разве армия виновата, что мы разучились работать и принцип «тяп-ляп» стал нормой жизни? Разве армия опустошила наши прилавки и довела страну до постыднейших очередей за мылом, солью и спичками, до унизительных талонов? Разве армия насаждает среди молодежи культ стяжательства, ширпотреба, сексуальной вседозволенности и моральной распущенности? Разве армия призывает поклониться его величеству золотому тельцу? Конечно, это и армейские заботы, но не оттуда они идут.

Но иным деятелям не до того. «Это Афганистан развратил души наших детей!» — трубят они по перекресткам, заставляя сотни тысяч лучших сынов страны стыдиться своего подвига. А ведь последние события показывают, что именно эти «развращенные души» — лучшие борцы за справедливость, в большинстве своем не терпящие всех творящихся у нас безобразий и, что главное, практически борющиеся с ними. Боевое братство настолько сплотило ребят, а переоценка человеческих ценностей настолько закалила их нравственно, что нет сейчас лучших борцов за перестройку.

Между тем некоторые инженеры человеческих душ усиленно зовут их к покаянию. Как же не покается, ведь за десять лет войны армия потеряла 13 тысяч человек. Хочется спросить, а как быть с тем, что только от рук преступников не за

десять лет, а за один только год мы потеряли более 16 тысяч человек, да еще 18 тысяч пропали без вести? Ведь все это случилось не в Афганистане, не в боевых действиях, а в мирное время в нашем с вами доме!

Армия не сама вступила в эту войну, но достоинства своего она в ней не потеряла. 13 тысяч — это минимальные потери для *десятилетней* войны.

Но, боже ты мой, сколько же спекуляций об Афганистане выплеснулось на страницы печати! Не только о жестокостях войны, но и о ее участниках, ребятах-афганцах. Слов нет, война не праздничный карнавал. Есть в ней и кровь, и подлость, и многие другие мерзости. Но вот уже кричат с телеэкранов: «Хватит показывать лакированных Героев Советского Союза. Это все неправда. А правда — мародерство, наркомания, бандитизм, насилие. Какие «афганцы» кумиры для молодежи, если они морально и нравственно сломленные люди».

Это еще полбеды, когда об Афганистане рассуждают модные певцы и поэтессы, публицисты и беллетристы. А вот когда действующий парламентарий, как сейчас любят говорить, патриарх духа, совесть нации, академик А. Д. Сахаров на весь мир, а потом и в главной комсомольской газете говорит заведомую ложь о расстрелах в Афганистане нашими вертолетчиками попавших в окружение товарищей, это, спрашивается, как называется? Более того, безуспешны были попытки маршала С. Ф. Ахромеева опровергнуть эту ложь. Два с лишним месяца Маршал Советского Союза пытался прорваться на страницы «Комсомольской правды». Не смог. Напечатал свое гневное письмо только в «Красной звезде». Вот вам и гласность! А что же уважаемый академик? Да ровным счетом ничего. Это в любом другом правовом государстве, в той же Америке, ему пришлось бы за такое интервью отвечать перед сенатской комиссией. У нас же пока все дозволено...

Впрочем, академику все-таки пришлось отвечать за свои слова. Депутаты съезда — афганцы от своего имени, от имени погибших потребовали ответа.

Миллионы людей видели, как оправдывался академик, так и не нашедший в себе мужества извиниться перед ребятами-афганцами. Наоборот, в заключение он еще раз подчеркнул: «Я не приношу извинений всей Советской Армии, я ее не оскорблял. Я не Советскую Армию оскорблял, не советского солдата (аплодисменты, шум в зале), я оскорблял тех, кто дал этот преступный приказ послать советские войска в Афганистан». Вот как все можно перевернуть с ног на голову! Но возмутило-то всех именно заявление академика о расстреле пленных.

Неужели такой высоконравственный ученый (а теперь уже и народный депутат!) так и не понял, что он оскорбил самих воинов-афганцев, что повторять на весь мир ложные факты безнравственно? Неужели не понимает академик и то, что народный депутат СССР должен подняться вместе со всеми другими депутатами при исполнении Государственного гимна страны, как это принято в парламентах всех стран мира?

Впрочем, весь мир видел, как отреагировал съезд на выступление академика Сахарова. Быть может, этот пример отрезвит некоторых любителей скандальных сенсаций, заставит их более ответственно относиться к своим словам.

Вот и дошли мы до такой жизни, что офицеров в метро открыто называют «нахлебниками», шлют гневные письма по поводу высоких пенсий, льгот. Но сами пишущие и орущие не спешат занять хлебное место и дорваться до льгот (в последнее время резко упал конкурс в военные училища, особенно авиационные и подплава — С. К.), ибо догадываются, что хлеба эти горькие! Что жизнь в дальних гарнизонах, где порой не только молока для детей, но и питьевой воды не бывает неделями, где убогая коммуналка воспринимается, как подарок судьбы — объективная реальность на многие годы. И видят только пенсию, но не видят пенсионера, годами ожидающего с двумя нажитыми чемоданами, неизменной язвой и радикулитом хоть какой-нибудь квартиры. Видят бесплатную одежку и обувку, но не видят чудовищной дискриминации, когда отслуживший в тяжелейших условиях двадцать пять лет офицер не может вернуться в родной город к могилам предков. Много чего видят, но, к сожалению, больше не видят или не хотят видеть.

Где, в какой стране такое маленькое денежное содержание у офицеров, где такие социально-бытовые условия, где такая социальная незащищенность, когда он до определенного срока не может даже расстаться с погонами, не будучи унижен морально и материально.

Где, в какой стране столь пренебрежительное отношение к армии, как у нас в настоящее время. В США офицерская профессия не только одна из самых высокооплачиваемых, но и самых престижных, так же в Англии, Франции, Китае, Кампучии, Эфиопии, Заире. Где угодно. В 1935 году французский генерал Луазо, пораженный мощью Красной Армии, писал: «...наиболее характерным, конечно, является теснейшая и подлинно органическая связь армии с населением, любовь народа к красноармейцам, командирам. Подобного, мощного, волнующего, прекрасного зрелища я, скажу откровенно, не видел в своей жизни».

Старые люди и сейчас помнят, какое было отношение, какая беспредельная любовь к военному человеку. И даже при этом мы терпели в первые годы войны жестокие поражения. С чем же мы сейчас встретим отнюдь не призрачную опасность, если от службы в армии шарахаются, как от тюрьмы, если почетная обязанность защищать Родину вызывает глухое раздражение и недовольство, особенно в так называемых просвещенных кругах. И уже на полном серьезе предлагают ввести вместо службы для тех, кто не желает оной, какую-то отработку. А дальше — больше: дойдем до того, чтобы «особо талантливые» чада откупались от ненавистных сапог. Советчиков сейчас, ой, как много. Один ретивый экономист в журнале «Огонек» предлагает сокращать армию не на какие-то 500 тысяч, а сразу вполовину, остальных же сделать наемниками. Подумаешь, по триста рублей в месяц на человека. Мы и больше теряем. Ну ладно, он человек не военный. Но как экономист мог бы сообразить, что для кадрового солдата не только 300 рублей нужно, которые, кстати, стоят все меньше, но и квартира, путевки и т. д. То есть то, чего и офицеры-то наши не все и не всегда имеют за долгие годы службы.

Не хотят некоторые этого замечать. Гораздо удобнее найти себе виновника и бить по нему безостановочно. Посмотрите, как преподнесла наша печать историю с гибелью подводной лодки «Комсомолец», выдавая свою работу за вершину гласности и открытости. У американцев тоже были подобные случаи и даже более трагические катастрофы. Но как реагировала пресса? Сколько на страницах американской официальной печати было гордости, боли за своих моряков, совершивших подвиг. Даже самые крикливые журналисты с большим достоинством, тактом вели свое неофициальное журналистское расследование. У нас же наперегонки, взахлеб стараются доказать, что все ни к черту не годится, высшее командование беспомощно, да и экипаж, если бы не перенес трагедию, тоже наверняка был бы осуждаем. Ведь не надели моряки спасательных жилетов, не подготовились к эвакуации заранее. А то, что пели «Варяга», — так это гимн нашей безответственности. Ставится под сомнение профессиональная компетентность и главкома ВМФ, и командующего Северным флотом. Вот только почему-то никто из пишущих не ставит под сомнение свою компетентность и всякую критику в свой адрес воспринимает, как борьбу с гласностью.

Конечно, армия тоже нуждается в реформах, и она начинает их проводить четко и разумно, как это и полагается военной организации. Но и здесь ее подталкивают нетерпеливые «прорабы перестройки». Требуют быстрее развенчать образ врага, броситься в объятия американцев, а они нас радостно примут под крыло всемирной демократии. Опять же с этим образом врага. Кто это придумал? Еще несколько лет назад, в самый застойный, милитаристский период решил я опросить солдат батареи, которой командовал, как они себе представляют потенциального противника. Опросил всех. И все, за редким исключением, нарисовали образ доброго американского парня, очень похожего на нашего, который и во враги-то попал по недоразумению. Ведь не фашист же. С такими оценками я часто сталкиваюсь и до настоящего времени. О каком же тогда образе врага можно говорить и кого надо развенчивать? А вот в американских казармах и столовых до сих пор висят лозунги «Убей русского!», и добрые американские ребята с остервенением колют чучела советских солдат. Поток фильмов о русских варварах-завоевателях далеко не иссяк. Интересно, как сумел избежать этой штыковой подготовки корреспондент «Огонька», проходивший широко разрекламированную стажировку в американской армии.

Мечта о мире, о разоружении — дело святое. Но стремление к миру должно быть обоюдным. Пока же наши мирные инициативы остаются односторонними. Вот как на сегодняшний день выглядит оборонная мощь противостоящих в Европе сил («Советская Россия», 1989, № 107):

	ОВД	НАТО
Общая численность вооруженных сил	5300 т. ч.	6523 т. ч.
Боевые самолеты	10,5 тыс.	14,1 тыс.
Танки	80 тыс.	40,3 тыс.
Крупные надводные корабли	160	673
в т. ч. авианосцы	4	25
с крылатыми ракетами	47	358

Против кого развернуты эти силы, о сокращении которых в НАТО пока и не думают? А как понимать модернизацию тактических ракет? Мы по договору о РСМД только начали уничтожать новейшую ракету «Ока» с дальностью до 400 км, а США толкают европейских союзников на скорейшее развертывание ракеты с дальностью до 500 км.

Это реальные факты, и, рассуждая о развенчании образа врага, общечеловеческих ценностях, нельзя забывать, что угроза безопасности нашей страны остается. А случись страшное, «ревнители» общечеловеческих ценностей первыми обрушатся на армию. Как вы смели не подготовиться, как вы смели плохо воевать. Не следует забывать слова великого кинорежиссера А. Довженко, сказанные им в июне 1942 года: «Трусы забудут обо всем на свете и предъявят еще обвинение, почему так плохо велась война. А лучших людей много погибнет в боях».

Дожили мы и до того времени, когда армия не только подвергается нападкам, но и втягивается в открытое противодействие народу. Сколько сейчас разговоров об участии войск в разгоне демонстраций в Азербайджане, Армении, печально известном Нагорном Карабахе и, конечно, трагических событиях в Тбилиси. И не только разговоров. После тбилисских событий армия, военные прямо обвиняются в убийстве мирных жителей, женщин, детей, хотя официальное расследование еще не закончено и обвинения пока основываются большей частью на слухах. Причем, включилась в эту кампанию не только пресса, но и народные депутаты. При этом мнение армейских кругов, свидетельства солдат и офицеров зачастую игнорируются.

Слов нет, сердце сжимается от боли за безвинно пролитую 9 апреля кровь. Но разве только 19 жертв взывают к ответу! А то, что за последние два года в мирное время, в своей стране погибли десятки солдат? Разве не дикостью является такой доклад командира батальона: «С площади выбит толпой. Отхожу с потерями. Вынужден оставить первый этаж. Прошу подкреплений, не могу отбить раненых». Дикостью, потому что дело происходило даже не в Афганистане, а в Кировабаде. И таких свидетельств, поверьте, не меньше, чем тех, в которых рассказывается о «зверствах» военных. Вот только некоторые из них, приведенные участником событий в Закавказье майором А. А. Абрамкиным в газете «Литературная Россия» (№ 19, 1989 г.).

1988 год. Кировабад. «Толпа все прибывала, провокаторы кричали о «зверски убитых братьях». И тогда было принято решение отодвинуть толпу от моста. Воины шеренгой пошли вперед. Толпа подалась, отступила. И тут сзади, из переулка, выскочил грузовик... Убийца, сидевший за рулем, не дрогнул, не нажал в самый последний момент на педаль тормоза. На полной скорости он сбил несколько человек. Машину занесло на бордюр тротуара, но водителю удалось выровнять грузовик. И все же короткого замешательства было достаточно, чтобы лейтенант Виктор Попов вскочил на подножку. Саперной лопаткой отбил нож, нацеленный ему в грудь. Лезвие полоснуло по руке... Лейтенант удержался на подножке, и убийцы, уже казалось, не уйдут. Но тут сзади посыпались камни...»

Тот же 1988-й. Баку, Ереван, Степанакерт. «Ружейные обстрелы воинских патрулей и целых подразделений, применение самодельных гранат, широкое распространение бутылок с зажигательной смесью — все это серьезно подогревало атмосферу. В Кировабаде было сожжено 5 единиц бронетанковой техники (благо в городе это очень удобно), в том числе одна БМП при обороне горкома КП Азербайджана. Спасавшийся от огня механик-водитель был зверски избит толпой».

«Но, — скажете вы, — это Кировабад, а не Тбилиси». Не спешите с выводами.

9 апреля 1989 года. Тбилиси. «Наше подразделение начало свое выдвижение с площади Ленина в направлении Дома правительства. До его траверза мы шли спокойно. Толпа расступалась на две части. А затем перед нами оказались женщины, девушки. Они сидели. Когда мы стали их поднимать, чтобы пройти дальше, в нас полетели металлические предметы, камни. Я четко слышал четыре хлопка взрывпакетов, брошенных из толпы в глубину нашего строя. Несколько моих товарищей упали. Они были ранены. Я из подразделения внутренних войск. В мае этого года увольняюсь. Приходилось участвовать в наведении порядка не раз. Но никогда у нас не было столько раненых, сколько оказалось в ту ночь. И, тем не менее, мы контролировали себя. Все чаще использовали защитный прием. Когда дошли до большого здания с колоннами, сильный удар в голову свалил меня с ног». Это свидетельствует младший сержант Игорь Поляков.

А вот свидетельство рядового С. Н. Пряхина: «О многом вам рассказать не смогу. Дело в том, что я успел лишь встать в строй да сделать несколько шагов. Тут же получил удар. Что было потом — не помню. Уже в госпитале сказали, что в себя я пришел только через двое суток». Или рассказ еще одного «зверя» рядового В. Королева: «Дело в том, что из толпы в нас полетели камни, доски. Об щит моего соседа ударилась и разбилась бутылка. Запахло спиртным. Из толпы выскакивали парни и, подпрыгивая, ногами били нас по щитам. Но, видя, что за щитами мы практически неуязвимы, стали бросать камни в ноги. Я получил сильный удар по ноге. В какой-то миг увидел высокого парня с ломом в руках. Все это время толпа приближалась к нам. Удар доской, я упал...»

Хочется надеяться, что комиссия, созданная на съезде, выявит все факты и даст справедливую оценку случившемуся 9 апреля в Тбилиси. Но кто ответит за слухи, ложную информацию, оскорбления, жертвы, невосполнимый моральный урон, который понесла наша армия!

К сожалению, тбилисские события не стали последними. То, что произошло в Ферганской долине, уже трудно списать на «мирные демонстрации» и «карнавалы со свечами». Исколотые вилами, разрубленные топорами трупы, лозунги «Узбекистан — узбекам», «Душим турок, душим русских. Да здравствует исламское знамя» — все это уже не просто чудовищный вандализм, а хорошо организованная антигосударственная преступная акция коррумпированной мафии, разжигающей огонь национальных страстей. Где гарантия, что эта акция будет последней?..

На съезде многие депутаты, включая военных, единодушно выступили против участия армии в подобных мероприятиях. Но есть еще в стране силы, продолжающие втягивать армию в противоборство с народом. Как все это напоминает историю с казачеством — лучшими для своего времени войсковыми частями, сравнимыми разве только с современными десантниками. Именно казачество было противопоставлено народу, превращено в карателей. Сейчас уже не секрет, что все это во многом способствовало геноциду, развернутому против казачества в гражданскую войну и в 30-е годы, когда физически было уничтожено несколько миллионов казаков, в том числе женщин, стариков, детей. Как же легко ныне иные публицисты, поэты рассуждают с трибун, экранов телевизоров о гуманности, о вечных человеческих ценностей, обвиняя в антигуманности армию. Попробовали бы они убедить во всем этом разъяренную многотысячную толпу, швыряющую камнями, размахивающую ломами, стреляющую из обрезов и автоматов! Пока же под градом оскорблений, камней и пуль оказываются наши с вами дети в военной форме, защищающие правовые основы нашего государства.

Вот так, начав с небольшого анализа литературных произведений, мы подошли к реальным событиям. Такой путь в общем-то закономерен, ибо говорить о литературе, отображающей армейскую действительность, и не сказать о самой армии невозможно.

Дорогие писатели, деятели литературы и искусства! Вы спасаете сейчас многое: экологию и экономику, культуру, кооператоров и интеллигенцию, бедолаг-рецидивистов из колоний строгого режима и заблудших девиц легкого поведения. Но как дружно вы нападаете на армию, как робко ее защищаете, точнее, молчите. А ведь она, не задумываясь, встанет на вашу защиту!

АФГАНИСТАН. ПИСЬМА С ВОЙНЫ — ЛЮБИМОЙ

«НО МЫ НЕ ЗАБУДЕМ ДРУГ ДРУГА»



Письмо четырнадцатое

[5 июля 1985 г.]

Здравствуй, моя милая,
моя любимая Галинка!

С большим приветом и ласковым поцелуем с Памирских гор к тебе.

Вчера получил твое письмо и очень обрадовался. Из твоего письма я узнал, что ты только начала получать мургабские письма, но это не так уж страшно, потому что здесь были случаи, что письма приходили через 12 месяцев. А мне везет — получаю почти каждую неделю. Я уже так привык, что когда приходит партия писем, то обязательно должны быть твои письма.

У тебя все хорошо, скоро уедешь в альплагерь, я могли б ехать вместе. Рюкзак можешь не брать, там все дадут, а брать тебе нужно теплые вещи, комбинезон и др., также возьми веревку капроновую 4 мм, где-то в этих размерах, прочный шнурок м. 5, также ниток с иглами, а остальное написано в путевке, также денег.

Не забудь передать большой привет незнакомому поэту. Когда будешь писать ему письмо, скажи, что стихи мне понравились.

Все стихи, которые я слышу и мне нравятся, я записываю в книжку, уже скопилось небольшое количество. Также передай Коробейникову Сашке привет.

А насчет Афганистана, если он просится, то его вряд ли возьмут, туда желающих и без него много. Кто оттуда возвращается, тот потом обеспечивает свою дальнейшую жизнь. Так что это очень выгодно, если, конечно, оттуда вернется, ведь там иногда стреляют.

А вообще, армия — хорошая школа, которую заочно не пройдешь, но два года это слишком много, хватило бы всего года, чтобы всему научиться.

По идее это так: 1 год службы ты учишься, а 2-й — держат, как живую силу, на всякий случай. Теперь ты можешь понять, каково состояние солдата.

Сейчас на душе чуть-чуть побаливает, даже не знаю, почему. Наверное, потому, что думаю о тебе. Даже не знаю, что делать, и чем это исправить, совершенно нечем. Но у тебя, наверное, настроение не лучше и, самое главное, что ничего невозможно сделать.

Окончание. Начало в № 5

Ты права, чем длиннее разлука, тем сильнее сжимается сердце в груди и испытываешь какое-то беспокойство и слабость. Но чем больше и шире шаги разлуки, тем шире шаги нашей встречи с тобой.

Когда наступает вечер, я с облегчением вздыхаю, наконец-то, еще один день прошел, а утром, еще один день надо прожить. Но надо избавляться от этих мыслей, надо стараться не думать о разлуке и тогда будет легче.

Я тоже, моя родная, не знаю, что такое разлука, особенно, с любимым человеком. В далеком краю, у «черта на рогах», начинаешь вспоминать каждую мелочь, каждую крупинку этой жизни на свободе, которую ты так не ценил, хотя понимал. Но понимать и представлять это одно, а испытывать на себе — это очень тяжело.

Я очень скучаю, скучаю по тебе, я скучаю по твоим нежным рукам, ладони которых полыхали, как солнце; пальцы как лепестки роз; твои добрые глаза, с какой-то любовной искоркой; твоя походка, которую я отличу из тысячи других, а твой взгляд, я помню каждое твое движение, разве можно это забыть.

Я скучаю по твоей ласке, ведь иногда так хочется, чтобы хоть кто-нибудь выслушал тебя и мог понять тебя.

Но тебя рядом нет, вокруг такие же парни, которые тоже об этом мечтают. Я каждый раз всматриваюсь в их лица, когда объявляется перерыв, все становятся чуть-чуть замкнутыми, некоторые даже закрывают глаза, летая в своих мыслях, кто-то что-нибудь рассказывает, а рассказы тоже о доме.

Да, все время собираюсь тебя спросить и все время забываю, научилась ты играть на гитаре? По идее, должна уже играть. Когда поешь про себя или слышишь какую-нибудь песню, всегда становится тоскливо на душе и всегда вспоминаешь дом и тебя.

До свидания, моя единственная,
моя любимая Галинка!
Твой оловянный солдатик.

Письмо пятнадцатое

[*11 июля 1985 г.*]

Здравствуй, моя милая, любимая Галинка!

Вот пишу тебе письмо с Памирских гор, в надежде, что скоро придет твое письмо с Кавказских гор.

Вот получил твое письмо, даже два и пишу тебе ответ. Твои приключения мне очень понравились, прыжки с парашютом, любовные пожелания.

На твою выдумку я не обижаюсь, даже смешно, потому что адрес попросил мой друг, и я ему дал. Он написал этой «девушке» письмо и ждет ответ, а также я ей написал ответ на «её» письмо.

Но все-таки, я надеюсь, что такие глупости и еще что-нибудь в этом роде не повторятся, потому что солдатам надо писать только правду. Здесь какое-нибудь неправильное или нехорошее письмо очень может повлиять на душу воина.

Вот три дня тому назад сбежал один солдат, осеннего набора, причину точно не установили, но офицеры сказали, что пришло какое-то письмо, что-то написали о его девушке. И вот он сбежал. И мы каждый день ходили на просечку местности.

Но мне очень понравилось. Мы ходили по долинам, поднимались на гребни гор, где-то около 4-х тысяч метров НУМ (ниже уровня моря.— Ред.). И так три дня. Должны были идти в ночную засаду, но его уже поймали. Ему очень повезло, дезертирство ему не приписали, не хватило нескольких часов. Вот видишь, какие дела творятся из-за писем.

Но у меня все по-старому: тактика и огневая с перерывами между «боями», можно немного подумать о тебе, вспомнить наши встречи, ссоры и радости, гулянье под луной, которая нам освещала в темную ночь, сиянье звезд, колыханье листьев, трещанье сверчков, уханье филинов. Все это я стараюсь удержать в своей памяти, не «расплескать», как воду в жаркой пустыне. Все это режет душу, особенно, когда трудно. Но солдату не должно быть трудно, все тренировки направлены на достижение физической силы, а на силу воли, чтобы солдат смог владеть своей волей, свершать все, что от него требуется.

Вот уже прошло 8 дней, как ты в альплагере. Мама мне писала, что ты заходила к нам перед отправкой.

Ты, наверное, походила по Комсомольской горке, нагоняя тоску на свою душу, а потом отправилась к маме, чтобы что-нибудь узнать обо мне. Но, самое главное, что ты так и не догадалась написать мне адрес, но я жду, когда ты мне напишешь оттуда.

Ну вот, почти и все мои дела в армейской жизни.

Очень жду твоего письма, самого дорогого и любимого.

До свиданья, моя любовь, спи спокойно, а мы можем и не спать, чтобы все было в порядке с тобой, с Родиной.

Твой оловянный солдатик!

Письмо шестнадцатое

(На вкладе конверта: «Галчонок, прости за грязный почерк и ошибки».)

[*16 июля 1985 г.*]

Здравствуй, моя милая, моя любимая Галя!

Вот уже прошло 3 месяца нашей разлуки. Милая Галя, не дождавшись твоего письма, я решил тебе написать. Но я надеюсь, что твое письмо скоро придет.

На этой неделе я получил много писем. От своего брата, от Николая, из дома, от дядьки. И мне прислали много адресов, даже адрес Глухова. Я весь день писал, чтобы ответить на все письма. Моему брату присвоили звание старшего лейтенанта, а брат Николай сейчас на Украине, учится на командира БМП (боевых машин пехоты. — Ред.). Глухов тоже где-то под Ташкентом, я ему написал письмо, но, правда, еще ответа не получил.

У нас тоже все в порядке, сейчас начались жаркие дни, дождей и снега почти не стало. Уже ждем не дождемся, когда кончится «учебка», хотя и не знаем, что будет лучше. Все ползет по-старому и по графику. Кругом пустынные горы Памира и черные вороны, сидящие и галдящие на колючей проволоке, которые очень мерзко кричат. Недавно был в наряде на пекарне, устал, как черт, и ночь не спал.

И поэтому я, наконец-то, увидел вселенную с Памирских гор. Звезд было масса, я столько звезд еще не видел, летали кометы, двигались спутники, но среди этой массы я искал наше с тобой созвездие. И я, наконец-то, нашел. Оно было так ярко выражено на черном небе, не так, как в Ставрополе, и опять полезла в душу тоска. В пекарне было очень жарко, работа — не из легких, но почему-то спать не хотелось. На другой день тоже весь день пахали. Но зато на другое утро я еле поднялся, и, как назло, была тактика, я еле выжил. Слабость была такая, что я никогда еще таким не был вялым, но все-таки я держался. А сегодня я снова в наряде — только по роте, и сейчас я могу написать тебе письмо.

Сегодня опять пришли письма, только не от тебя. Пришли письма из дома и еще письмо от Чина. У него все нормально, в увольнение уходит, родители приезжали, письма идут всего 2 дня. Только пишет, что стал лысеть понемногу, ну, я думаю, что это дело поправимое. Также из дома написали, что фотографии готовы, так что тебе надо будет к моим зайти, чтобы забрать карточки, где изображен твой Пашка. Но ты, наверное, не успеешь получить это письмо, ты, наверное, уже уедешь в альплагерь, а я так жду твоего письма с адресом, чтобы и туда написать тебе весточку.

Так я слышал, что моя мама собирается выбить пропуск и приехать ко мне? Скажи ей, что это бесполезно: во-первых, здесь закрытая зона, во-вторых, здесь мужчины молодые, здоровые, и то им было плохо. Так что не пробуйте ко мне приезжать, все равно вас сюда не пропустят.

Спасибо, моя милая Галочка, что поздравила мою маму с праздником, ей очень было приятно, а мне — тем более.

Я по тебе, милая, очень скучаю, и с каждым днем все сильнее. Иногда такая тоска нагрянет, что из рук все валится, и иногда из-за этого мне попадает.

Стоишь в строю и мечтаешь, а офицер заметит и — «рядовой Буравцев, повторите, что я сказал», а я — глаза в землю. А некоторые стали называть меня «ханжой». Говорят, что любовь не нужна и бесполезна. Но я все равно отстаиваю свою точку зрения. Ведь без любви, мне кажется, невозможна жизнь, ведь только любовь дает право на жизнь, только любовь поднимает солдат в атаку, попирая смерть сапогами, и только ради любви стоит жить, только ради любви.

Я иногда стал задумываться, почему люди такие жестокие и жадные, почему им всегда чего-то не хватает, ведь из-за этой жадности я нахожусь очень далеко от тебя, только из-за этого создана армия, вооруженная и живая сила (солдаты). Если бы люди могли жить в мире, то я бы и никуда не уезжал от тебя, и я просто не могу понять, неужели им нужно столько много. Ненасытные скотины.

Ты не подумай, что я тебе жалуюсь, что мне очень трудно, мне трудно, но бывает еще трудней.

Галинка, я посылаю тебе рисунок с видом из окна казармы. Это и есть те пики, которые находятся в Китае, и, иногда смотрю на них, мне становится жутко и появляется какая-то злость.

До свиданья, моя милая Галинка.

Я пишу из далекого края,
Где кончается наша земля,
В том краю я тебя вспоминаю,
родная!
Так проходит солдатская служба
моя.

Твой оловянный солдат.

Письмо семнадцатое

[*18.07.85 г.*]

Здравствуй, моя милая,
моя любимая Галинка!

С огромным приветом к тебе с Памирских гор от твоего горного стрелка.

Наконец получил от тебя письмо, правда, без адреса альплагеря, а ведь сегодня уже восемнадцатое число. И тебе, если мне не изменяет память, надо уже быть на месте. Сегодня ты должна увидеться с прелестями Кавказских гор, вдохнуть чистый горный воздух. Сегодня ты попадешь в другой мир, все для тебя будет неизвестным и незнакомым, и на душе чуть-чуть будет тревожно. Но это все временно, и со временем это все пройдет. У нас обычный солдатский день, они почему-то становятся похожи друг на друга.

Было у нас занятие по огневой подготовке. Это мы опять вышли в «поле» и там стали проводить стрельбы. Стреляли первый раз на 100 м по 3 патрона, но я ведь из автомата не стрелял и поэтому результат показал неотменный, зато — на «удовлетворительно».

А потом стреляли на 400 м по 6 патронов очередями. Надо сделать было 3 очереди и поразить 3 цели, но это я, «слава богу», сделал. И на этом почти наши занятия закончились. Но мне не было и минуты покоя, я все время куда-нибудь «залетал». Успокоился только после отбоя.

Наконец я получил письма от ребят: Догаева и Скомарохина, но, оказывается, что они были там не одни. Глухов, оказывается, был с ними, а потом его перевели в другую часть, где-то рядом, а с ними еще находятся Марченко Виктор и Ариф Гашидов, помнишь, нерусский учился в нашей группе.

Они все учатся на связистов, понемногу жалуются на службу. А чего жаловаться? Часть находится в самом Ташкенте. Граф уже ходил в увольнение. Кругом зелень, яблони растут прямо в части и на учебном поле. Кислород «дыши — не хочу». Вот так они живут.

А сегодня 19-е число. Я все еще пишу тебе письмо, потому что за один день написать не смог. Ведь сколько у меня «свободного времени»!

Сегодня опять была огневая подготовка. Только пока мы дошли до места, чуть все не задохлись. У нас сейчас новый офицер, он телом и душой очень похож на Ноздрёва, персонажа из «Мертвых душ» Гоголя. Ему командовать только в царской армии.

Вот он и взялся за наше воспитание. Сегодня почти всю дорогу бежали в противогазах, уже под конец стали задыхаться. Проклял тот день, когда я родился... А потом показывает на одну горку и кричит: «На перевале огневая точка противника. Атаковать!» И опять бегом. Я накинул автомат на правое плечо, приклад в живот и — «За Родину». Выполз и тут же лег наизготовку. Сердце бьется, как пулемет, одышка. Я лег на автомат и думаю: «Сейчас помру». Потом мы получили патроны и стали стрелять. Я сделал все, как нужно, первой очередью поразил «пулемет противника», а двумя остальными очередями — «пехоту противника». И за это я получил оценку «отлично». И вообще, я взял зарок: хорошо научиться стрелять. Так что я буду стараться быть хорошим горным стрелком, чтобы тебе не было стыдно за меня.

Сейчас стоит солнечный день, горы все открылись и поднялись облака.

Где-то вдалеке блестит снег на труднодоступных вершинах. И дуют откуда-то с севера ветры, в тонких нитях антенн, поднимается пыль и небольшие завихрения, чем-то похожие на «смерч». Особенно при сильном порыве слышится вой и посвистывание в колючей проволоке и проводах. И так завывает, что за душу берет. В душе становится тревожно и тоскливо, как будто это песня о родном доме, о тебе. И тогда начинаешь вслушиваться в «мелодию» и вспоминать твои глаза, тебя всю, твою любовь, твои ласковые руки и нежные волосы.

Ты решила отпустить длинные волосы, но за два года они вырастут до самых пят, как у «русалки», и я тогда буду носить тебя на руках, ведь сама ты ходить не сможешь, ноги запутаются. Мне длинные волосы нравятся, и ты, наверное, станешь еще прекрасней.

И я огорчен, что это письмо ты не получишь через 20 дней, но что поделаешь.

До свиданья, моя любимая, единственная Галинка!

Будь осторожна в горах, я тебя прошу.

Твой горный стрелок.»

Кишлак Мургаб в горах Памира
Я не забуду никогда
Я здесь служу на страже мира,
Чтоб были вместе мы всегда.

Чтоб вы могли гулять свободно,
Работать, танцы посещать,
Но никогда не забывайте.
Здесь мы затем, чтоб защищать.

А защищают те ребята,
С кем были вместе вы вчера,
С кем ночи напролет гуляли,
На танцах вместе танцевали.

Короче, ваши же друзья,
И вдруг судьба так повернулась.
Что надо им Отчизне долг отдать.
Но это, право, ненадолго, всего 2 года
им служить.
Затем вернусь и, как все, начну спокойной
жизнью жить.

Письмо восемнадцатое

[*5 августа 1985 г.*]

Здравствуй, моя любимая, моя милая Галинка!

С солдатским приветом с Памирских гор от горного стрелка твой Пашка.

Как ты там поживаешь, моя альпинисточка зеленоглазая, наверное, уже все вершины Кавказа покорила. Смотри у меня!

Вот получил в один день 8 писем. Представляешь себе такую пачку, у всех глаза на лоб вылезли. Также мои дорогие родители прислали мне бандероль, в которой одни сигареты, только непонятно, для чего они мне нужны, ведь курить я бросил, также пришли письма от братьев. Колька служит на Украине и, как он пишет, все нормально. Но, а мой брат неважно, заболел, сердце стало шалить. Переслали мне фотографии, которые у тебя есть, также фото проводов. Посмотрел я, и стало немного грустно. У всех такие веселые лица, беззаботные и ты, моя милая, сидишь с краю и грустишь. Как будто одна только ты осознала, что здесь происходит, и только ты одна будешь грустить. Фотографии, конечно, хорошие, но их придется отправить обратно, чтобы их сохранить. А у тебя, Галчонок, есть фотографии, правда? Граф сделал для тебя? А то он вообще обнаглел, говорит, что в ближайшем будущем эти фотографии все равно станут вашими общими и зачем делать на 2 экземпляра больше, зачем лишние хлопоты. Ты напиши, есть ли у тебя такие фотографии или нет?

Ты, когда приедешь, не забудь зайти к моим, я еще прислал кадры, которые надо будет напечатать.

Я, конечно, написал тебе письмо в а/л (альплагерь. — Ред.), но очень боюсь, что оно не успеет дойти, и поэтому это письмо я уже посылаю тебе домой. Очень жду твоих писем, в которых ты будешь описывать свои восхождения на труднодоступные вершины. Ты, наверное, в группе самая боевая, но я тоже надеюсь, что твой рюкзак перегружен не был. И на будущее, чтобы ты никогда не перегружалась, ведь ты все-таки

девчонка, а не мужик. А то вы иногда любите показать себя сильными перед мужчинами и начинаете набивать свои рюкзаки. В альплагере тебе, наверное, очень понравилось, а когда уезжала, наверное, капали слезы, правда?

Ну, а как живу я? Все по-старому.

Ты пишешь, что у вас туман да дождь. Как бы я хотел увидеть это, ощутить. Ведь у нас туманов почти нет и дождей тоже. У нас сейчас жара. Вчера на вечерней поверке вышли на плац, смотрим, а вокруг ничего не видно. Я подумал, что туман, а это, оказывается, пыль поднялась, то ли от ветра, то ли еще от чего-нибудь.

Я подумал, а когда-то я не любил туманы, всегда чувствовал себя неуютно. А сейчас очень хочется этого неуютства. Уж очень я соскучился по нашей природе.

Очень скучаю по тебе, даже не знаю, что делать. Все чаще перебираю складки своей памяти о наших прожитых днях и сколько нам предстоит прожить в разлуке. Гораздо больше, чем мы были вместе.

Но надо мужаться и тебе и мне, надо выдержать, и тогда мы будем навек вместе, я тебе обещаю.

Жди меня, и я вернусь, только очень жди!
Твой навеки, твой солдат!
Целую за сотню тысяч км

Пашка.

Письмо девятнадцатое
[*6 августа 1985 г.*]

Здравствуй, моя милая, моя любимая Галинка!

С огромным приветом с Памирских гор, твой Пашка.

Вот и произошли изменения в моей службе. Правда, в г. Пржевальск я не поехал, в мои друзья, наверное, поедут. Кругом здесь горы с прожилками снега, посредине голубое озеро, красивое, как на Кавказе, от берега, где-то метров пять, растет трава и такая густая, что на ней приятно стоять, и чем-то напоминает прошлую жизнь.

Сюда меня перебросили в качестве фельдшера, и я постараюсь стать прилежным медиком. Ну вот и все мои дела.

Ну а как дела идут у тебя, Галчонок? Я надеюсь, что у тебя все хорошо. Очень буду ждать твоих писем, которые, наверное, не скоро дойдут до меня. Твои письма, что придут на Мургаб, мне обязательно перешлют.

Ну а сейчас настроение у меня подавленное. Когда меняешь место, это всегда так происходит, но потом все становится на свои места.

Ну, вот и все мои новости. Пиши, жду, скучаю по тебе, а иначе быть не может, ведь я тебя люблю! Моя единственная, неповторимая.

Твой навеки, солдат Пашка.
Извини за ошибки и почерк.

Письмо двадцатое
[*12 августа 1985 г.*]

Здравствуй, моя милая, любимая Галинка!

С огромным приветом к тебе с Памира твой Пашка!

Вот ты, наверное, скоро получишь письмо с новым адресом, где будет другой номер части и другой адрес. И, наверно, сразу напишешь ответ, но времена меняются, моя милая, и я сейчас нахожусь на старом месте.

На заставе «Озерная» я пробыл целую неделю. Там приходилось лечить и работать. Я очень соскучился по медицине и поэтому делал все, чтобы помочь больным. У меня даже стал появляться небольшой авторитет, а потом, вдруг, пришел приказ, что мне надо вернуться. Я чуть не прыгал от радости, что я наконец сменю свое место расположения, посмотрю на людей и цветы. На заставе тоже было неплохо, кругом столько снежных вершин, блестящих на солнце. Погода здесь часто менялась и, вообще, стало уже холодней. Здесь даже бывает туман. Когда смотрел на недоступные вершины, часто вспоминал Кавказ и даже забывался, но эти вершины уже находились на нейтральной зоне. До них не было и километра, но дойти к ним было невозможно. Путь преграждала суровая КСП (контрольно-следовая полоса) — если ты видела по фильмам, специально разрыхленная земля в линию, чтобы оставались следы, а параллельно проходят столбы с колючей проволокой, а к проволоке подключена сигнализация.

Я стоял возле КСП и смотрел, где она кончается. Она уходила куда-то в горы и там терялась из виду, и невольно думалось, ведь вся наша огромная страна опутана колючей проволокой. И даже стало не по себе.

Но сейчас меня ждут новые приключения, и я очень этому рад.

И самое главное, я думаю, что ты ко мне сможешь приехать, но это, конечно, зависит от тебя. Было бы неплохо, если бы ты договорилась с моей мамой и прилетели бы, хотя бы на день. Это бы был самый счастливый день в моей жизни. Но как ты говорила: «Мечтать не вредно». Так что приходится мечтать.

Я, Галчонок, получил твое письмо, в котором нашел огромный цветок, который я никогда не видел. Он очень был похож на эдельвейс. Спасибо тебе, милая, за твой подарок, я все сохраню!

Правда, когда я читал твое письмо, я долго перекладывал листы с места на место, но потом, конечно, разобрался и подумал, что ты хочешь предложить новое писание в целях удобства в чтении. Я думаю, что твой эксперимент удачный, но я думаю, что я тоже не отстал. И тебе приходится каждый раз расшифровывать мои письма (шутка).

Ну, вот и все, что я хотел сказать. Пока не пиши, я скоро напишу свой новый адрес.

До свиданья, моя дорогая, жду от тебя письма,
не забывай своего солдата. Ведь ты для меня все!
Ведь я люблю тебя!

Твой оловянный солдатик, Пашка.
Прости за ошибки и почерк.

Письмо двадцать первое
[*17 августа 1985 г.*]

Здравствуй, моя милая, моя любимая Галинка!

Ты, конечно, удивлена, но твой Пашка уже в другой республике.

Сегодня мы выехали из Мургаба и покатились на грузовике по горным дорогам Таджикской ССР. Была хорошая погода, светило солнце, горы были в прекрасном состоянии.

Мы постепенно поднимались вверх, а потом с огромной скоростью неслись вниз, виляя на крутых поворотах, а мы — как дрова катались в кузове. В нашей местности (пограничный режим, пограничная зона) даже паршивая «овца» считается пограничной. И у нас все шофера, почти все, из местных жителей, а они — такие лихачи, просто жуть. Все кочки, все колдобины достались нам.

Ехали, конечно, быстро, чтобы успеть на поезд (два часа ночи). Виляя по узким долинам, мы постепенно выезжали из долины «смерти».

Вот уже вдали стали показываться 7-тысячники с громадными ледниками, с бездонными трещинами, с вертикальными скалами. Когда мы ехали сюда, и, конечно, не мог определить высоту, а сейчас и даже ужаснулся от таких громад. Проезжали мы и видели из кузова машины озеро Кара-Куль. Оно громадное, как море, и голубое-голубое. Проезжал я возле пика Ленина и пика Коммунизма и других 7-тысячников. Правда, я не смог определить, ведь у нас экскурсий не проводят, но если посмотреть из «карниза», то они стоят на одном уровне, как бы на одном хребте, который во время вулканов поднялся выше всех, и получились такие красивые вершины.

Вершины очень красивые, я даже не могу описать тебе, но это очень красиво; трудно на них взойти. Ну ты сама теперь представляешь, ведь ты у меня альпинистка. Постепенно покидая громадные льды и вершины, мы стали проникать в долину «жизни». Постепенно стали показываться маленькие кустики и деревца и, как только перевалили перевал, сразу «ударили» в лицо запахи трав. Все ниже и ниже спускались мы, и на душе становилось веселее. Я слышал шелест листвы, травы, деревьев. Зеленый цвет так и рябит в глазах.

Вот мы уже и проскочили Гульчу, где я раньше находился, через некоторое время мы проскочили Ош, и постепенно мы стали окунаться в «цивилизацию». Приехав в Андижан, мы сразу же сбросили грязные мундиры, помылись и переоделись в парадную форму, которую нам, наконец-то, выдали.

И теперь я сижу в вокзальном кресле, смотрю на людей, а они смотрят на меня (когда-то и я так смотрел на солдат).

Сейчас мы накупили арбузов, винограда и т. д., но, правда, денег мало, потому что все деньги у прапорщика. Он нас сопровождает, такой маленький старичок, сам таджик, по-русски понимает плохо, но мы с ним находим общий язык. А вообще, он очень смешной, особенно когда злой.

Вот я опять тебе буду писать с дороги, это очень хорошо, к тому же я очень люблю дорогу и путешествия. Особенно в армии, очень хочется куда-нибудь уехать.

Но скоро мы будем путешествовать вдвоем. И я привезу тебя сюда, где я раньше нес службу, если, конечно, достанем «мандат», но, вероятно, постараемся.

Тут даже пришли письма от Глухова А., Догаева С. и от «Детины» Андрея. Они все передают тебе привет, также к ним подключился и Генчик. Я также узнал, где сейчас «Трифон», и я скоро напишу ему письмо. Но из письма Глухова я понял, что он где-то возле Ростова и на должности фельдшера.

Ну, а как ты, моя дорогая? Шурик спрашивает: «Понравился ли тебе альпинизм и будешь ли ты заниматься дальше». Я думаю, что надо написать положительно. Да?

Галчонок, в дороге я думал о тебе, мечтал о наших с тобой путешествиях через 2 года. Я очень по тебе скучаю, иногда становится очень тяжко. Но что поделаешь, надо держаться, тебе ждать, а мне служить, и по трудности это одинаковая участь у нас с тобой.

А сейчас смотрю на ночной город, мне стало чуть-чуть грустно, даже появилась потребность в сигарете. Я сейчас все думаю и никак не могу сложить свои строчки письма. У меня сейчас все перепуталось. То вспоминаю наши свидания, вечера. Сейчас стоит такая же прекрасная погода, одинокий шум машин, пустынные улицы, запах прохлады и свежести, тускло светят фонари, мигают светофоры, и все это стало резать мне душу.

Я так почувствовал себя гражданским человеком, беззаботным, простым парнем и я еду к тебе, но это только мечты, которые нескоро сбудутся.

Ну вот и все, что я хотел сказать, кажется, письмо совсем не получилось, извини.

Прости за почерк, за ошибки, ведь я у тебя такой «писака». Помни меня, ведь я тебя очень люблю!

Твой солдат Пашка.

Письмо двадцать второе
[*20 августа 1985 г.*]

Здравствуй, моя милая, любимая Галинка!

Вот я уже нахожусь на сборах фельдшеров. Здесь так здорово, что я не могу тебе, милая, передать.

Тут огромный отряд, сделан очень красиво: кругом рассажены ели и тополя, на клумбах цветы, трава на газонах, также сделаны небольшие фонтанчики. Если бы на мне не было бы формы, то я бы почувствовал себя, как в доме отдыха.

Кругом части расположены горы с белыми шапками снега и громадными ледниками. Но горы здесь очень похожи на Кавказские, только здесь лесная зона гор беднее, чем у нас. Здесь с нами проводят занятия по медицине. Нам заинтами читают лекции про заболевания, которые часто встречаются в армии. Почти так же, как и в училище: пиши себе да пиши, выскочил на перерыв и опять пиши. Короче говоря, очень здорово, хоть чуть-чуть отдохну от армейской жизни. Правда, жаль, что мы здесь долго не пробудем, наверное, дней через 10 «ушагаем» на наш любимый Памир.

Сейчас я дневальный: по роте «стою», т. е. сижу на тумбочке с 2-х ночи до 6-ти утра. Сейчас уже осталось 2 часа, но я иногда очень люблю дежурить ночью, потому что можно подумать о тебе и перечитать все твои письма, а писем твоих много и все они — любимые и дорогие.

И для меня нет ничего дороже!

С дороги я посылал тебе письмо с фотографиями, наверное, оно дошло, в то у меня возникают сомнения.

Самое главное, Галчонок, это было в дороге. Как было здорово, как гражданский человек. И к тому же мы могли перепробовать все дары Азии. Все-таки хорошо, когда из дикой природы попадаешь в цивилизацию, тогда радуешься, как ребенок.

Первую ночь в вагоне я проспал по-граждански, где-то до 11. Потом весь день «балдели». Бедняга-прапорщик, этот бедный старикашка, замаялся за нами бегать и кричать: «Я вас всех на «губу» посажу». А мы, как школьники 5-го класса, убегали от него по вагонам да «выцыганивали» деньги на сладости.

Вторую ночь я заснуть не мог, слишком, наверное, был возбужден обстановкой. Я полночи простоял у окна, наблюдая за нашим с тобой созвездием, и смотрел на мелькающие дома и встречные поезда. Да, в такую ночь трудно было уснуть. Я подарил ее тебе!

Я мог спокойно все обдумать и вспомнить, как нам было хорошо, как мы любили друг друга и как мало мы пробыли вместе. Но зато это были самые счастливые моменты жизни. Я вспомнил все ночи в палатке, когда мы были счастливы и наивны, как дети. Особенно я вспоминаю нашу первую поездку в Архыз. Помнишь, как мы переживали и боялись, а потом вышло, как и должно быть между двух любящих сердец.

Я вспомнил все, моя родная, каждую песчинку нашей жизни, и так я просидел всю ночь, даже не заметил, как наступило утро. Я до сих пор никак не очнусь от этой поездки. Такое ощущение, как будто я ехал к тебе, но не доехал, а попал в эту часть. Жалко, конечно, что «сборы» будут недолго, через 10 дней мы все поедем обратно в горы по старым дорогам Памира, проезжать возле господствующих вершин, возле озера Кара-Куль, что означает «мертвое озеро», и, может, я никогда за службу не попаду больше в цивилизацию. И поэтому, родная, приехать ко мне опять стало невозможно.

Но это — не главное.

Главное, что мы любим друг друга и очень верны своей любви. Не скучай, родная, милый мой Галчонок. Ты ведь знаешь, как я тебя люблю на этом огромном земном шаре!

До свиданья, целую тебя, родная!

Твой, навеки твой Пашка!
Извини за почерк и ошибки.

Письмо двадцать третье
[*24 августа 1985 г.*]

Здравствуй, моя милая, любимая Галинка!

Вот я все еще сижу на «сборах». Учим потихоньку медицину. «Сборы», как я уже писал, проводятся неплохо, и занятия, конечно, очень зависят от учителей.

К нам специально приезжают врачи из военных госпиталей, и каждый дает нужный материал и информацию. Вот сейчас у нас идут лекции по хирургии. Ты ведь знаешь, это мой любимый предмет. «Мужик» читает лекции нам успешно и больше показывает на практике. Много рассказывает, как лучше оказать помощь в наших условиях военфельдшеров. На маленьком стадиончике части мы уже развернули ПМП (полковой медицинский пункт), ты будешь скоро изучать по ВМП. У нас все как надо: содержимое палаток, смотря что, перевязочная аптека и т. д., также мы изучаем, как правильно переносить раненых, как вытаскивать из танков и БМП. Вообще сборы идут неплохо, но скоро и они заканчиваются. А тут такое настроение — то ли быстрее уехать, то ли еще чуть-чуть «поопухать». К тому же нас стали потихоньку прижимать. Вот, например, завтра мы идем в наряд на кухне, в меня оставляют на вторые сутки в наряде по роте. Да, я совсем забыл сказать, в сегодня снова пишу тебе письмо из наряда и сейчас 4 часа утра. А в наряд я попал, т. е. поставил наш временный сержант. У меня с ним нелады, не только у меня, а вообще со всеми.

Он мне почему-то с первого дня не понравился, он какой-то высокомерный «тип» и очень похож на нашего Босяка. А, как ты знаешь, и его тоже не терплю.

Вот мы с ним «гавкались» и «догавкались», он стал мне потихоньку мстить. Поставил в наряд за слабый ремень. Но мне от этого ни жарко, ни холодно, наряд по роте лучше, чем наряд по кухне.

Ну что я все о себе.

Очень соскучился, Галчонок, без твоих писем. Я тебе пишу, а тебе писать некуда и поэтому приходится только думать о тебе.

Вот сегодня прошло уже 4 месяца, как мы с тобой не виделись, и невольно думается, как время летит! А с другой стороны, оно тянется, как резина. Но ничего, вот 26 сентября выйдет приказ на увольнение осеннего призыва, и мне тогда будет полгода службы, и останется только 1,5 года. А потом, в скором времени, выйдет приказ и на наших «дедов», и тогда совсем мало останется, всего 1 год. «Помечтать не вредно» — твои слова.

Плохо, что на этом «курорте» я оторван от «мира писем», и поэтому на душе неспокойно, самое главное, что их не ждешь,

потому что знаешь, что сюда они не придут. Вот поэтому и настроение «не ахти». Но все это поправимо. Вот скоро поднимемся на наш «любимый» Мургаб, где меня будет ждать толстая стопка писем. И самая большая — будет твоя.

Ведь ты больше всех по мне скучаешь. Правда?! Потому что любишь меня, как и я тебя люблю, а что еще надо двум любящим сердцам. Ведь разлука — это временно, а жизнь еще долгая и длинная. И нам с тобой, родная, хватит по самые уши. Меня всегда вдохновляет то, что разлука уже началась, значит она истощается потихоньку. Помнишь, в нашем прошлом счастливом времени настроение у нас обоих было подавленное только тем, что в скором времени мы расстанемся, а теперь смотри, промчалось уже полгода, я даже не заметил. Ну, хватит об этом.

Ну, вот и все, что я хотел сказать тебе, родная. Помни, не забывай своего оловянного солдатика, который тебя так любит на этом свете и зорко охраняет твой покой.

До свиданья.

Пашка.

УЧЕБКА

В ПУЦу не ведали мы страха.
Он приходил уже потом.
И еще потная рубаха
Вдруг обжигала спину льдом.
Дыханье жизни появлялось,
Когда снимал противогаз.
На этот раз она промчалась,
Но повернется вновь опять.
В минуты редкой передышки,
Уткнувшись в камни и песок,
Беззвучно плакали мальчишки,
Приемля горькую судьбу.
А им бы поле стадиона,
Футбол до вечера гонять,
Под хрип трудяги-магнитофона
Девчонок милых обнимать!

И.С.М. и П.А.Б.

ПУЦ — полевой учебный центр.
На конверте: Извини за ошибки, родная!

Письмо двадцать четвертое

[27 августа 1985 г.]

Здравствуй, моя милая, любимая Галинка!

Извини, родная, что так долго не писал тебе. Извини!

Вот до сих пор отсиживаемся в г. Пржевальске, хотя «сборы» уже закончились. Лекции все нам прочитали, и все зачеты мы сдали. И поэтому делать нам нечего.

Потом у нас была мандатная комиссия. Здесь нас рассортировали по отрядам. У меня есть версия, что я поеду в Панфиловский отряд, но я точно сам ничего не знаю, но что нас всех разбросают, это уже точно.

«И никто не узнает, что нас ждет впереди,
То ли крест на могиле, то ли крест на груди».

Но ты можешь меня поздравить и можешь гордиться мной — несколько дней назад мне присвоили звание младшего сержанта (капрал). Так что из рядов рядовых солдат я уже вышел. Если хочешь узнать поподробнее, то возьмешь учебник НВП (начальной военной подготовки. — Ред.) и посмотришь, на погоне должно быть 2 лычки.

Короче, дорогая, я отношусь теперь к командирскому составу.

Геночке тоже присвоили звание МС.

Ну, вот почти все мои новости.

Теперь мы сидим в казарме и ждем, когда нас заберут и прячемся от начальства, чтобы не забрали на какие-нибудь работы.

Ну, а как ты, милая, я по тебе очень скучаю, так соскучился, ты даже представить не можешь. Всю душу рвет на части. Сегодня снился сон, что меня отпустили в отпуск... по причине!: «Ты написала командиру части письмо, что ты давно меня не видела, и он взял да и отпустил меня домой. Дома была огромная встреча, я сидел во дворе и рассказывал про свою службу, а все слушали, открыв рот. Потом мы все пошли гулять на Комсомольскую горку. Ты с мамой пошла вперед, еще были какие-то родственники, а я чуть-чуть припоздал и вышел позднее. Ты вернулась ко мне обратно, взяла меня под руку, и мы пошли гулять. Я еще помню, как захватил свой военный билет, чтобы по пути отметиться в военкомате. Потом мы остались с тобой одни и возле «Искры» рассматривали какие-то плакаты и ты мне сказала: «Ты посмотри правую витрину, а я левую». И только наши руки разжались, прозвучал горн подъема и все опять ушло в бездну.

А однажды мне приснилось, что я пришел к тебе на встречу и, как всегда, поцеловал тебя в губы, и ты ответила на мой поцелуй тремя нежными поцелуями. И настолько это было реально, что я не выдержал и проснулся!

Да, извини, я забыл поздравить тебя с новым учебным годом. Я представил первое сентября, митинг, полно первокурсников и ваша выпускная 321-я группа. Не забудь поздравить своих подруг от моего имени, также передай огромный привет Цыганковy с Памира и Тянь-Шаня.

А я желаю тебе хорошего начала в учебном году, в твой последний год в училище.

Ну вот и все, родная! Письмо я свое заканчиваю и очень хочу услышать твой голос. Прошло всего несколько недель, как я получил от тебя письма, а мне кажется, что прошла уже целая вечность.

До свиданья, мой милый Галчонок, единственная на земле!

Твой солдатик Пашка!

Мама, за кого мне выходить? за капитана?
или за профессора?
Можно и солдата полюбить, но защитника,
а не агрессора.
Мама отвечает дочери своей:
Выходи, касаясь золотых кудрей,
Ни за капитана, ни за старшину,
За солдата выходи скорей.
У солдата волос стрижен и не густ,
У солдата череп угловат и пуст...

Письмо двадцать пятое

[12 сентября 1985 г.]

Без начала.

...Ну, вот и все, милая, мои новости.

Галчонок, ты, наверное, знаешь, что мне родители звонили. Я так ждал, что смогу поговорить с тобой, но мама сказала, что ты еще не пришла. Я, конечно, очень огорчился.

Милая, как я соскучился по тебе, даже последнюю радость, и ту отняли, письма больше месяца от тебя не получал.

Но «слава богу», что я, наконец-то, на месте и скоро получу от тебя письма, такие долгожданные и теплые, из разных мест.

Но в этих местах горы похожи на Кавказские, только здесь не сосна, как у нас, а ель, но елки довольно высокие. Здесь горы — Восточный Алатау, а сам Панфилов ты можешь найти на карте.

Между прочим, отряд этот построен еще при царе, а в свое время здесь проходил службу Черненко К. У.

Ну вот, милая и все, извини, что так мало написал, а еще за почерк и ошибки.

До свиданья, родная. Целую тебя, родная.

Я тебя очень люблю. Твой Пашка.

Письмо двадцать шестое

[13 сентября 1985 г.]

Здравствуй, моя любимая Галинка!

Милая! Как я соскучился по тебе, и почему-то так долго нет твоих писем. Наверное, они летят ко мне и находятся где-то в дороге, которая ведет к самому краю нашей страны.

«Я служу возле самого края,
Где кончается наша земля.
Где проходит граница с Китаем
Тут проходит служба моя».

Да, здесь началась моя настоящая служба, нелегкая, но от нее получаешь вдохновение и полностью чувствуешь свой долг перед Родиной.

Службу несем и днем, когда сильная жара, и ночью, когда веет горный ветер, небо усыпано звездами, а дорогу нам освещает золотая луна.

Иногда службу несем так близко с Китаем, что даже становится не по себе, всего каких-то 70 метров вниз, перепрыгнул через маленькую горную речушку, и ты уже совсем на другой земле. Представляешь! Иногда смотришь, как эти людишки копаются в земле или несут службу, как и мы. Вот так и смотрим друг на друга и ночью, и днем — в бинокли, в подзорные трубы, в прорезь прицела автомата. Трудновато, конечно, ночью. Обдувает северный ветерок, по телу прошибает озноб, внимательно всматриваешься в местность, в каждую трещинку горной складки, пытаясь что-нибудь рассмотреть, но, «слава богу», ничего подозрительного нет. Хочется спать иногда, даже закрываешь глаза и сразу видится сон, но тут же вскакиваешь от какого-то внутреннего толчка. Не спать! Иногда хочется закурить, а нельзя, и так всю ночь, посматриваешь на звезды, на луну, которая помогает нашей службе, она светит, словно прожектор, чтобы нам было лучше видать.

Сейчас в горах конец «золотой осени». А помнишь?! Когда мы в сентябре ездили в Архыз, на три сосны, когда я бродил в поисках воды, а утром нас разбудил рев медведя, а когда я рассказывал тебе, какие здесь животные водятся, а ты мне не верила. Помнишь? А сейчас это где-то позади моей памяти, и ты, наверное, об этом также вспоминаешь, потому что это очень трудно, невозможно забыть. Правда?!

Один раз, Галчонок, я ездил на перевал на лошадях, в полной экипировке. На лошадь я вскочил бодро, прямо как настоящий казак, «аж кровь в жилах заиграла». Несмотря на то, что на лошадях раньше почти не ездил, в седле я держался уверенно, что-то мне подсказывало изнутри. Дорога была горная, низенькие лошадки шли с неохотой, иногда их приходилось «мутузить», вести под уздцы, жалеть и трепать за гриву, когда они спотыкались о камни. Вот так, с «горем пополам», мы поднялись на перевал. Оттуда открылся красивый обзор. мы даже любовались им, т. е. наблюдали, нет ли чего подозрительного. С перевала мы пошли по другой дороге, т. е. по звериным тропам. Долго пришлось спускаться по крутому «кулару» (желобу из камней), то и дело скатывались камни, лошади спотыкались, иногда набегали на своих наездников. Потом нашли узенькую тропинку, мы быстро вскочили на лошадей и поехали верхом. На пути нам то и дело мешали кустарники, а лапы елей постоянно цеплялись за ствол автомата, пытаясь сбросить меня. Вот так мы и добрались до заставы.

А как, милая, поживаешь ты? Как у тебя дела, все ли в порядке, родная? Ведь у меня душа болит. Твои письма с Мургаба еще не переслали, последнее письмо я получил, не помню, какого числа, но писем было сразу два в одном конверте и еще был такой огромный красивый цветок.

Родная, ты не обижайся на солдатика, если письма будут приходить редко, но тут нет ни минуты свободного времени: служба — сон, сон — служба. Но я постараюсь писать чаще.

Ну вот и все, родная, все, что я хотел сказать.

Я тебя очень люблю. Когда я разговаривал по телефону, я просил, чтобы тебе передали, что я тебя люблю, люблю... очень люблю!

До свиданья, Галчонок, мой родной, единственный.

Твой горный стрелок МС Пашка!

Прости за почерк и ошибки.

Письмо двадцать седьмое

[14 сентября 1985 г.]

Здравствуй, моя милая, моя любимая Галинка!

И куда же ты запропастилась, родная? Сегодня я пришел со службы и получил 2 письма. одно — из дому, другое — от Шурика и Юрия.

Мама мне написала, что ты перевелась в Буденновск. Но почему? Я не могу понять. Тебе что, в Ставрополе было плохо? Я надеюсь, что ты объяснишь, что тебя на это толкнуло, а, в общем, это твое личное дело, ведь ты сама знаешь, что делаешь. Но ты, наверное, все равно напишешь, почему?

А самое главное, я волнуюсь за письма, которые я тебе послал. Может быть, тебе их не переслали? А мне что-то изнутри подсказывало: «Пиши на Благодарный», как чуял, но не послушал своего внутреннего голоса и допустил ошибку.

Ну, а как на новом месте, все ли в порядке? Ведь ты попала в новый коллектив, в новую среду. Как там? И почему ты не сообщила моим родителям, ведь я тоже волнуюсь!

А у меня все нормально. Как я уже писал тебе, но я не уверен, что мои письма попадут, и поэтому немного повторюсь. Меня «перевели» в Панфиловский отряд. Отрядик старенький, построенный при царе. Тут в свое время служил К. У. Черненко (высылаю его фото на память). Здесь встретил земляка, Радченко Сергея, он учился в нашем училище, только на 2 года старше. Ну, а я поехал на заставу «Горная». Застава очень маленькая, уютная. Здесь очень хорошо, правда, времени свободного совсем нет, то служба, то работа и т. д. Природа здесь очень красивая, очень похожа на наш Кавказ.

Когда я приехал, было еще жарко, горы стояли чистыми и раскаленными от солнца, в лесной зоне отцветала «золотая осень». А сейчас началась настоящая осень. Нам уже выдали зимнюю форму. Иногда оседает туман или идет снег, особенно на перевале.

Но эти непогодные условия и горные условия не пугают советских пограничников. И в дождь, и в ветер, и когда идет снег — все равно несется служба.

Свистит ветер со всех сторон, снег в сапоги так и сыплет, а маршрут наш на границе тоже не ахти: надо подняться на перевал, потом — траверс, так называемый, а потом еще маленький перевальчик, а затем уже обратно.

Иногда служба несется еще дальше, смотря где, ведь писать много нельзя, армия!

Иногда сидишь и смотришь в бинокль среди камней, автомат между ног, сам весь нахохлишься, как воробей, и смотришь, как на той стороне китайские «друзья» копошатся, тоже службу несут.

Ну вот, в общем, о моей службе.

Я сразу отвечаю на вопрос, который может возникнуть у тебя. Звание младшего сержанта я получил как фельдшер и на заставу я попал как фельдшер, но так как фельдшер — должность внештатная, я стал осваивать еще несколько специальностей (военных), так что приходится лечить, служить и работать.

Ну вот и все, родная, очень жду твоего долгожданного письма, любимого и самого дорогого.

Не забывай своего солдатика, который служит в горах, который тебя очень любит и помнит всегда о тебе, и когда трудно, и когда легко, и который ждет твоего письма, очень ждет, потому что очень любит!

Этот цветок я сорвал почти у самого края нашей России, нашей родимой земли для тебя.

Галчонок, напиши, пожалуйста, про альплагерь, потому что на этом наша переписка оборвалась, а также научилась ли ты играть на гитаре.

До свиданья, моя любовь!

Твой оловянный солдат, Пашка.

Письмо двадцать восьмое

[18 сентября 1985 г.]

Здравствуй, моя любимая, моя милая Галинка!

Галчонок! Прошу сразу меня простить за такой лист бумаги и за писанину карандашом.

Вот пишу тебе с дороги, сама видишь, какими средствами.

Сейчас я нахожусь в Алма-Ате. Все мои вещи в машине остались, со мной только санинструкторская сумка. С заставы «Горная» нам надо было выйти в 3 часа ночи. И поэтому мы не спали, собирали вещи. Надо было ехать только нам троим.

В 3 часа ночи начальник заставы сделал общий подъем. Между прочим, мировой мужик, я таких еще в армии не встречал, его на заставе у нас очень уважают. Но вот, значит, поднялась вся застава, наши вещи навьючили на лошадей, и мы стали прощаться со всеми. Это было очень печально, у некоторых даже выступили слезы.

Потом мы взяли лошадей под уздцы и вместе с дозором пошли вдоль границы по дороге. Когда мы пришли на базу, нас ждала машина. Там нам дали почту, и среди всех писем я отыскал твое письмо. Но читать не стал, так как было темно.

Потом мы посидели на дорожку, покурили и — в путь!

В отряд мы приехали часов в 10. И сразу стали разбираться с вещами. Все лишние вещи сдали, оставили самое необходимое и то, что необходимо, выдали. И вот я уже в дороге.

Родная, ну а как ты, что произошло с вашей группой, почему она так сильно испарилась, где твои подружки, где Зухра? А начальством, по-моему, можно назвать тебя, а не меня. Я смотрю, ты уже руководишь группой «Эдельвейс». Это очень решительный поступок. Ведь я, по своей натуре, командовать не люблю и не хочу.

А ты, прямо, я даже не представляю. Ну давай, дерзай.

если будут неясные июансы, пиши, я постараюсь ответить на них. И, вообще, любимая, будь, пожалуйста, осторожней в технике и т. д. Сначала подумай, а потом уж сделай. Сделай так, чтобы я за тебя не переживал.

Ну вот и все, что я хотел тебе сказать. Не забывай меня, любовь моя! Ведь я тебя очень люблю!

Твой солдат, Пашка!

Галчонок, посмотри, как этот Игорь очень похож на нашего Игоря Шустова.

Письмо двадцать девятое

[Афганистан
11 октября 1985 г.]

Здравствуй, любовь моя!

Вот, кажется, я на месте.

Я тебе сразу все объясню. Я сейчас нахожусь в длительной командировке, наверное на 3 месяца, может, больше. Так что, милая, придется писать сюда.

Как ты уже поняла, я уже опять в Таджикистане, в той области. Пришлось снова проезжать по всему Памиру. Я опять заехал на Мургаб, встретил своих товарищей, также я встретил своего земляка и друга, он и вручил мне пачку писем — 30 штук и из этой пачки писем — 22 письма были твои.

За стихи и поздравления тебе большое спасибо, я их буду перечитывать в трудные минуты жизни.

А я хочу поздравить тебя со званием «Альпиниста СССР».

У меня все нормально, служим, только приходится таскать фельдшерскую сумку сверх всего, но ничего. Эта командировка пойдет и мне, и нам с тобой на пользу. Почему?! Я потом объясню.

Галчонок, писать пока много не буду. Напишу потом. А ты пиши, я очень жду, любовь моя. Милая, красивая, единственная на всем этом белом свете.

Твой солдат, Пашка!

В письме вложена открытка, в которой Галина поздравляет Павлушу с днем рождения (к 12.09.85 г.)

Пашечка! Поздравляю тебя с днем твоего рождения.

Желаю тебе всего самого, самого, самого, самого, самого, что только есть хорошего.

Будь счастлив!

Галина.

Приписка Павлика: «Буду! Только с тобой!»

Письмо тридцатое

[Афганистан
19 октября 1985 г.]

Здравствуй, моя милая, любимая Галинка!

Вот хочу написать тебе, родная, письмо, да не знаю, с чего начать. Ты меня сразу извини за почерк и грязный листок, потому что пишу я на каске, сидя в окопе. Я сначала хотел писать на лопатке, но она грязней каски. Ну вот, сижу в окопе, смотрю вдаль, то на горы, то на небо и так целыми днями. По ночам ждешь и смотришь, если кто или что-нибудь появится, разрешено стрелять. Вот так целыми днями.

Питаемся мы сухим пайком. Но мы стали потихонечку собирать дрова и на скудном огоньке делаем себе чай в «цинке» (это вроде большой консервной банки, в которой раньше хранились патроны). Ну вот, делаем чай и греем консервированную кашу. Спим прямо в окопе или рядом с ним. Нам выдали такие здоровские спальные мешки, в них очень тепло. Сам спальник сделан так, чтобы спать на улице, он очень большой, в нем можно спать вдвоем, да еще с головой. Я еще подумал, что нам с тобой только такой спальник и нужен, но очень жаль, что они военной промышленностью выпускаются только для армии. Но ничего, я постараюсь достать или сшить по такому принципу. Но мне в таком спальнике приходится спать не с тобой, в с моим верным другом — автоматом. Я надеюсь, ты меня к нему ревновать не будешь, к тому же он — мужского рода.

Вот такие мои дела. Как твои дела, дорогая, как твоя учеба на новом месте?

Я все хочу спросить тебя, Галинка, научилась ли ты играть на гитаре или нет? В следующий раз напиши мне.

Когда получишь это письмо, я сказать не могу тебе точно, потому что я не знаю, когда его отправлю.

Я постараюсь отправить его с вертолетом, да и то вряд ли. Я, милая, сам очень огорчен тем, что наша переписка опять прервалась, но ты у меня девчонка умная и смышленая, понимаешь, в чем тут дело и что от меня это не зависит.

Тут рядом мой сосед по окопу рассказывал свою жизнь. Он, уходя в армию, поссорился со своей девчонкой и, представляешь, за 2 года не написал ей письма, и она ему тоже не написала. Но его родители пишут, что она его ждет попрежнему. Но никто из них двоих не хочет первым признать ошибку и написать письмо. Странно! Не правда ли!?

Я так думаю, что у нас с тобой так бы не произошло. Правда?!

Сегодня видел сон, опять приезжал на побывку домой, целую ночь мы с тобой разговаривали, спорили, решали нерешенные проблемы. А сейчас вспоминаю этот сон.

Ну вот и все, родная. Пиши мне, я жду, если письма твои не получу, обижаться не буду, что ж поделаешь, такая обстановка.

До свиданья, мой родной, любимый Галчонок, мой единственный ненаглядный на всем белом свете!

Твой солдат, Пашка!

Письмо тридцать первое

[Афганистан
18 ноября 1985 г.]

Здравствуй, моя любовь!

Вот пишу тебе письмо из старых мест. У меня все еще «окопная жизнь». Мы все еще находимся в окопах.

Вот чуть-чуть стало холодать, и поэтому пришлось делать блиндажи из камней, как в Кавказских горах в 1942 году.

Складываем их из камней, а сверху настилаем ветки и сучья и накрываем сверху «пододеяльниками» или, как их еще называют, вкладышами из спальных мешков.

Получается небольшой домик, вот в таких домиках мы и живем. И в такой обстановке невольно вспоминаются строчки стихов:

Лежим на поле брани холодною зимой
Верните нас в Россию, верните нас домой.
Нам надоело ёжиться и знать, что смерть близка,
Корёжит жуткий холод нас. Смертельная тоска.

Осколками и пулями, где белый снег свиреп,
Жуем на жутком холоде заплесневелый хлеб.
Под ливнями, под бурями, на скалах, где снега,
Траву сухую курим мы, не видим табака.

И больше счастья нету нам, над горною каймой
Уж не поем, в шепчем мы — «верните нас домой»!

Но, правда, несмотря на ноябрь месяц, здесь довольно-таки тепло, несмотря на дожди и снег. Правда, с куревом совсем туго, вообще нет, и вертолет не летит, но еды хватает, нормально. Правда, мы тут заросли, как партизаны, у меня опять борода. Вот никогда не думал, что в армии отращу себе бороду.

Галчонок! Ты, наверное, обижаешься на меня, что я так редко пишу тебе, да еще карандашом, ручка уже закончилась.

Ну и как ты, любовь моя, как поживаешь там без меня? Я часто вспоминаю тебя в моих думах о прошлом и будущем и вижу тебя в своих снах. Правда, однажды приснился дурацкий сон. Короче говоря, приехал на побывку и домой и встретил Зухру, а она мне говорит, что твоя Галинка с каким-то парнем из политехнического института.

Смешно, не правда ли?

Ну вот и все мои дела.

Напоследок я хочу написать тебе, родная, строчки замечательных стихов, которые я долго искал и случайно нашел.

И сейчас посвящаю их тебе:

Жди меня, и я вернусь,
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди.
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара.
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних мест
Письма не придут,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.

Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Ты поверь в это опять,
В то, что нет меня.
Пусть друзья устанут ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души...
Жди! И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: — Повезло —
Не понять неждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил? Будем знать
Только мы с тобой.
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

Жди! Как ждали они!

До свиданья, милая моя, единственная на всем белом свете.

Твой солдат, Пашка.

Это последнее письмо, написано за 4 дня до гибели, а получено Галей 5 декабря 1985 года, через 2 дня после похорон.

Единственное уцелевшее письмо Галины, вернувшееся из Афганистана после гибели Павла.

Пашенька, здравствуй!

Вот получила от тебя письмо, еще на одно не ответила, уже другое пришло. Очень много узнала о тебе. Ну, ты у меня как «лягушка-путешественница», кочуешь с одного места на другое, что я не могу запомнить твоего адреса... А ты уже едешь на другое место. Вот и сейчас пишу, а сама не знаю, куда послать. Ведь, как ты пишешь, ты уже куда-то поехал, ты-то поехал, а куда мне писать? Тоже додумался, написал только номер части, а мне что, тоже посылать по этому адресу? У меня все нормально. Сейчас на практике, аж до самой зимней сессии. Погода стоит холодная, дожди, слякоть. Вот только что приехала из Ставрополя. Была у тебя дома, с девчонками два дня гуляли по городу. Вчера Зухра не дала уехать, а потащила в тур. клуб. Там 2—3 ноября в районе Татарки будут соревнования горников. Вообще, программа интересная. Так хочется поучаствовать, но не знаю. Меня пригласили на свадьбу, подруга выходит замуж, очень просит приехать. Зухра тоже просит. Представляешь, у Цыганкова сейчас анархия, в полном смысле этого слова. Команды нет совсем, одна Зухра, «снаряги» тоже нет, всего одна «вспомогаловка», нет ни одного карабина, ни репов, ни основной. Унего на секции девчонка на маятнике сломала в двух местах ногу, только каким способом, я не знаю. А я, когда приехала, сразу зашла к нему, он как раз был наверху. Он так меня встретил, даже поцеловал (ну, ты, я думаю, ты не ревнуешь). Мы с ним так здорово поболтали о том, о сем. Я ему рассказывала про альплагерь. Только сейчас я поняла, что он меня любил, нет, не в полном смысле этого слова, то, что я у него была любимой ученицей. А я его уважала больше всех. Если бы ты знал, как мы с Зухрой к нему относились. Я знаю, тебе он не нравился, а у меня к нему совсем другое отношение. А наша группа стала неузнаваема. Таньку и Гульку выгнали из общежития, еще двоих исключили из училища и еще многое другое. Но не только из-за этого я перевелась. На переводе настояли родители, когда узнали о положении в группе. Они испугались, что я тоже могу испортиться. А это могло бы произойти. Но не беспокойся, все нормально. Теперь я от этого ограждена, у меня отличная группа и общество, окружающее меня. Милый, какое же из меня начальство? И с чего ты взял, что я люблю командовать. Да мне и не приходится. Ребята у меня все взрослые, все понимают и без командного слова. Мне с ними легко. Очень пригодилась та литература, которую ты мне дал. Да, у «Рюкзака» родился сын. Граф переписывается с одной девочкой, подругой Шалиной, просил твой адрес. Знаешь, ему пришло письмо, где просят его участвовать в каких-то концертах. В общем, где-то собираются самодеятельные артисты, и его приглашают... Но я не пойму, почему его, а не Сашку? Он очень жалеет, что армия помешала. Дрюнина талант заметили, он теперь фельдшер и художник по совместительству, даже строевой подготовкой не занимается. Давнорис прислал на секцию письмо, пишет о службе. Он где-то на границе Китая — Монголии — СССР. Вот такие-то новости. Ну, что, милый, я закругляюсь. Да, у нас в группе 3 выходят замуж, из этих троих — Рязанова. У них с Вовкой Колпиковым 16 ноября свадьба. И еще у двоих и в один день, и к кому ехать, не знаем. Но мы с Зухрой поедем, наверняка, к нам в Благодарное, к Женьке.

Вот такие-то дела. Писать заканчиваю.

До свидания, целую, Галина.

Любимый, с чего ты взял, что я тебя буду забывать. И чтобы таких высказываний: «Не забывай меня!» больше не писал. Ведь как ты мог подумать, что и тебя могу забыть.

Письма Галины Андрею, брату Павлика

г. Благодарный
23 декабря 1985 г.

Братишка, милый, здравствуй!

Вот, сегодня, приехав со Ставрополя, сразу же села писать тебе письмо. Спешу сообщить, что у меня все по-старому, даже еще хуже. Знаешь, после того, как побываю там, в Ставрополе, я не могу потом жить дома. Здесь меня все бесит, раздражает. А они, все домашние, стараются отвлечь от мыслей, все почему-то боятся за меня, как будто мне что-то угрожает. А это раздражает меня в такой степени, что я не могу... Совсем ничего не могу делать. Вот надо готовиться к сессии, а я не могу. Каждый раз, садясь за книгу, я ни о чем не могу больше думать, кроме как о Павке. Только сейчас до меня стало доходить все происшедшее. Каждый день реву, что бы ни делала. Вот и сейчас пишу тебе, а слезы градом катятся, и на душе такой ком непомерной тяжести. Я себе совсем не представляю дальнейшей жизни. Ведь все последнее время я жила только мечтами, мечтами нашей встречи, когда он вернется и, вообще, дальнейшей жизни. А теперь все пошло наперекосяк. До сих пор я не могу отвыкнуть от привычки, ложась спать, думать о нем, мечтать. Вот так мечтаешь, мечтаешь, а потом такой толчок — его же нет! И все, потом рыдания, рыдания и рыдания. А он все улыбается с фотографии и все. Я перебрала по косточкам все дни наших встреч. Господи, какая я была дура, что не всегда была такой ласковой с ним. А он так ждал этого от меня. Но все равно, какие мы были счастливые, когда были вместе. Каждый день мы гуляли по городу, и уже не оставалось места, уголка, закоулочка, где бы мы не были. Особенно любили Комсомольскую горку. Каждый вечер, с первого до последнего, мы приходили туда, уже непроизвольно, где бы мы ни были, все дороги сходились именно туда. Еще часто бывали на кладбище, около церкви на Крайзо. Постоянно. Вначале читали надписи на гробницах, потом просто, гуляя между гробницами, целовались. Вначале мне было страшно, ночью, на кладбище, а ему нравилось. А раз совсем было темно, тем более там деревья огромные, мы опять же гуляли. Потом он решил сесть, но поблизости не было нигде скамейки, и он сел на какой-то белый предмет. Потом, правда, выяснилось, что это большой каменный крест. Я, правда, вначале возмутилась, но он посадил меня на руки и сказал: «Знаешь, а для меня было бы огромным счастьем, если бы на моей могиле также целовались влюбленные, ты согласна?» И действительно, это счастье. После этого я не могла говорить в чем-то «нет». Да, сколько всего было у нас. Каждая встреча была так насыщена и интересна посвоему. Знаешь, все нам завидовали и считали самой счастливой парой. Мы этого не понимали, ведь вокруг гуляют сотни, тысячи влюбленных пар. А нас из всех считали самыми счастливыми. Загадка, не правда ли? Жаль, что ты не смог увидеть нас вместе. Вот тогда бы сказал, действительно же мы выглядели такими счастливыми. А у нас с ним было свое созвездие, его было видно и из моего окна и его окна. Оно выглядело в виде треугольника. Даже когда мы были далеки друг от друга, нас соединяло это созвездие. Он, когда был дежурным, через созвездие всю ночь разговаривал со мной, а я с ним. А в горах звезды необычайной красоты, и

они так близки и так далеки одновременно. Да, горы нас соединяли. Они же нас, выходит, и разлучили. Кто же знал, что получится так. Никогда не думала, что то, что так соединяет, способно навеки разъединить. Видно, не такие мы были счастливые, как говорили нам все, а наоборот получилось. Но, все равно, я счастлива. У меня в жизни был человек, который любил меня и был любим. Как-то Паалик сказал мне: «Первая любовь почти всегда несчастливо кончается». А я ему: «Знаешь, а это у меня первая любовь, значит, как понимать?!» А он мне: «А никак, у меня ведь тоже первая, самая, что ни на есть первая любовь. Я думал, что раньше любил, а оказывается, ошибался, да мы не гарантированы от ошибок». Ну я ему и задала встречный вопрос: «Может, сейчас тоже ошибаешься, ведь не гарантированы?» Но это его взбесило, да, именно взбесило. Он сразу изменился в лице и сказал: «Галчонок, неужели ты действительно так думаешь? Неужели это правда? Но как ты могла?» После я так казнила себя за этот так глупо заданный вопрос. И, вообще, как я могла? Ведь в том, что он меня любит, я просто не имела права сомневаться. Господи, какая же дура я, хотя это естественно, мы всегда чего-то недооцениваем или наоборот. Но в мире все закономерно. А мы были слишком счастливы, а это нарушает равновесие Вселенной. Да, мы могли сказать: «Мы счастливы, мы любимы». А Пашка был особенный человек. Он, если любил, то любил горячо и пламенно. Он мне часто говорил: «Андрей (это ты) так любит Светку. Но я люблю и буду любить тебя в 100, 1000, миллион раз сильнее». Вот с этим он и погиб.

Братишка, ты не представляешь даже, как нам было хорошо вдвоем. Как мне трудно писать это слово «было». А ведь все же — было, было и ничего не осталось. Нет, не совсем ничего, осталась любовь, память, но нет самого дорогого, бесценного человечка. Я тоже буду писать дневник воспоминаний, а потом все это написанное прочтем. Андрюшка, как бы я хотела быть сейчас рядом с тобой. Могла бы видеть черты Пашки. Живые и такие милые, ведь вы с ним похожи. В те вечера на кухне я не могла оторвать от тебя глаз, очень многое в тебе напоминало его. Даже иногда ты говорил теми же изречениями, теми словами, что когда-то говорил он. Иногда у тебя были жесты, точь-в-точь как у него. И я чувствовала, что-то родное рядом. Ты знаешь, я тоже слушаю Высоцкого, и как я благодарна Пашке, что он научил меня любить, слушать и понимать его. А раньше я его не могла слушать. И как-то сказала это Пашке. Он, конечно, сразу начал убеждать, что это не так. Вот так, сидя и слушая Высоцкого, он стал близок и понятен мне. Да, многому научил меня он. Научил любить. А это главное.

Ну ладно, братишка, пиши. Жду твоих писем.

Вот получила письмо от Оксаночки из Краснодара. Вот, может, на каникулах поеду туда, Нина Павловна говорит, что это было бы здорово. Но еще не знаю.

Ну ладно, до свидания. Целую вас со Светланкой.

Галина.

15.01.86 г.

Здравствуйте, мои дорогие Андрей и Светланка!

Вот приехала после сессии домой и получила, Андрей, твое письмо. Спасибо, что не забываешь. Извини, брат, но приехать я не смогу, родители против, ссылаются на зиму, говорят, что ты уедешь, а нам беспокоиться. Хотя их тоже можно понять. Вот начала писать дневник, заодно буду делать и альбом. На этой, наверное, неделе, где-то числа 17-го, поеду в Ставрополь. Ну, а так сессию сдала нормально, на 5. После каждого экзамена звонила Нина Павловна, узнавала, как я сдаю, разговаривали. Она говорит, что еще сделали фотографии, присланные другом из Мургаба.

Знаешь, братишка, сейчас особенно, как никогда, хочется, чтобы рядом был Пашка, быть с ним вместе, пусть хоть рядом... (знаешь, мне трудно говорить и писать эти слова), но быть с ним, осязать, что он здесь, где-то рядом. Вот опять пишу тебе, а в горле какой-то ком и на душе так тяжело и скверно. Хотя у тебя состояние не лучше.

31 декабря мы тоже дома поминали Павку. Мои родители, хоть и не были с ним знакомы, но искренне полюбили его. Вот таким он был человеком, что, не зная его, — его любили. Новый год, каким он был для меня, ты сам можешь представить. Я вспоминала встречу 1985 г. Когда мы были вместе и были самыми счастливыми из всех встречающих тот год. Но кто же мог подумать, как нам его придется провожать.

В ту новогоднюю ночь, по старому обычаю, первый танец мы танцевали с ним, потому что говорят, с кем танцуешь первый танец, с тем и будешь весь год. Но в этот год совсем произошло все наоборот. Вначале проводила в армию, а затем рассталась насовсем. Теперь выходит, нельзя верить и в предсказания старины.

В ту же ночь мы обручились, и как дети, а мы ими и были, обещали быть вместе, даже обменялись кольцами. И вся эта церемония происходила не в церкви, не в ЗАГСе, а в телефонной будке. Мы как раз вышли позвонить родителям и поздравить их с Новым годом. Так что мы, хоть и незаконно, но были обручены. Да, вообще-то, у нас все было с ним как-то необычно. Ну что ж, писать заканчиваю. Письма, правда, как такового не получилось. У меня, вообще, все письма — не письма, а листки воспоминания, потому что мысли только о Пашке.

Что ж, крепко обнимаю!

Галина.

21.01.86 г.

Здравствуйте, мои дорогие Андрей и Светланка!

Вот и кончились мои каникулы, завтра опять в Буденновск. Как-то хочется и нет. Сейчас, правда, такое состояние, что ничего не хочется, ни до чего нет дела. Погода у нас, конечно, не сравнить с вашей. Совсем как весной. А вчера даже на клумбе у бабушки расцвело два подснежника, и это-то в январе месяце. Вот вчера, как никогда, небо было звездным, звездным, и я за несколько месяцев увидела так ясно наше с Пашкой созвездие. Как оно нас соединяло, когда мы были далеки друг от друга. В нескольких своих письмах он писал об этом созвездии. Ведь в горах ночное небо особенное. Небо просто усеяно этоими созвездиями и звезды почти рядом, вот они, протяни руки — и они твои. Вот и он в письмах писал: «Вот опять стою на плацу, кругом памирская летняя ночь и наше с тобой созвездие. И видя его рядом, я нахожусь рядом с тобой, вот мы идем рядом, и я уже сейчас ощущаю прикосновение твоего платья, теплоту твоих рук. Пусть нас разлучают расстояния, сотни, тысячи километров. Ты сейчас в горах Кавказа, а я — Памира, но нить любви тянется через наше созвездие любви и верности. Может, сейчас ты тоже глядишь на небо и думаешь обо мне. Как бы хотелось, чтобы это было так...» Да это мог писать только человек, поэтически одаренный. Читать его письма — это значит окунуться в роман, истинный и жизненный, полный чувств и переживаний. Так мог писать только он.

Андрей, это же здорово, что тебя потянуло в горы. Что касается меня, то меня оттуда уже не вытянуть. Теперь я не брошу горы, хотя бы только из-за Павлика. И теперь моя мечта — обязательно покорить некоторые вершины Памира, пусть небольшие, но, может быть, те, которые, может, он видел.

И еще у меня есть мечта — отыскать еще неназванный пик и назвать его пиком П. Буравцева. Я думаю, ребята меня поддержат. Потому что для гор он так просто исчезнуть не может. Но об этом придется говорить лишь после прихода их из армии. Я готова сейчас, если бы это было бы возможно, называть все его именем, потому что во всем я вижу только его...

Ну, а ты, братишка, крепись, мы еще сходим в горы, по тропам, где ступал наш Эдельвейс-103, этот горный цветок, погибший еще в бутоне. Его сорвали, не дав распуститься, но корни его еще долго остаются в земле. Такова закономерность природы, и изменить ее невозможно. Он так мечтал подарить мне этот цветок. Он говорил: «Чего бы мне это ни стоило, но он будет твоим, иначе я не буду Эдельвейсом, номер которому 103». Он рассказывал легенду об Эдельвейсе в ту новогоднюю ночь-85. Теперь я должна найти этот цветок для него, только для него. Ну что ж, Андрей, возьми себя в руки, жизнь не кончена, ее очень любил Павел, но воспользоваться ею сполна не успел. Теперь ты обязан крепиться и жить полной жизнью за двоих. Это теперь твой самый святой долг.

Ну, да ладно, заканчиваю.

До свидания.

Целую.
Галина.

Публикация Н. П. БУРАВЦЕВОЙ.

СОЛДАТСКИЙ ПОКЛОН

Что же есть человеческая жизнь?! Даже такая короткая, как случилась у Паши Буравцева... Жизнь есть любовь, когда она возвышенна и благородна, когда она страстна и неутолима; когда она захлестывает, но не штормит, а дает человеку ровность в поступках, действиях, раскованность в мыслях, мечтах, основательность в отношениях с друзьями, родными, с любимой. Все это у Паши Буравцева было; все это осталось нам в его письмах. И сколь ни велика трагедия, сколь ни велико горе его родных, замечательно, что эти письма есть. Может, в другое время и в других условиях они бы никогда не написались, а стало быть, мы бы не открыли для себя великую душу, которую распахнул нам Паша.

Да, так в моей жизни уже было. Четыре года Великой Отечественной унесли много человеческих талантов, в том числе и талантов любить, может быть, самых лучших из всех, что узнал я за свою, теперь уже немалую, жизнь. И, читая письма Паши, я невольно вспоминал их, чувствуя, сколь родственны их души с Пашиной душой. С такими ребятами даже на самой тяжелой войне надежно.

Может, это и есть принадлежность к одному народу, к одной судьбе, к одной памяти и одной истории... Хотелось бы думать именно так.

Солдатский тебе поклон, Паша! Мы не забудем тебя!

ЮРИЙ БОНДАРЕВ

22 июня 1989 года



Фото ЛЕОНИДА ЯКУТИНА

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.
Николай Рубцов

С поэтом Николаем Рубцовым «тихая родина» у нас одна — Беломорье. Столь же мною любима и с тем же пронзительным чувством, до гибельной тоски-неволи: «С каждой избою и тучею, С громом, готовым упасть, Чувствую самую жгучую, самую смертную связь». Ностальгия, конечно, не лучший душевный лекарь в современном мире, но для духовного прозрения, духовного постижения родных мест и местечек может быть вполне созидательной, поскольку нерв ее обнажен и весьма чувствителен.

Мои спутники по этому путешествию, с работами их вы познакомитесь на цветной вкладке, давно живут в Москве. Поездка на Беломорье для них утеха душевная, но и они что-то почувствовали ностальгическое, и потом не раз вспоминали уже в Москве удивительные дни наших северных плаваний и перелетов, пеших блужданий по летним лесам, по узким неторным тропинкам вдоль маловодных речушек, неторопливые чаепития у гостеприимных лешуконцев и мезенцев, долгие разговоры о нелегком житье-бытье... Все это и создавало атмосферу неуловимо пронзительного восприятия жизни, когда, казалось, даже веселое дуновение ветерка нашептывает дивный стих и милую сердцу мелодию нескончаемой жизни духа.

А в наше нелегкое время, когда душевная городская маета от многолюдья, экзальтированной выспренности, от непомерности обнаженных страстей и дьявольских затей в поисках утоления все тех же набрякших желаний уже становятся невыносимыми, хочется хотя бы на время унести ноги от толчеи в места, где ты окажешься с землей и небом наедине, окажешься на дорогах неутомимых духовников и дивных творений рук человеческих.

Вот почему я вполне обнадеживающе могу вас заверить, что путешествие ваше на Беломорье вполне может быть духовным. Свидетельств тому много, но приглашение должно быть кратким и отличаться сдержанностью чувств, потому сошлюсь на личный опыт.

Я вообще не люблю чисто туристских поездок. Молде, еду, гляжу, а вы мне рассказывайте... Нет-нет, так духовного голода не утолишь, душу не успокоишь и открытий сердца не обретешь.

Потому попробуйте иначе. Несмотря на суетную городскую занятость, телевизионное вечернее безвременье, попробуйте запастись книжками о беломорской старине, о соловецких чудодеяниях, о пинежских и мезенских деревушках. Книжки эти нетрудно сыскать в библиотеке, особенно областной или столичной и республиканской. Труд невелик, но какое вы получите удовольствие! Сколько вы узнаете интересного о том, что вам предстоит увидеть... И тогда в поездке вам ивятся, как говорил Пушкин, подвижные картины, наполненные историческим смыслом и содержанием, великолепные в красоте своей и первозданности.

А если нам случится погостить, скажем, в Лешуконии на Мезени, и попадете вы в стародавнее село Койнас, основанное новгородскими ушкуйниками в веке XII—XIII, то непременно отправляйтесь пешим ходом за околицу, поднимитесь на холм, в Высокий заулок, поглядите на село, и дух захватит от простора, от яви, от темно-синих далей, которые пытались охватить жадным, нетерпеливым взглядом и протопоп Аввакум, ехавший по здешнему тракту в пустозерскую ссылку, и Сергей Максимов, написавший в прошлом веке замечательную книгу «Год на Севере», и наш архангельский сказочник Степан Писахов, и писатель Юрий Бондарев, и художник Виктор Попков... Каждый из них был здесь поражен не захолустьем, а дивной речью, высокими нравами, чудными песнями, сказами и неповторимой величественностью мест этих. Захолустье существует для невидящих, духовно зрячий в дальнем пути многое познает сам.

Но двинемся дальше по нашему маршруту. О Соловках и говорить особо не надо. О неустроенности их теперь много пишут, но это никак не принижает того духовного и эстетического наслаждения, которое испытает всякий, кто ступит на соловецкую землю, овеянную шестисотлетними легендами.

А если выпадет вам попасть (вертолетом из Нарьян-Мара) на Пустозерское городище, где провел с сотоварищами пятнадцать ссыльных и острожных лет протопоп Аввакум, где создал он бессмертную литературу и был вместе со своими соузниками-страдальцами сожжен заживо, то и там, на этом скорбном месте, ваша душа будет подвергнута духовному испытанию...

И так будет везде, по всему Беломорью, куда бы ни ступили вы, поскольку Русский Север обживался и долго и многотрудно, немало сил положили наши соотечественники на протяжении почти тысячелетия, чтобы места неуступчивые и благословенные обратить в отдохновение души. Так оно и вышло, на раздвинутых просторах человеку вольно, он становится вдруг зряч, неглух ко всем дальним и ближним звукам...

А секрет этого преображения прост: он узнает в нашей тихой родине духовные вековые приметы Отечества, которые не могут не волновать...

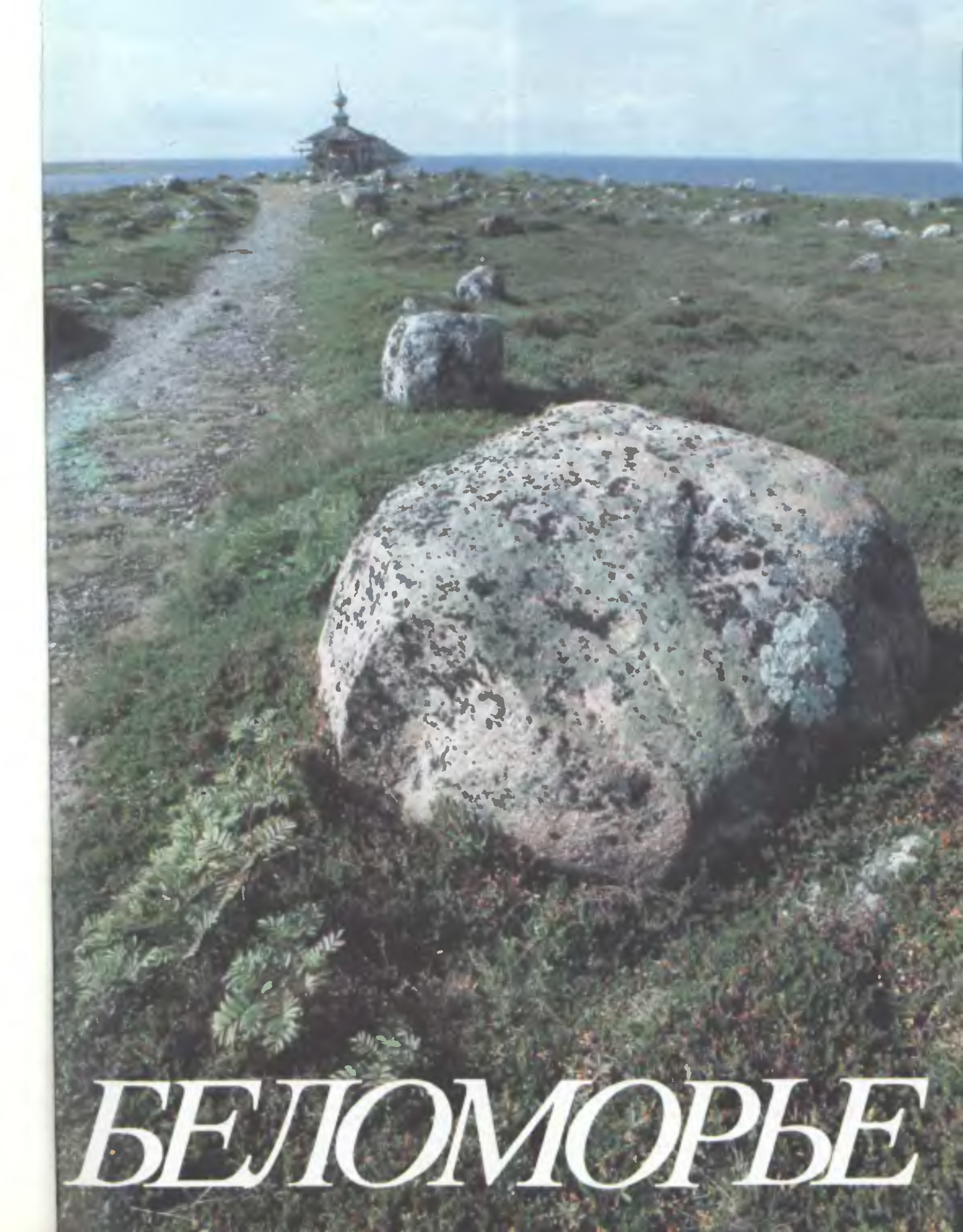
Словом, все, что вы увидите на нашей цветной вкладке, существует и в яви и манит нас, завораживает таинственной жизнью... Не откладывайте надолго, собирайтесь к дальним берегам Беломорья, в наше духовное чистилище...

Арсений ЛАРИОНОВ

ОТ РЕДАКЦИИ: Если у вас возникает потребность отправиться в такое путешествие в Беломорье, то вам надо обратиться в свое городское бюро путешествий и экскурсий. Или прямо в Архангельский областной совет по туризму и экскурсиям (163061, Архангельск, пр. Ч.-Лучинского, д. 54; телефоны: 3-66-00, 3-59-70; 3-75-50) или в Бюро путешествий и экскурсий областного совета по туризму (163061, Архангельск, ул. Свободы, д. 6; телефоны: 3-73-14, 3-41-73, 3-96-18). Они, наверняка, помогут вам с туристской путевкой.

Желаем приятного и полезного путешествия.

На цветной вкладке фотосъемка Павла КРИВЦОВА, рисунки-портреты художника Владимира ГРЕХОВА.



Большой Заяцкий остров. Андреевская церковь, сооруженная в 1702 г. по указу Петра I и при его участии.



Посиделки

В СЕЛЕ КОЙНАС

Федора Степановна Ларионова





Афанасий Григорьевич Кузьмин



За околицей



Сергей Николаевич Козлов

Обетный крест





Олег Иванович Ларионов





На Пустозерском городище



Хоровод на горке в селе Койнас. Фото Владимира Вешнякова.



Каменные лабиринты на Большом Заяцком острове, построенные во II—I тысячелетии до н. э.



Николай Михайлович Кирин





Соловецкий Кремль (1436—1920) со стороны Святого озера (изнутри острова)

Соловецкий причал

И С Т О К И

ЛЕГЕНДЫ. ИССЛЕДОВАНИЯ. НАХОДКИ.



Икона «Спас Нерукотворный» — одна из прославленнейших святынь Новгорода. XII век. (Хранится в Третьяковской галерее).

Есть книги, которым суждено было стать фактом мировой культуры, определяющими в духовных поисках своего и не только своего времени. К таким книгам относится «Жизнь Иисуса» Жозефа Эрнеста Ренана, историко-культурное значение которой бесспорно. Но каково значение этой книги сейчас, для нашего времени! С этим вопросом наш корреспондент Ольга Меркулова обратилась к представителям разных областей науки и культуры.

КСЕНИЯ ВЛАДИМИРОВА,
кандидат физико-математических наук

Сегодня невозможно отвергать существование в далеком прошлом такой фигуры, как Иисус Христос. И Эрнест Ренан сделал первую научно обоснованную попытку показать Христа не божеством, а именно человеком, снять с христианской доктрины покров неприкосновенности, обратиться к человеческим истокам христианской нравственности. По Ренану, сила христианских заповедей не в их опоре на божественный авторитет, а в том, что они коренятся в человеческой природе, являются основой для нормального существования общества.

Есть ли Бог, нет ли его, а без морали, нравственности человечество жить не может. Когда падает уровень нравственности, когда размыта мораль, — появляются газовые камеры, сталинские лагеря, расцветает наркомания. Именно поэтому так важна и интересна сегодня книга Ренана, рассказывающая о личности высочайшей морали и нравственности.

ЛЕОНИД ФИЛАТОВ,
заслуженный артист РСФСР

То, что делается сейчас в нашей прессе, мне не совсем нравится. Понятно, что открыты шлюзы, согласен, что надо говорить о многом, раньше обсуждению не подлежавшем... Но что ж так много сиюминутного, ЗЛОБОдневного?! Больше бы тем вечных, всеобъемлющих! Именно потому я — обеими руками за публикацию «Жизни Иисуса» Эрнеста Ренана.

«Крайний материализм может завести человечество лишь в холодный тупик», — сказал

МИФЫ
НАРОДОВ МИРА

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ

ВЕЧНЫЙ ОБРАЗ

В истории мировой и европейской культуры образ Иисуса Христа — один из «вечных спутников»...

И знакомство с мировой и отечественной историей, особенно с мировым и русским искусством и литературой, немыслимо без знания жизни Христа. Хотя можно только диву даваться, что много десятилетий наш массовый читатель был лишен такой возможности.

Книга Э. Ренана «Жизнь Иисуса», изданная более ста лет назад, несомненно, поможет восполнить этот пробел. Так как она написана увлекательно, это скорее исторический роман, нежели канонизированное изложение жизни Христа. Хотя автор не отступает от первоисточника — Библии — и изложение строго согласует с книгами Нового завета. В нашей стране она издавалась последний раз в 1906 году.

Но все же, почему миф о Христе нас столь занимает?..

Иисус Христос (греч. Ἰησοῦς Χριστός), в христианской религиозно-мифологической системе богочеловек, вмещающий в единстве своей личности всю полноту божественной природы — как бог-сын (второе лицо *троицы*), «не имеющий начала дней», и всю конкретность конечной человеческой природы — как иудей, выступивший с проповедью в Галилее (Северная Палестина) и распятый около 30 г. н. э. на кресте. «Иисус» — греч. передача еврейского личного имени Йешу(а) [ješu(a'), исходная форма — Йегошуа, Jehošua', «бог помощь, спасение», ср. *Иисус Навин*]; «Христос» — перевод на греческий язык слова *мессия* (арам. mešiha', евр. māšiāh, «помазанник»).

Эпитетом И. Х., как бы другим его именем, стало слово «Спаситель» (старослав. «Спас», греч. Σωτήρ, часто прилагавшееся к языческим богам, особенно к Зевсу, а также к обожествленным царям). Оно воспринималось как перевод по смыслу имени «Иисус», его эквивалент (ср. Матф. 1, 21: «и наречешь имя ему Иисус, ибо он спасет людей от грехов их»). Близкий по значению эпитет И. Х. — «Искупитель» — перевод евр. go'el («кровный родич», «заступник», «выкупающий из плена»), употребленного уже в Ветхом завете в применении к Яхве (Ис. 41, 14 и др.; Иов 19, 25). Эти эпитеты — отражение догматического положения о том, что И. Х., добровольно приняв страдания и смерть, как бы выкупил собою людей из плена и рабства у сил зла, которым они предали себя в акте *«грехопадения»* Адама и Евы.

Особое место среди обозначений И. Х. занимает словосочетание «сын человеческий» (греч. Υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου как передача арам. bar'enas): это его регулярное самоназвание в евангельских текстах, но из культа и письменности христианских общин оно рано и навсегда исчезает (возможно, табуированное как особенность речи самого И. Х.). Его смысл остается под вопросом, но весьма вероятна связь с ветхозаветной Книгой Даниила (Дан. 7, 13—14), где описывается пророческое видение, в котором «как бы сын человеческий» подошел к престолу «Ветхого днями» (т. е. Яхве) и получил от него царскую власть над всеми народами и на все времена; в таком случае это мессианский титул, эквивалент слова «Христос». Далее, И. Х. — «царь», которому дана «всякая власть на небе и на земле» (Матф. 28, 18), источник духовного и светского авторитета (продолжение ветхозаветной идеи «царя Яхве»). Словосочетание «сын божий», имеюще применительно к И. Х. догматический смысл, искони употреблялось в приложении к царю, как эквивалент его титула. В этом же идейном контексте стоит слово «господь» (греч. Κύριος по традиции прилагалось к Яхве, заменяя в переводе Ветхого завета его табуированное имя, как соответствие евр. *Адонаи;* в бытовом обиходе оно означало не господина, распоряжающегося рабом, а опекуна, имеющего авторитет по отношению к несовершеннолетнему, и т. п.; употреблялось оно и как титул цезарей).

Мифологизированную биографию «земной жизни» И. Х. — от начального момента истории «вочеловечения бога» (см. *Благовещение*) до смерти И. Х. на кресте, его *воскресения* и, наконец, возвращения по завершении земной жизни в божественную сферу бытия, но уже в качестве «богочеловека» (см. *Вознесение*), дают гл. обр. евангелия — канонические (от Матфея, Марка, Луки, Иоанна) и многочисленные апокрифические (Петра, Фомы, Никодима, Первоевангелие Иакова, евангелия «детства Христа» и др.). Разные евангелия в разной степени акцентируют внимание на тех или иных моментах «земной жизни» И. Х. (часто те или иные эпизоды вообще отсутствуют в каком-либо евангелии), содержат большую или меньшую степень фантастически-сказочного элемента (особенно велик этот элемент, как правило, в апокрифической литературе), содержат многочисленные противоречия. Все это отражает разновременность их создания, борьбу направлений раннего христианства, постепенное складывание и оформление основных догм...

В искусстве и литературе образ И. Х. представлен исключительно широко. Умо-

---

Из статьи члена-корреспондента АН СССР С. С. Аверинцева, опубликованной в энциклопедии «Мифы народов мира». Изд-во «Советская энциклопедия», т. 1, стр. 490, 501—503.

Ингмар Бергмак. И действительно, сколько бедствий принес нам воинствующий атеизм, насильственное «обездушивание» человека. Вопрос Бога — это, по существу, вопрос Совести. А совесть, я убежден, никакая идея заменить не может. Человек, одержимый даже самой хорошей идеей, может совершать гнусности, если живет не по совести, «не по-божески», как говорят, имея в виду десять нравственных заповедей Христа.
Наконец-то и наше искусство начинает заниматься этой фигурой: я приглашен на одну из ролей в фильм по пьесе А. Володина «Мать Иисуса».

ЮРИЙ ОСИПЬЯН,
академик

Конечно же, рассказ о жизни Иисуса Христа интересен и важен для нас. Интересен потому, что не может не волновать личность, создавшая учение, которое живет вот уже два тысячелетия. А ввжно это потому, что, отделив церковь от государства, обозначив религию только как «опиум для народа», мы выплеснули с водой ребенка, понизив цену многим, чисто гуманистическим понятиям, необходимым любому обществу, таким, как добро, сострадание, милосердие. А история религии вобрала в себя эти понятия.
«Жизнь Иисуса» я читал и рад, что такую возможность журнал «Слово» предоставляет своим подписчикам.

СТАНИСЛАВ ШАТАЛИН,
академик

Сейчас в нашей стране происходит перестройка всей системы общественных отношений: экономических, социальных, политических. Достижение целей перестройки возможно только на базе духовного возрождения народа, укрепления гуманистической системы морально-этических ценностей, роста культуры нации.
Книга Жозефа Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса» — несомненный вклад в мировую культуру, в систему общечеловеческих ценностей, нравственности и морали. Она служит призывом строить общество, человеческие отношения на основе добра и справедливости.

ЛЕВ КРОПИВНИЦКИЙ,
художник

«Жизнь Иисуса» Жозефа Эрнеста Ренана почти неизвестна современному читателю в нашей стране. А между тем, книга эта даст много интересного и поучительного как верующим, так и всем, кто к ней обратится. Исследование жизни Христа содержит точные, на уровне времени Ренана, фактические сведения, включает огромное количество самых разнообразных использованных источников. При этом религиозно-историческая позиция автора, являясь, по существу, как бы «нейтральной», то есть не совпадая ни с богословскими принципами толкования личности Иисуса, ни с атеистическими, в конечном счете примиряет два противоположных мировоззрения. Думаю, что достаточно достоверная информация о протекании земной жизни Христа вряд ли может снизить для верующих смысл и суть Его бытия как Сына Божия. Тем более, что земная жизнь Иисуса зафиксирована, правда, фрагментарно, и в Евангелии.
С радостью узнал я, что журнал «Слово» предпринимает на своих страницах публикацию главнейшего труда знаменитого французского ученого и философа Ренана, считавшего, как известно, что цель и смысл существования мира — это создание предельно совершенного человека.

КОНСТАНТИН КОВАЛЕВ,
ученый секретарь Пушкинской комиссии ИМЛИ им. А. М. Горького АН СССР, член СП СССР

Недавно издательский отдел Московского Патриархата выпустил в свет трехтомную толковую Библию, так называемую «Лопухинскую». Уже сейчас на «черном рынке» издание это стоит более 500 рублей. Это говорит, конечно же, о том, что при всеобщем нынешнем увлечении духовными вопросами подобная литература очень нужна. Нужна, поскольку способствует проникновению читателя в сферу общеевропейских культурных идей, основанных на христианских традициях: помогает лучше понять Рублева и Боттичелли, Баха и Бортнянского...
К такого рода изданиям (справочным, вспомогательным) относится и книга Жозефа Эрнеста Ренана «Жизнь Иисуса», являющаяся началом его 8-томного труда «История происхождения христианства» (1863—1883 гг.). Появление Ренана вновь, через восемьдесят три года, в России, несомненно, вызовет интерес.

настроение раннего христианства в целом стоит под знаком новозаветных слов: «если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем» (2 Кор. 5, 16). Христианские мыслители 2—3-го вв., в отчасти и 4-го в. рекомендуют сосредоточиться на мистическом аспекте миссии И. Х. и не одобряют интереса к преданиям о его человеческом облике «по плоти». К тому же они сомневаются в принципиальной изобразимости И. Х.: во-первых, божественности как таковой передать средствами искусства нельзя, во-вторых, в облике И. Х., согласно традиции, было нечто неуловимое, «звездное» (Иероним), раскрывающееся или закрывающееся в зависимости от достоинства или недостоинства видящего (Ориген) и от разнообразия его «неисчислимых помышлений» (Августин); это относится к земной жизни и тем более к явлениям по воскресении. Апокрифы («Деяния апостола Иоанна», 3-й в.) фантастически утрируют мотив непрерывных преображений облика И. Х.

С другой стороны, аскетический пафос побуждал предполагать, что в земной жизни И. Х. был некрасив, чтобы его красота не отвлекала поучаемых от его слова (Климент Александрийский). Притом ранние христиане смотрели не назад, а вперед, ожидая в скором времени второго пришествия И. Х. «со славою», и в восторженных видениях мучеников перед казнью И. Х. являлся как преображенный победитель, «юный ликом» («Страсти святых Перпетуи и Фелицаты», начало 3-го в.). В соответствии с этим первые дошедшие до нас изображения И. Х. в живописи (стенопись катакомб в Риме и в церкви с крещальней в Дура-Европос, Месопотамия, то и другое 3-й в.) к пластике чужды установке на «портретность»: они изображают не облик И. Х., а символы его миссии — доброго пастыря со спасенной овцой на плечах (статуя 3-го в. в Латеранском музее в Риме, мозаика мавзолея Галлы Плацидии в Равенне, 5-й в., и др., ср. Матф. 18, 12—14 и др.), Орфея, умиротворяющего и очеловечивающего животных своей музыкой, и т. п.

Все эти образы отмечены юностью, простотой, то плебейской, то буколической. Напротив, «портретные» изображения длинноволосого и бородатого И. Х. вплоть до 4-го в. засвидетельствованы лишь для кругов гностических и языческих и до нас не дошли; по-видимому, этот тип был связан с античной традицией портретирования философов. После перехода церкви на легальный статус в начале 4-го в. и к господствующему положению в конце века образ И. Х. в бурно развивающемся церковном искусстве становится более торжественным, репрезентативным, приближаясь к официозным изображениям императоров (тема «аккламации», т. е. торжественного приветствия И. Х. как царя на престоле, на мозаике Санта Пуденциана в Риме, 4-й в.), но и более соотнесенным с предполагаемой исторической действительностью (ср. пробуждение в то же время интереса к «святым местам» Палестины).

Облик И. Х. как бородатого мужа, поддерживаемый авторитетом предполагаемых «нерукотворных» изображений, вытесняет безбородого юношу катакомб (безбородый тип еще встречается в алтарной апсиде Сан Витале в Равенне, середина 6-го в., а затем иногда возвращается в романском искусстве). Зрелая византийская иконография И. Х. в согласии с современной ей литературой подчеркивает наряду с чертами отрешенной царственности изощренную тонкость ума (мозаики церкви монастыря Хора в Константинополе, 20-е гг. 14-го в.), сострадательность. Древнерусская живопись, продолжая византийскую традицию после пронзительных, суровых, огненных изображений Спаса Нерукотворного в 12—14-м вв., приходит к мягкости, сосредоточенной и тихой уравновешенности образа Спаса из т. н. Звенигородского чина Андрея Рублева.

Лишь осторожно в поздневизантийском и древнерусском искусстве дается тема — И. Х. как страдалец (хотя для «духовных стихов» русского фольклора умиление перед муками И. Х., часто воспринятыми как бы через душевную муку Девы Марии, очень характерно). Западное искусство нащупывает эту тему с 10-го в. («Распятие епископа Геро», впервые внятно дающее момент унижения), затем получает импульс от размышлений Бернара Клервоского в 12-м в. и особенно Франциска Ассизского и его последователей в 13-м в. под земной жизнью И. Х. (понимаемой как предмет сочувствия и вчувствования); для позднего западного средневековья страдальчество И. Х. стоит в центре внимания. Создается очень продуктивная традиция натуралистически-экспрессивных изображений И. Х. как иссеченного бичами «мужа скорбей» в терновом венце, взывающего к состраданию молящегося, как израненного мертвеца на коленях плачущей матери (в итальянской традиции Пьета, «сострадание», в немецкой — Веспербильд, «образ для вечерни»).

Рыцарская культура западноевропейского средневековья, давшая свою версию христианских символов в легендах о *граале*, поняла И. Х. как безупречного короля-рыцаря с учтивым и открытым выражением лица — замысел, реализованный, например, в статуях И. Х. на порталах Амьенского и Шартрского соборов (13-й в.). В эпоху Реформации и крестьянских войн в Германии М. Нитхардт (Грюневальд) доводит до предельно резкой выразительности мотив распятия, вбирающий в себя весь неприкрашенный ужас времени — вывороченные суставы, сведенное судорогой тело, состоящее из одних нарывов и ссадин. В оппозиции к этому «варварству» итальянское кватроченто возрождает на новой основе знакомый Византии и рыцарству идеал спокойного достоинства и равновесия духа (основа типа дана Мазаччо, христианско-мистический вариант — Беато Анджелико, языческий, с акцентами в духе стоицизма — у А. Мантеньи).

В искусстве позднего Ренессанса образ И. Х. впервые перестает быть центральным и определяющим даже для творчества на христианские сюжеты (у Микеланджело в росписи Сикстинской капеллы Ватикана тон задает патетика и мощь творящего мир Саваофа, у Рафаэля — женственность Марии — мадонны; в первом случае И. Х. в полном разрыве с тысячелетней традицией превращается — на фреске «Страшный суд» — в буйно гневающегося атлета, во втором ему приданы черты немужественной красивости, в дальнейшем утрируемые у Корреджо, у болонцев, особенно у Г. Рени, чей «Христос в терновом венце» в тысячах копий украсил церкви по всему католическому, да и православному миру, в церковном искусстве барокко и рококо). Венецианские живописцы 16-го в., особенно Тициан, сообщая традиционному типу И. Х. утяжеленность, «дебелость», все же сохраняют за ним высокий трагический смысл. В дальнейшем процесс «опустошения» образа прерывается лишь отдельными исключениями, важнейшие среди которых — Эль Греко и Рембрандт. Первый, отвечая потребностям контрреформационной Испании, придал средствами невиданных пропорций и ритмов пронзительную остроту традиционному типу; второй, используя возможности протестантской Голландии, отбросил всякое традиционное благообразие, наделив И. Х. чертами некрасивого, грубоватого, но значительного в своей искренности плебейского проповедника.

Поэзия барокко иногда достигала большей глубины в подходе к традиционной теме, чем живопись. В немецкой лирике 17-го в. надо отметить, например, католические «пасторали» Ф. Шпее, в которых И. Х. воспевается как новый Дафнис, и более строгие протестантские гимны П. Герхардта. Героем гекзаметрического эпоса в духе Вергилия не раз делали И. Х. еще со времен «Христиады» М. Дж. Виды (16-й в.), холодной латинской стилизации. В 17-м в. «Возвращенный рай» Дж. Мильтона и «Мессиада» Ф. Г. Клопштока, несмотря на подлинную монументальность замысла и блестящие достижения в деталях, не могут быть признаны полной удачей: чтобы придать образу И. Х. специфическую для эпопеи величавость, пришлось лишить его внутренней цельности.

Разработка образа И. Х. в романтической живописи немецких «назарейцев» (с начала 19-го в.), стремясь устранить театральность барокко и холодность классицизма, обычно подменяет аскетическую духовность более буржуазной «нравственной серьезностью», а утраченную веру в реальность чуда — умилением перед заведомо нереальной «поэтичностью» стилизованной легенды; между тем романтический пессимизм заявляет о себе в «Речи мертвого Христа с высот мироздания о том, что бога нет», включенной в роман Ж. П. Рихтера «Зибенкэз». Этот новый мотив — жизнь И. Х. уже не как приход бога к людям, но как (трагически напрасный) приход человека к несуществующему, или безучастному, или «мертвому» богу, как предельное доказательство бессмысленности бытия — вновь и вновь повторяется в лирике 19-го в. (у А. де Виньи, Ж. де Нерваля, Ш. Бодлера и др.), находя поздний отголосок в 20-м в. у Р. М. Рильке («Гефсиманский сад»). С другой стороны, историзм 19-го в. позволяет впервые увидеть евангельские события не в мистической перспективе вечной «современности» их каждому поколению верующих, но в перспективе историко-культурного процесса, как один из ее моментов, лишенный абсолютности, но взамен наделенный колоритностью времени и места.

Всеевропейским успехом пользуется и поныне «Жизнь Иисуса» Э. Ренана, превращающая свой предмет в тему исторической беллетристики. Именно такой И. Х., который вполне перестал быть богом, но остро воспринимается в своей страдающей человечности, становится для либеральной и демократической интеллигенции 19-го в. одним из ее идеалов, воплощением жертвенной любви к угнетенным (от Г. Гейне и В. Гюго до вырождения этого мотива в общеевропейской поэзии «христианского социализма», в России — у А. Н. Плещеева, С. Я. Надсона и др.; в немецкой живописи — картины Ф. фон Уде 1880-х гг., ставящие И. Х. в окружение бытовых типов рабочих той поры, в русской живописи — «Христос в пустыне» И. Н. Крамского, скульптура М. М. Антокольского, картины Н. Н. Ге 1890-х гг., отмеченные влиянием толстовства, на которых изможденный бунтарь из Галилеи противостоит глумлению духовенства на заседании синедриона, сытой иронии Пилата, прозаичному палачеству Голгофы). Целую эпоху характеризуют слова Н. А. Некрасова (о Чернышевском): «Его послал бог гнева и печали царям земли напомнить о Христе».

Те русские писатели 19-го в., которые удерживают ортодоксально-мистическую интерпретацию образа И. Х., тоже не далеки от этой «голгофской» расстановки акцентов: и Ф. И. Тютчев связывает И. Х. (конечно, страдающего, «удрученного» тяжестью креста) с «наготой смиренной» крестьянской России («эти бедные селенья»), и у Ф. М. Достоевского он предстает как узник в темнице Великого инквизитора («Братья Карамазовы»).

Традиция была продолжена и в 20-м в. Иешуа га-Ноцри М. А. Булгакова («Мастер и Маргарита»), праведный чудак, крушимый трусливой машиной власти, подводит итоги всей «ренановской» эпохи и выдает родство с длинным рядом воплощений образа в искусстве и литературе 19-го в. Поэзия Б. Л. Пастернака сближает муку И. Х. с трагической незащищенностью Гамлета. Особняком стоит фигура И. Х. «в белом венчике из роз» (влияние католической символики? реплика образа Заратустры у Ницше?), шествующего по завьюженному Петрограду во главе двенадцати красногвардейцев (число двенадцати апостолов) в поэме А. Блока «Двенадцать». На Западе попытки истолковать образ И. Х. как метафору революции имели место у А. Барбюса, менее резко — в фильме П. П. Пазолини «Евангелие от Матфея».

ЛИТЕРАТУРА:

Штраус Д., Жизнь Иисуса, кн. 1—2, пер. с нем., Лейпциг — СПБ, 1907; **Ренан Э., Жизнь Иисуса**, пер. с франц., СПБ, 1906; **Древс А., Миф о Христе**, пер. с нем., т. 1—2, М., 1923—24; **Робертсон Дж. М., Евангельские мифы**, пер. с нем., М., 1922; **Немоевский А., Философия жизни Иисуса**, пер. с польск., М., 1923; **Кушу П., Загадка Иисуса**, пер. с франц., М., 1930; **Кубланов М. М., Иисус Христос — бог, человек, миф?**, М., 1964; **Свенцицкая И. С., Запрещенные евангелия**, М., 1965; **Крывелев И. А., Что знает история об Иисусе Христе!**, М., 1969; **Косидовский З., Сказания евангелистов**, пер. с польск., М., 1977; **Кондаков Н. П., Лицевой иконописный подлинник, т. 1, Иконография господа бога и спаса нашего Иисуса Христа**, СПБ, 1905; **Апокрифические сказания о Христе, т. 1—4**, СПБ, 1912—14;

ЭРНЕСТ РЕНАН

ЖИЗНЬ ИИСУСА*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Ввиду того, что мне удалось нарисовать образ Иисуса, который обратил на себя некоторое внимание, я решил предложить историю Иисуса в соответственно обработанной форме бедным и огорченным мира сего, которых он так любил. Так как многие сожалели о том, что книга по своей цене и по своей величине не была общедоступна, я пожертвовал вступлением, примечаниями и некоторыми местами текста, предполагавшими читателя, достаточно сведущего в специальных исследованиях критики. Благодаря исключению этих различных частей достигалась тройная цель. Во-первых, книга сделалась настолько скромного формата, что всякий, кому она понравится, может приобрести ее. Во-вторых, я не думаю, чтобы в ней остались слово или фраза, для понимания которых были бы необходимы специальные знания. Наконец, благодаря этим сокращениям я получил не менее драгоценный результат. Я писал свою книгу с абсолютным беспристрастием историка, намереваясь замечать относительно своего объекта самые тонкие и точные оттенки истины. Это не преминуло привести к некоторым столкновениям с массой превосходных людей, которых воспитывает и лелеет христианство. Я много раз испытывал сожаление, видя, как люди, которым я бесконечно желал бы сделать приятное, отвернулись от чтения книги, некоторые страницы которой, быть может, не были бы для них лишены приятности и пользы. Я полагаю, что многие истинные христиане не найдут в этой маленькой книге ничего, что могло бы их оскорбить. Не изменяя чего бы то ни было в своей основной идее, я мог удалить все места, могущие подать повод к недоразумениям или требующие длинных объяснений.

История есть наука, как химия, как геология. Для полного понимания ее необходимо глубокое изучение, самым возвышенным результатом которого является умение оценивать разницу времен, стран, наций и рас. Теперь человек, верящий в привидения и в колдунов, не считается у нас серьезным человеком. Но некогда во все это верили выдающиеся люди и, быть может, это еще возможно в некоторых странах и в наши дни — соединяли истинное превосходство с подобными заблуждениями. Люди, которые не достигли, благодаря ли путешествиям, долгому чтению или большой проницательности ума уменья разъяснять себе все эти различия, всегда находят нечто шокирующее в рассказах прошлого, — ведь прошлое, бывшее столь героическим, великим и оригинальным, не обладало в некоторых очень важных пунктах теми же идеями, как и мы. Настоящая история не может отступать перед этой трудностью, даже рискуя совершить самые грубые промахи. Научная искренность не знает мудрой лжи. Нет в этом мире мотива, достаточно сильного для того, чтобы ученый воздержался от выражения того, что он считает истиной. Но если без тени задней мысли сказать: нельзя ли в том, что считается неопределенным, или вероятным, или возможным, оставить все тонкие различия для того, чтобы всецело обратиться к общему духу великих дел, которые все могут и должны понимать? Нельзя ли отбросить разногласия, чтобы рассуждать только о поэзии и о назидании, которыми изобилуют эти старые рассказы? Химику известно, что алмаз только уголь; он знает пути, которыми природа создает эти глубокие превращения. Но разве он обязан поэтому запретить себе говорить, как все люди, и видеть в прекраснейшей драгоценности только простой кусок углерода?

Итак, это не новая книга. Это «Жизнь Иисуса», освобожденная от чисто научных аргументов и спорных мест. Желая остаться историком, я должен был стремиться к тому, чтобы нарисовать Христа, имеющего черты, цвет и физиономию своей расы. На этот же раз я представляю народу Христа из белого мрамора, Христа, высеченного из глыбы без пятен, Христа простого и чистого, как чувство, создавшее его. Боже! Быть может, он более верен таким. Кто знает — нет ли моментов, когда все, что исходит от человека, бывает непорочно? Эти моменты не долги, но они бывают. Таким именно Иисус явился народу, таким народ видел и любил его, таким он остался в сердцах людей. Вот что выросло в нем, что очаровало мир и создало ему бессмертие. Я не буду в 20-й раз опровергать упрек, будто я наношу удар религии. Я думаю служить ей. Некоторые воображают, что путем боязливых умолчаний можно воспрепятствовать народу терять веру в сверхъестественное. Если бы даже такая предосторожность и была бы честной, она все-таки была бы очень бесполезной. Веру такого характера — народ[1] потерял. Народ согласно с позитивной наукой не допускает частного случая сверхъестественного — именно чуда. Следует ли заключать из этого, что он чужд высоких верований, которые создают величие человека? Это было бы большой ошибкой. Народ религиозен по-своему. Что более трогательно, как не его уважение к смерти? Его мужество, его ясность, его желание учиться, его великие героические инстинкты, его влечение к произведениям искусства или поэзии, которые вызывают серьезные эмоции, обращаясь к благородным чувствам; его вечно сверкающая юность, когда дело идет о славе и Отечестве, — все это религия и притом самая прекрасная. Народ отнюдь не материалистичен. Его симпатии привлекает идеализм. Его недостаток, — если в нем только один, — это способность быстро отказываться от всех интересов, когда идет дело об идее. Было бы пагубно проповедовать ему нерелигиозность; было бы бесполезно пытаться отвести его от старых сверхъестественных верований. Остается один исход — это сказать ему все. Народ очень быстро и каким-то глубоким инстинктом схватывает наиболее возвышенные результаты науки. Он видит, что между существовавшими до сих пор религиозными формами ни одна не может претендовать на абсолютную ценность. Но он так же хорошо понимает, что основание религии не рушится из-за этого. Внушить ему почтение даже к

* Перевод с 69-го французского издания М. Синявского (Москва, 1906 г.)

[1] Напоминаем, что речь идет о французах. — Перев

преходящим формам, показать ему величие в истории, рельефно выставить то, что было хорошего и святого в этих старых формах, — не значит ли сделать хорошее дело. Что касается меня, то я думаю, что народ отвернется от своего освобождения в тот день, когда он сочтет за химеры веру, самоотвержение и преданность. Участие иллюзий, которые некогда примешивались ко всем великим движениям, будь то политические или религиозные, — не мотив для того, чтобы отказывать этим движениям в симпатии и удивлении. Можно быть хорошим французом, не веря в склянку с миром. Можно любить Жанну д'Арк, не признавая реальности ее видений.

Вот почему я думаю, что картина самой удивительной народной революции, о которой только сохранилось воспоминание, могла быть полезной для народа. Здесь на самом деле жизнь его лучшего друга; вся эта эпопея христианских начал есть история величайших простолюдинов, какие только когда-либо существовали; Иисус любил бедных, ненавидел богатых и суетных священников и признавал существующее правительство лишь как необходимость. Он смело поставил нравственные интересы выше партийных споров; он проповедовал, что этот мир только сон, что все на земле — образ и видимость, что истинное царство божие — идеал, и что идеал принадлежит всем. Эта легенда представляет живой источник вечных утешений; она внушает сладкую радость; она побуждает к улучшению нравов без пустого ханжества; она внушает влечение к свободе и, наконец, побуждает к размышлению о социальных проблемах, стоящих на первом плане в наше время. Иисус открывает относительно последних удивительно глубокие перспективы. Выходя из его школы, отлично понимаешь, что политика в будущем уже не будет легкомысленной игрой и что самым важным некогда станет работа для счастья, обучения и добродетели людей, и видишь, что всякое усилие удалить подобные вопросы обречено на неудачу.

Кроткие слуги и служанки божии, несущие бремя дня и жары, работники, трудящиеся над постройкой храма, который мы воздвигаем мысленно; пастыри, действительно святые, вздыхающие молчаливо о владычестве гордых саддукеев; бедные женщины, страдающие от социальных условий, к которых слишком слабо участие добра; благочестивые и безропотные труженицы в глубине холодной кельи, где Бог находится с вами — идите на праздник, который некогда приготовил по своему благоволению Бог простым сердцем. Вы — истинные ученики Иисуса. Если бы этот великий учитель пришел вновь, то в ком узнал бы он истинное потомство той дорогой и верной толпы, которая окружала его на берегу Геннисаретского озера? В защитниках ли символов, которых он не знал, в официальной ли церкви, которая покровительствует всему тому, против чего он боролся; среди ль партизанов обветшалых идей, присоединяющих его дело к своим интересам и своим страстям? — Нет: в нас, которые любят истину, прогресс и свободу. И если когда-либо Иисус вооружился бы кнутом, чтобы прогнать лицемеров, — то в ком, думаете вы, он узнал бы фарисея своей притчи? В тех ли, кто говорит: «Боже, благодарю тебя за то, что я не таков, как этот великий преступник, этот несчастный, этот неверующий человек», или в тех, кто говорит: «Ты, кого я, быть может, не знаю, но кого я люблю и кто должен снискать прежде всего почтение чистых сердцем, — явись, так как мое желание — это видеть тебя»?

Смотрите на горизонт: там восходит заря освобождения благодаря самоотверженности, труду, доброте и взаимной солидарности; освобождение чрез знание, которое, проникая законы человечества и подчиняя себе все более и более материю, создает человеческое величие и истинную свободу. Приготовим, исполняя каждый свой долг, будущий рай. Что касается меня, то я буду счастлив, если этими рассказами о прошлом я заставлю вас забыть на одно мгновение настоящее, если я воссоздам для вас прелести той несравненной идиллии, которая, 1800 лет тому назад, охватила радостью несколько кротких, как вы, людей.

ГЛАВА I

Детство и юность Иисуса; его первые впечатления

В мировой истории событием первой важности является та революция, путем которой самые благородные элементы человечества перешли от древних религий, известных под неопределенным названием язычества, к религии, основанной на божественном единстве, троице и воплощении сына божия. Для того, чтобы совершился этот переход, нужна была почти тысяча лет. Сама новая религия употребила на свое сформирование, по крайней мере, 300 лет. Но начало революции, о которой идет речь, есть факт, имевший место в царствование Августа и Тиверия. Тогда жила высшая личность, создавшая своей смелой инициативой и любовью, которую она умела внушить, предмет и начало будущей религии человечества.

Иисус родился в Назарете[1], небольшом городке Галилеи, не имевшем до него никакой известности. Всю свою жизнь он слыл под именем «назареянина», и только благодаря довольно путаной уловке[2] удалось в легенде об Иисусе заставить его родиться в Вифлееме. Мы увидим позже мотив этого подлога и то, как он явился необходимым следствием навязанной Иисусу роли[3]. Точная дата его рождения неизвестна. Она имело место в царствование Августа, около 750-го года с основания Рима, вероятно, за несколько лет до первого года той эры, началом которой все цивилизованные народы обозначают день рождения Иисуса.

Население Галилеи было очень смешанным. Эта провинция насчитывала во времена Иисуса среди своих жителей много не иудеев (финикиян, сирийцев, арабов и даже греков). Среди этого разноплеменного населения были нередки обращения в иудейство. Поэтому невозможно поднимать здесь никакого вопроса о расе и разузнавать, чья кровь текла в жилах того, кто больше всех способствовал исчезновению среди человечества различия по крови.

Иисус вышел из рядов народа. Его отец Иосиф и его мать Мария были люди среднего достатка — ремесленники, жившие своим трудом, находясь в том очень обыкновенном на Востоке положении, которое не есть ни благосостояние, ни бедность. Крайняя простота жизни в таких странах, устраняя необходимость в комфорте, низводит почти к нулю привилегию богатства и делает всех добровольными бедняками. С другой стороны, полное отсутствие любви к искусствам и к тому, что способствует изяществу материальной жизни, придает жалкий вид даже дому ни в чем не нуждающегося человека.

[1] Матф., XIII, 54 и сл., Марк., VI, 1 и сл., Иоанн, I, 45—46.

[2] Что Иисус родился в Вифлееме, было выдумано для того, чтобы оправдать одно место из Михея: V, 1. Перепись, с которой Матфей и Лука связывают путешествие в Вифлеем, произошла, как доказано историками, на десять лет позднее того года, в который родился Иисус.

[3] т. е. роли Мессии. — Перев.

Город Назарет во времена Иисуса, быть может, не отличался многим от современного. Улицы, где он играл ребенком, можно узнать в каменистых дорожках или небольших перекрестках, которые разделяют хижины. Дом Иосифа, без сомнения, очень походил на эти мастерские, освещаемые дверью и служащие в одно и то же время стойлом, кухней, спальнею и имеющие в качестве мебели циноаку, несколько подушек на полу, одну или две глиняные вазы я расписанный сундук.

Семейство, происшедшее от одного или нескольких браков, было довольно многочисленно. У Иисуса были братья и сестры[1], из которых он, по-видимому, был старшим[2]. Все они остались неизвестны; ведь кажется, что те четыре лица, которые известны за его братьев и из которых один, по крайней мере, именно Иаков, получил большое значение в первые годы развития хвистианства, были его двоюродными братьями. Действительно, у Марии была сестра, по имени также Мария, бывшая замужем за известным Алфеем или Клеопой (эти два имени, по-видимому, обозначают одно и то же лицо); у нее было несколько сыновей, играящих значительную роль среди первых учеников Иисуса.

Эти двоюродные братья, присоединившиеся к молодому учителю в то время, как родные братья Иисуса противодействовами ему[3], получили титул «братьев Господа». Родные братья Иисуса, так же как и его мать, получили значение только после его смерти. По-видимому, даже и тогда они не сравнились по степени уважения со своими кузенами, так как обращение последних было более искренним, да к тому же и характер их, надо думать, обладал большею оригинальностью.

Его сестры[4] вышли замуж в Назарете; сам Иисус провел там первые годы своей юности. Назарет был небольшой город, расположенный в ложбине, открывающейся с вершины группы гор, которые запирают на севере эздрелонскую равнину. В настоящее время там населения от 3-х до 4-х тысяч, и оно, пожалуй, немного переменилось. Холод там довольно чувствителен зимою, но климат очень здоровый. Город, как все иудейские селения в ту эпоху, представлял кучу хижин, построенных без всякого вкуса, и должен был являть то сухое и жалкое зрелище, какое представляют деревни в восточных странах. Дома, как кажется, не отличались много от тех каменных кубов без внутреннего и внешнего изящества, которые покрывают и теперь самые богатые части Ливана и, смешавшись с виноградниками и фиговыми деревьями, не представляют особенно привлекательного зрелища. Окрестности, впрочем, очаровательны, и ни одно место в мире не было так хорошо приспособлено для грез об абсолютном счастье. Даже в наши дни Назарет представляет еще восхитительное место, единственное в Палестине, где душа чувствует себя немного облегченной от тяжести, подавляющей ее среди этого ни с чем не сравнимого разорения. Население любезно я симпатично; сады свежи л зелены. Антонии Мартир в конце 6-го века дает восхитительную картину плодородия окрестностей, которые он сравнивает с раем. Некоторые долины с восточной стороны вполне оправдывают его описание. Фонтан, где сосредоточивалась некогда жизнь и веселье маленького города, — разрушен; его рассевшиеся каналы дают только мутную воду. Но красота женщин, собирающихся там вечером, — красота, которая была уже замечена в 6-м веке н а которой видели дар девы Марии, — сохранилась поразительным образом. Это — сирийский тип во всей своей грации, полной томности. Нет никакого сомнения, что Мария была там почти ежедневно и занимала место в ряду своих, оставшихся неизвестными, соотечественниц с кувшином на плече. Мартир замечает, что иудейские женщины, относящиеся в других местах презрительно к христианам, здесь полны приветливости. Еще теперь религиозная ненависть менее резка в Назарете, чем в других городах.

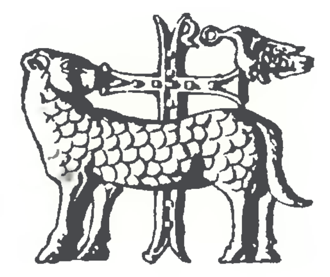
Горизонт города узок; но если немного подняться и достигнуть плоской возвышенности, обвеваемой постоянно ветерком, который чувствуется над самыми высокими домами, то перспектива великолепна. На западе простираются прекрасные очертания Кармеля, оканчивающиеся крутым мысом, который кажется погружающимся в море. Далее развертывается двойная вершина, доминирующая над Магеддо, горы страны Сихемской с их святыми местами патриархального возраста, горы Гелбое — маленькая живописная группа, с которой связываются прелестные или порою ужасные воспоминания о Суляме и Эндоре; Фавор со своей прекрасной округленной формой, которую древность сравнивала с грудью. Чрез впадину между горою Сулема и Фавором видна долина Иордана и высокие равнины Переи, образующие с восточной стороны сплошную линию. На севере Сафедские горы, наклоняясь к морю, скрывают Сенжав д'Акр, но позволяют вырисовываться переа глазами Кайфскому заливу.

Таков был горизонт Иисуса. Этот восхитительный круг, колыбель царства божия, изображал ему в течение ряда лет весь мир. Сама его жизнь мало выходила из пределов, хорошо известных его детству. Действительно, по ту сторону, с севера едва виднелась на склонах Гермона Цезарея Филиппа, наиболее выдвинутая в мире язычников вершина, а с южной стороны за горами Самарии — уже менее веселыми — теснит душу печальная Иудея, как бы высушенная жгучим ветром смерти л небытия. Если когда-нибудь мир, оставшийся христианским, но пришедший к лучшему пониманию того, что составляет уважение к священным началам, закочет заменить подлинными святыми местами подозрительные и грязные алтари, с которыми связывалась набожность невежественных веков, то он построит свой храм на этой назаретской возвышенности. Там, на месте появления христианства и в центре действии его основателя, должна быть воздвигнута великая церковь, где все христиане могли бы молиться. И там же, на той земле, где спят плотник Иосиф и тысячи забытых назареян, не переступавших горизонта своей долины, философ мог бы поместиться лучше, чем в каком-либо другом месте мира, чтобы созерцать течение человеческих дел, утешать себя их случайным характером и успокаиваться относительно божественной цели, которую преследует мир чрез бесчисленные ошибки и всеобщую суету.

Продолжение следует.

---

1 Матф., I, 25, III, 46 и сл.; XIII, 55 и сл.; Марк, III, 31 и сл.; VI, 3; Лука, II, 7; VIII, 19 и сл.; Иоанн, II, 12; VII, 3, 5, 10; Д ян. 1, 14
2 Лука, II, 7, Матф., 1. 25
3 Иоанн., VII, 7 — Перев
4 Матф., XIII, 56; Марк, VI, 3. — Перев



И С Т О Р И Я

ВОСПОМИНАНИЯ. ОЧЕРКИ. ДОКУМЕНТЫ.



ЛИОН ФЕЙХТВАНГЕР

ПОЕЗДКА В МОСКВУ 37-го ГОДА

ПЕРОМ ОЧЕВИДЦА

Алкивиад у персов

Мне кажется, далее, также вероятным, что если человек, ослепленный ненавистью, отказывался видеть признанное всеми успешное хозяйственное строительство Союза и мощь его армии, то такой человек перестал также замечать непригодность имеющихся у него средств и начал выбирать явно неверные пути. Троцкий отважен и безрассуден; он великий игрок. Вся жизнь его — это цепь авантюр; рискованные предприятия очень часто удавались ему. Будучи всю свою жизнь оптимистом, Троцкий считал себя достаточно сильным, чтобы быть в состоянии использовать для осуществления своих планов дурное, а затем в нужный момент отбросить это дурное и обезвредить его. Если Алкивиад пошел к персам, то почему Троцкий не мог пойти к фашистам?

Ненависть изгнанного к изгнавшему

Русским патриотом Троцкий не был никогда. «Государство Сталина» было ему глубоко антипатично. Он хотел мировой революции. Если собрать все отзывы изгнанного Троцкого о Сталине и о его государстве воедино, то получится объемистый том, насыщенный ненавистью, яростью, иронией, презреимем. Что же являлось за все эти годы изгнания и является и ныне главной целью Троцкого? Возвращение в страну любой ценой, возвращение к власти.

Шекспир о Троцком

Кориолан Шекспира, придя к врагам Рима — вольскам, рассказывает о неверных друзьях, предавших его: «И пред лицом патрициев трусливых, — говорит он заклятому врагу Рима, — бессмысленными криками рабов из Рима изгнан я. Вот почему я здесь теперь — пред очагом твоим. Я здесь для мщеиья. С врагом моим я за изгнанье должеи расплатиться».

Так отвечает Шекспир иа вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами.

Ленин о Троцком

Небольшевистское прошлое Троцкого — это не случайность. Так отвечвет Ленин в своем завещании на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами.

Троцкий о Троцком

Эмиль Людаиг сообщает о своей беседе с Троцким, состоявшейся вскоре после высылки Троцкого на Принцевы Острова, около Стамбула. Эту беседу Эмиль Людвиг опубликовал в 1931 году в своей книге «Дары жизни». То, что было высказано уже тогда, в 1931 году, Троцким, должно заставить призадуматься всех, кто находит обвинения, предъявленные ему, нелепыми и абсурдными. «Его собственная партия, — сообщает Людвиг (я цитирую дословно. — Л. Ф.), — по словам Троцкого, рассеяна повсюду и поэтому трудно поддается учету. «Когда же она сможет собраться?» — Когда для этого представится какой-либо новый случай, например войнв или новое вмешательство Европы, которая смогла бы почерпнуть смелость из слабости правительства. «Но в этом случае Вас-то именно и не выпустят, даже если бы те захотели Вас впустить». Пауза — в ней чувствуется презрение. — О, тогда, по всеи вероятности, пути найдутся. — Теперь улыбается даже госпожа Троцкая». Так отвечает Троцкий на вопрос о том, возможен ли договор между Троцким и фашистами.

Правдоподобны ли обвинения, предъявляемые Радеку и Пятакову

Что же касается Пятакова, Сокольникова, Радека, представших перед судом во втором процессе, то по поводу их возражения были следующего порядка: невероятно, чтобы люди с их рангом и влиянием вели работу против государства, которому они были обязаны своим положением и постами, чтобы они пустились в то авантюрное предприятие, которое им ставит в вину обвинение.

Окончание. Начало в № 5.

Идеологические мотивы обвиняемых

Мне кажется неверным рассматривать этих людей только под углом зрения занимаемого ими положения и их влияния. Пятаков и Сокольников были не только крупными чиновниками, Радек был не только главным редактором «Известий» и одним из близких советников Сталина. Большинство этих обвиняемых были, в первую очередь, конспираторами, революционерами; всю свою жизнь они были страстными бунтовщиками и сторонниками переворота — в этом было их призванне. Все, чего они достигли, они достигли вопреки предсказаниям «разумных», благодаря своему мужеству, оптимизму, любви к рискованным предприятиям. К тому же они верили в Троцкого, обладающего огромной силой внушеиия. Вместе со своим учителем они видели в «государстве Сталина» искаженный образ того, к чему они сами стремились, и свою высшую цель усматривали в том, чтобы внести в это искажение свои коррективы.

Материальный вопрос

Не следует также звбывать о личной заинтересованности обвиняемых в перевороте. Ни честолюбие, ни жажда власти у этих людей не были удовлетворены. Они занимали высокие должности, ио никто из них не занимал ни одного из тех высших постов, на которые, по их мнению, они имели право; никто из них, например, не входил в состав «Политического Бюро». Правда, они опять вошли в милость; но в свое время их судили как троцкистов, и у них не было больше никаких шансов выдвинуться а первые ряды. Они были в некотором смысле разжалованы, и «никто не может быть опаснее офицера, с которого сорвали погоны», говорит Радек, которому это должно быть хорошо известно.

Возражения против порядка ведения процесса

Кроме нападок на обвинение слышатся не менее резкие нападки на самый порядок ведения процесса. Если имелись документы и свидетели, спрашивают сомневающиеся, то почему же держали эти документы в ящике, свидетелей — за кулисами и довольствовались ие заслуживаюшими доверия признаниями?

Ответ советских граждан

Это правнльио, отвечают советские люди, на процессе мы показали некоторым образом только квинтзссенцию, препарированный результат предварительного следствия. Уличающий материал был проверен нами раньше н предъявлеи обвиняемым. На процессе нам было достаточно подтверждения их признания. Пусть тот, кого это смущает, вспомнит, что это дело разбирал военный суд и что процесс этот был в первую очередь процессом политическим. Нас интересовала чистка внутриполитической атмосферы. Мы хотели, чтобы весь народ, от Минска до Владивостока, понял происходящее. Поэтому мы постарались обставить процесс с максимальной простотои и ясностью. Подробное изложение документов, свидетельских показаний, разного рода следственного материала может интересовать юристов, кримиалистов, историков, а наших советских граждан мы бы только запутали таким чрезмерным нагромождением деталей. Безусловио признание говорит им больше, чем множество остроумно сопоставленных доказательств. Мы вели этот процесс не для иностранных кримналистов, мы вели его для нашего народа.

Гипотезы с авантюрным оттенком

Так как такой весьма внушительный факт, как признания, их точность и определенность, опровергнут быть не может, сомневающиеся стали выдвигать самые авантюристические предположения о методах получения этих признаний.

Яд и гипноз

В первую очередь, конечно, было выдвинуто наиболее примитивное предположеиие, что обвиняемые под пытками и под угрозой новых, еще худших пыток были вынуждены к признанию. Однако эта выдумка была опровергнута несомненно свежим видом обвиняемых и их общим физическим и умственным состоянием. Таким образом, скептики были вынуждены для объяснения «невероятного» признания прибегнуть к другим источникам. Обвиняемым, заявили они, давали всякого рода яды, их гипнотизировали и подвергали действию наркотических средств. Однако еще никому на свете не удавалось держать другое существо под столь сильным и длительным влиянием, и тот ученый, которому бы это удалось, едва ли удовольствовался бы положением таинственного подручного полицейских органов; он, несомненио, в целях увеличения своего удельного веса ученого, предал бы гласности найденные им методы. Тем не менее противники процесса предпочитают хвататься за самые абсурдные гипотезы бульварного характера, вместо того чтобы поверить в самое простое, а именно, что обвиняемые были изобличены и их признания соответствуют истиие.

Советские люди смеются

Советские люди только пожимают плечами и смеются, когда им рассказывают об этих гипотезах. Зачем нужно было нам, если мы хотели подтасовать факты, говорят они, прибегать к столь трудному и опасному способу, как вымогание ложного признания? Разве не было бы проще подделать документы? Не думаете ли Вы, что нам было бы гораздо легче, вместо того чтобы заставить Троцкого устами Пятакова и Радека вести изменнические речи, представить миру его изменнические письма, документы, которые гораздо непосредственнее доказывают его связь с фашистами? Вы видели и слышали обвиняемых: создалось ли у Вас впечатление, что их признания вынуждены?

Обстановка процесса

Этого впечатления у меня действительно не создалось. Людей, стоявших перед судом, никоим образом нельзя было назвать замученными, отчаявшимися существами, предстввшими перед своим палачом. Вообще не следует думать, что это судебное разбирательство носило какой-либо искусственный или даже хотя бы торжественный, патетический характер.

Портреты обвиняемых

Помещенне, в котором шел процесс, не велико, оно вмещает, примерно, триста пятьдесят человек. Судьи, прокурор, обвиняемые, защитники, эксперты сидели на невысокой эстраде, к которой вели ступеньки. Ничто не разделяло суд от сидящих в зале. Не было также ничего, что походило бы иа скамью подсудимых; барьер, отделявший подсуднмых, напоминал скорее обрамление ложи. Сами обвиняемые представляли собой холеных, хорошо одетых мужчии с медлеиными, непринужденными манерами. Они пили чай, из карманов у них торчали газеты, и они часто посматривали в публику. По общему виду это походило больше иа дискуссию, чем на уголовный процесс, дискуссию, которую ведут в тоне беседы образованные люди, старающиеся выяснить правду и установить, что именно произошло и почему это произошло. Создавалось впечатление, будто обвиняемые, прокурор и судьи увлечены одинаковым, я чуть было не сказал спортивным, интересом выяснить с максимальной точностью все происшедшее. Если бы этот суд поручили инсценировать режиссеру, то ему, вероятно, понадобилось бы немало лет и немало репетиций, чтобы добиться от обвиняемых такой сыгранности: так добросовестно и старательно не пропускали они ни малейшей неточности друг у друга, и их взволнованность проявлялась с такой сдержанностью. Короче говоря, гипнотизеры, отравители и судебные чиновники, подготовившие обвиняемых, помимо всех своих ошеломляющих качеств должны были быть выдающимися режиссерами и психологами.

Деловитость

Невероятной, жуткой казалась деловитость, обнаженность, с которой эти люди непосредственно перед своей почти верной смертью рассказывали о своих действиях и давали объяснения своим преступлениям. Очень жаль, что в Советском Союзе воспрещается производить в залах суда фотографирование и записи на граммофонные пластинки. Если бы мироаому общественному мнению представить не только то, что говорили обвняемые, но и как они это говорили, их интонации, их лица, то, я думаю, неверящих стало бы гораздо меньше.

Поведение

Признавались они все, но каждый на свой собственный манер: один с циничной интонацией, другой молодцевато, как солдат, третий — внутрение сопротивляясь, прибегая к уверткам, четвертый — как раскаивающийся ученик, пятый — поучая. Но тон, выраженне лица, жесты у всех были правдивы.

Пятаков

Я никогда не забуду, как Георгий Пятаков, господин среднего роста, средних лет, с небольшой лысиной, с рыжеватой, старомодной, трясушейся острой бородой, стоял перед микрофоном и как он говорил — будто читал лекцию. Спокойно и старательно он повествовал о том, как он вреднл в вверенной ему промышленности. Он объяснял, указывая вытянутым пальцем, напоминая преподавателя высшей школы, историка, выступающего с докладом о жизни и деяниях давно умершего человека по имени Пятаков и стремящегося разъяснить все обстоятельства до мельчайших подробностей, охваченный одним желаннем, чтобы слушатели и студенты все правильно поняли и усвоили.

Радек

Писателя Карла Радека я тоже вряд ли когда-нибудь забуду. Я не забуду ни как он там сидел в своем коричневом пиджаке, нн его безобразное худое лицо, обрамленное каштановой старомодной бородой, ни как он поглядывал в публику, большая часть которой была ему знакома, или на других обвиняемых, часто усмехаясь, очень хладнокровный, зачастую намеренно иронический, нн как он при входе клал тому или другому из обвиняемых на плечо руку легким, нежным жестом, ни как он, выступая, немного позировал, слегка посмеиваясь над остальными обвнняемыми, показывая свое превосходство актера, — надменный, скептический, ловкий, литературно образованный. Внезапно оттолкнув Пятакова от микрофона, он встал сам на его место. То он ударял газетой о барьер, то брал стакан чая, бросал в него кружок лимона, помешнвал ложечкой и, рассказывая о чудовищных делах, пил чай мелкими глотками. Однако, совершенно не рисуясь, он произнес свое заключительное слово, в котором он объяснил, почему он признался, и это заявление, несмотря на его непринужденность и на прекрасно отделанную формулировку, прозвучало трогательно, как откровение человека, терпящего великое бедствие. Самым страшным и трудно объяснимым был жест, с которым Радек после конца последнего заседания покинул зал суда. Это было под утро, в четыре часа, и все — судьи, обвиняемые, слушатели — сильно устали. Из семнадцати обвиняемых тринадцать — среди них близкие друзья Радека — были приговорены к смерти; Радек и трое других — только к заключению. Судья зачитал приговор, мы все — обвиняемые и присутствующие — выслушали его стоя, не двигаясь, в глубоком молчании. Показались солдаты; они вначале подошли к четверым, не приговоренным к смерти. Один из солдат положил Радеку руку на плечо, по-видимому, предлагая ему следовать за собой. И Радек пошел. Он обернулся, приветственно поднял руку, почти незаметно пожал плечами, кивнул остальным приговоренным к смерти, своим друзьям, и улыбнулся. Да, он улыбнулся.

Остальные

Трудно также забыть подробный тягостный рассказ инженера Строилова о том, как он попал в троцкистскую организацию, как он бился, стремясь вырваться нз нее, и как троцкисты, пользуясь его провинностью в прошлом, крепко его держали, не выпуская до конца из своих сетей. Незабываем еще тот еврейский сапожник с бородой раввина — Дробнис, который особенно выделился в гражданскую войну. После шестилетнего заключения в царской тюрьме, трижды приговоренный белогвардейцами к смерти, он каким-то чудом спасся от трех расстрелов и теперь, стоя здесь, перед судом, путался и запинался, стремясь как-нибудь вывернуться, будучи вынужденным признаться в том, что взрывы, им организованные, причинили не только материальные убытки, но повлекли за собой, как он этого и добивался, гибель рабочих.

Потрясающее впечатление произвел также инженер Норкин, который в своем последнем слове проклял Троцкого, выкрикнув ему свое «клокочущее презрение и ненависть». Бледный от волнения, он должен был немедленно после этого покинуть зал, так как ему сделалось дурно. Впрочем, за все время процесса это был первый и единственный случай, когда кто-либо закричал; все — судьи, прокурор, обвиняемые — говорили все время спокойно, без пафоса, не повышая голоса.

Почему они не защищаются?

Свое нежелание поверить в достоверность обвинения сомневающиеся обосновывают, помимо вышеприведенных возражений, тем, что поведение обвиняемых перед судом психологически не объяснимо. Почему обвиняемые, спрашивают эти скептики, вместо того чтобы отпираться, наоборот, стараются превзойти друг друга в признаниях? И в каких признаниях! Они сами себя рисуют грязными, подлыми преступниками. Почему они не защищаются, как делают это обычно все обвиняемые перед судом? Почему, если они даже изобличены, они не пытаются привести в свое оправдание смягчающие обстоятельства, а, наоборот, все больше отягчают свое положение? Почему, раз они верят в теории Троцкого, они, эти революционеры и идеологи, не выступают открыто на стороне своего вождя и его теорий? Почему они не превозносят теперь, выступая в последний раз перед массами, свои дела, которые они ведь должны были бы считать похвальными? Наконец, можно представить, что из числа этих семнадцати один, два или четыре могли смириться. Но все — навряд ли.

Вот почему, говорят советские люди

То, что обвиняемые признаются, возражают советские граждане, объясняется очень просто. На предварительном следствии они были настолько изобличены свидетельскими показаниями и документами, что отрицание было бы для них бесцельно. То, что они признаются все, объясняется тем, что перед судом предстали не все троцкисты, замешанные в заговоре, а только те, которые до конца были изобличены. Патетический характер признаний должен быть в основном отнесен за счет перевода. Русская интонация трудно поддается передаче, русский язык в переводе звучит несколько странно, преувеличенно, как будто основным тоном его является превосходная степень. (Последнее замечание правильно. Я слышал, как однажды милиционер, регулирующий движение, сказал моему шоферу: «Товарищ, будьте, пожалуйста, любезны уважать правила». Такая манера выражения кажется странной. Она кажется менее странной, когда переводят больше по смыслу, чем по буквальному тексту: «Послушайте, не нарушайте, пожалуйста, правил движения». Переводы протоколов печати похожи больше на «будьте любезны уважать правила», чем на «не нарушайте, пожалуйста, правил движения».)

Мнение автора

Я должен признаться, что, хотя процесс меня убедил в виновности обвиняемых, все же, несмотря на аргументы советских граждан, поведение обвиняемых перед судом осталось для меня не совсем ясным. Немедленно после процесса я изложил кратко в советской прессе свои впечатления: «Основные причины того, что совершили обвиняемые, и главным образом основные мотивы их поведения перед судом западным людям все же не вполне ясны. Пусть большинство из них своими действиями заслужило смертную казнь, но бранными словами и порывами возмущения, как бы они ни были понятны, нельзя объяснить психологию этих людей. Раскрыть до конца западному человеку их вину и искупление сможет только великий советский писатель». Однако мои слова никоим образом не должны означать, что я желаю опорочить ведение процесса или его результаты. Если спросить меня, какова квинтэссенция моего мнения, то я смогу, по примеру мудрого публициста Эрнста Блоха, ответить словами Сократа, который по поводу некоторых неясностей у Гераклита сказал так: «То, что я понял, прекрасно. Из этого я заключаю, что остальное, чего я не понял, тоже прекрасно».

Попытка объяснения

Советские люди не представляют себе этого непонимания. После окончания процесса на одном собрании один московский писатель горячо выступил по поводу моей заметки в печати. Он сказал: «Фейхтвангер не понимает, какими мотивами руководствовались обвиняемые признаваясь. Четверть миллиона рабочих, демонстрирующих сейчас на Красной площади, это понимают». Мне тем не менее кажется, что к тому, чтобы понять процесс, я приложил больше усилий, чем большинство западных критиков, я, ввиду того, что советский писатель, который смог бы осветить мотивы признаний, пока еще не появился, я хочу сам попробовать рассказать, как я себе представляю генезис признания.

Сущность партийного суда

Суд, перед которым развернулся процесс, несомненно, можно рассматривать как некоторого рода партийный суд. Обвиняемые с юных лет принадлежали к партии, некоторые из них считались ее руководителями. Было бы ошибкой думать, что человек, привлеченный к партийному суду, мог бы вести себя так же, как человек перед обычным судом на Западе. Даже, казалось бы, простая оговорка Радека, обратившегося к судье «товарищ судья» и поправленного председателем «говорите, гражданин судья», имела внутренний смысл. Обвиняемый чувствует себя еще связанным с партией, поэтому не случайно процесс с самого начала носил чуждый иностранцам характер дискуссии. Судьи, прокурор, обвиняемые — и это не только казалось — были связаны между собой узами общей цели. Они были подобны инженерам, испытывавшим совершенно новую сложную машину. Некоторые из них что-то в этой машине испортили, испортили не со злости, а просто потому, что своенравно хотели испробовать на ней свои теории по улучшению этой машины. Их методы оказались неправильными, но эта машина не менее, чем другим, близка их сердцу, и поэтому они сообща с другими откровенно обсуждают свои ошибки. Их всех объединяет интерес к машине, любовь к ней. И это-то чувство и побуждает судей и обвиняемых так дружно сотрудничать друг с другом; чувство, похожее на то, которое в Англии связывает правительство с оппозицией настолько крепко, что вождь оппозиции получает от государства содержание в две тысячи фунтов.

Языческий пророк

Обвиняемые были приверженцами Троцкого: даже после его падения они верили в него. Но они жили в Советском Союзе, и то, что изгнанному Троцкому представлялось в виде далеких смутных цифр и статистики, для них было живой действительностью. Перед этой реальной действительностью тезис Троцкого о невозможности построения социалистического хозяйства в одной, отдельно взятой стране, не мог рассчитывать на продолжительное существование. В 1935 году, перед лицом возрастающего процветания Советского Союза, обвиняемые должны были признать банкротство троцкизма. Они потеряли, по словам Радека, веру в концепцию Троцкого. В силу этих обстоятельств, в силу самой природы вещей признания обвиняемых прозвучали как вынужденный гимн режиму Сталина. Обвиняемые уподобились тому языческому пророку из библии, который, выступив с намерением проклясть, стал, против своей воли, благословлять.

Измена Троцкому

Обвиняемый Муралов восемь месяцев отрицал свою вину, пока, наконец, 5 декабря не сознался. «Хотя я, — заявил он на процессе, — и не считал директиву Троцкого о терроре и вредительстве правильной, все же мне казалось морально недопустимым изменить ему. Но, наконец, когда от него стали отходить остальные — одни честно, другие нечестно, — я сказал себе: я сражался активно за Советский Союз в трех революциях, и десятки раз моя жизнь висела на волоске. Не должен ли я подчиниться его интересам? Или мне нужно остаться у Троцкого и продолжать и углублять его неправое дело? Но тогда имя мое будет служить знаменем для тех, кто еще находится в рядах контрреволюции. Другие, независимо от того, честно или нечестно они отошли от Троцкого, во всяком случае не стоят под знаменем контрреволюции. Должен ли я оставаться таким святым? Для меня это было решающим, и я сказал: ладно, иду и показываю всю правду». Показания Радека по этому пункту, более тонкие по форме, в основном повторяют ту же мысль. Речи обоих этих людей кажутся мне, оставляя в стороне процесс, интересными в психологическом отношении. Они наглядно показывают, до какого предела могут идти люди за человеком, в чье превосходство, способность к руководству и гениальную концепцию они верят, и где начинается поворот, на котором они его оставляют. Авантюристские и отчаянные средства, к которым решил прибегнуть Троцкий, после того как выяснилась ошибочность его основной концепции, должны были отпугнуть от него более мелких сторонников. Они стали считать его методы безумными. Они не отошли от него открыто уже раньше только потому, что не знали, как это технически обставить. «Мы бы сами пошли в милицию, — заявил Радек, — если бы она не явилась к нам раньше», и это вполне вероятно. Ведь некоторые из их соучастников действительно раньше пошли в милицию, и таким образом заговор был раскрыт.

Люди, верящие в свое дело

Возражения сомневающихся по существу правильны. Люди, верящие в свое дело, зная, что они обречены на смерть, не изменяют ему в свой последний час. Они хватаются за последнюю возможность обратиться к общественности и используют свое выступление в целях пропаганды своего дела. Сотни революционеров перед судом Гитлера заявляют: «Да, я совершил то, в чем вы меня обвиняете. Вы можете меня уничтожить, но я горжусь тем, что я сделал». Таким образом, сомневающиеся правы, спрашивая: почему ни один из этих троцкистов так не говорил? Почему ни один из этих троцкистов не сказал: «Да, ваше «государство Сталина» построено неправильно. Прав Троцкий. Все, что я сделал, хорошо. Убейте меня, но я защищаю свое дело».

Люди, не верящие в свое дело

Однако это возражение встречает убедительный ответ. Эти троцкисты не говорили так просто потому, что они больше не верили в Троцкого, потому что внутренне они уже не могли защищать то, что они совершили, потому что их троцкистские убеждения были до такой степени опровергнуты фактами, что люди зрячие не могли больше в них верить. Что же оставалось им делать, после того как они стали на неправую сторону? Им ничего другого не оставалось, — если они были убежденными социалистами, — как в последнем выступлении перед смертью признаться: социализм не может быть осуществлен тем путем, которым мы шли — путем, предложенным Троцким, а только другим путем — путем, предложенным Сталиным.

Девяносто девять или сто процентов

Но даже если отбросить идеологические побудительные причины и принять во внимание только внешние обстоятельства, то обвиняемые были прямо-таки вынуждены к признанию. Как они должны были себя вести, после того как они увидели перед собой весьма внушительный следственный материал, изобличающий их в содеянном? Они были обречены независимо от того, признаются они или не признаются. Если они признаются, то, возможно, их признание, несмотря на все, даст им проблеск надежды на помилование. Грубо говоря: если они не признаются, они обречены на смерть на все сто процентов, если они признаются, — на девяносто девять. Так как их внутренние убеждения не возражают против признания, то почему же им не признаться? Из их заключительных слов видно, что такого рода соображения действительно имели место. Из семнадцати обвиняемых двенадцать просили суд принять во внимание при вынесении приговора, в качестве смягчающего вину обстоятельства, их признание.

Трагикомический момент

Волей-неволей свою просьбу они должны были выражать приблизительно одинаковыми словами, и это, наконец, стало производить почти жуткое, трагикомическое впечатление. Во время заключительных слов последних все уже, нервничая, ждали этой просьбы, и, когда ее действительно произносили, — при этом каждый раз в неизбежно однообразной форме, слушатели с трудом сдерживали смех.

Для чего усиливать звук?

Однако ответить на вопрос, какие причины побудили правительство выставить этот процесс на свет, пригласив на него мировую прессу и мировую общественность, пожалуй, еще труднее, чем ответить на вопрос, какими мотивами руководствовались обвиняемые. Чего ждали от этого процесса? Не должна ли была эта манифестация привести скорее к неприятным, чем к благоприятным последствиям? Зиновьевский процесс оказал за границей очень вредное действие: он дал в руки противникам долгожданный материал для пропаганды и заставил поколебаться многих друзей Союза. Он вызвал сомнение в устойчивости режима, в которую до этого верили даже враги. Зачем же вторым подобным процессом так легкомысленно подрывать собственный престиж?

Сталин — Чингис-хан

Причину, утверждают противники, следует искать в опустошительном деспотизме Сталина, в той радости, которую он испытывает от террора. Ясно, что Сталин, обуреваемый чувствами неполноценности, властолюбия и безграничной жажды мести, хочет отомстить всем, кто его когда-либо оскорбил, и устранить тех, кто в каком-либо отношении может стать опасным.

Жалкие психологи

Подобная болтовня свидетельствует о непонимании человеческой души и неспособности правильно рассуждать. Достаточно только прочесть любую книгу, любую речь Сталина, посмотреть на любой его портрет, вспомнить любое его мероприятие, проведенное им в целях осуществления строительства, и немедленно станет ясно, что этот умный, рассудительный человек никогда не мог совершить такую чудовищную глупость, как поставить с помощью бесчисленных соучастников такую грубую комедию с единственной целью отпраздновать, при бенгальском освещении, свое торжество над поверженным противником.

Решение

Я думаю, что решение вопроса проще и вместе с тем сложнее. Нужно вспомнить о твердой решимости Советского Союза двигаться дальше по пути демократии и, прежде всего, о существующем там отношении к вопросу о войне, на которое я уже несколько раз указывал.

Демократизация и опасность войны

Растущая демократизация, в частности предложение проекта новой Конституции, должна была вызвать у троцкистов новый подъем активности и возбудить у них надежду на большую свободу действий и агитации. Правительство нашло своевременным показать свое твердое решение уничтожать в зародыше всякое проявление троцкистского движения. Но главной причиной, заставившей руководителей Советского Союза провести этот процесс перед множеством громкоговорителей, является, пожалуй, непосредственная угроза войны. Раньше троцкисты были менее опасны, их можно было прощать, в худшем случае — ссылать. Очень действенным средством ссылка все же не является; Сталин, бывший сам шесть раз в ссылке и шесть раз бежавший, это знает. Теперь, непосредственно накануне войны, такое мягкосердечие нельзя было себе позволить. Раскол, фракционность, не имеющие серьезного значения в мирной обстановке, могут в условиях войны представить огромную опасность. После убийства Кирова дела о троцкистах в Советском Союзе разбирают военные суды. Эти люди стояли перед военным судом, и военный суд их осудил.

Два лица Советского Союза

Советский Союз имеет два лица. В борьбе лицо Союза — суровая беспощадность, сметающая со своего пути всякую оппозицию. В созидании его лицо — демократия, которую он объявил в Конституции своей конечной целью. И факт утверждения чрезвычайным съездом новой Конституции как раз в промежутке между двумя процессами — Зиновьева и Радека — служит как бы символом этого.

ГЛАВА VIII

НЕНАВИСТЬ И ЛЮБОВЬ

Разочарование «демократов»

Страстность, с которой реагировали за границей на троцкистские процессы люди, даже благожелательно настроенные к Советскому Союзу, абсолютно непонятна советским гражданам. Я уже говорил о глубоком разочаровании, об отчаянии многих, видевших в Советском Союзе осуществление своих демократических чаяний и последнее средство спасения цивилизации от гибели. Я говорил об этих людях, которые, будучи не в состоянии освободиться от своих представлений о демократии, были этими «произвольными и насильственными» процессами как бы низвержены с небес.

Неприятное чувство, которое вызывает Советский Союз

Многим это разочарование причинило, несомненно, искреннее огорчение. Однако нашлись и такие, которым оно доставило радость. Страстность, с которой эти интеллигенты реагировали на процесс, вытекает из весьма глубоких источников их души, куда нет доступа соображениям, повинующимся разуму. Она вытекает из неприятного чувства, которое в них возбуждает одно существование Советского Союза, из неприятного чувства, испытываемого ими при мысли о проблемах, которые ставит перед ними эта новая социалистическая государственная формация.

Страх перед социализмом

Дело в том, что многие интеллигенты, даже те, которые считают исторической необходимостью смену капиталистической системы социалистической, боятся трудностей переходного периода. Они вполне искренне желают мировой победы социализма, но их тревожит вопрос о собственной будущности в период великого социалистического переворота. Сердце их отвергает то, что утверждает их разум. В теории они социалисты, на практике своим поведением они поддерживают капиталистический строй. Таким образом, само существование Советского Союза является для них постоянным напоминанием о непрочности их бытия, постоянным укором двусмысленности их собственного поведения. Существование Советского Союза служит для них отрадным доказательством того, что в мире разум еще не уничтожен; в остальном же они его не любят, скорее — ненавидят.

Желанный «террор»

По этим причинам они с удовольствием, даже не признаваясь себе в этом, пользуются всяким случаем, чтобы придраться к Советскому Союзу. «Загадочность» троцкистских процессов дала им желанный повод поиронизировать над Советским Союзом и заклеймить в блестящих статьях мнимый произвол суда. «Террор», обнаружившийся в Советском Союзе, доказал им, к их вящему удовольствию, что Союз в основном не отличается от фашистских государств и что, таким образом, они поступали правильно, не поддакивая Союзу. Этот «террор» оправдал их нерешительность и вялость в глазах их собственной совести. «Деспотизм» Советского Союза явился для них желанным плащом, под которым они скрыли свою духовную наготу.

Никакой неожиданности

В Советском Союзе это никого не удивило. Впечатление, произведенное процессом Зиновьева, не испугало советскую юстицию, и она не побоялась назначить второй троцкистский процесс. Польза, которую мог принести во внутриполитическом отношении этот процесс, эта публичная чистка собственного дома накануне войны, с избытком возмещала возможное снижение морального престижа Советского Союза в глазах неавторитетных иностранных критиков.

Реально-политическое мышление

Никаких иллюзий насчет умонастроений за границей Советский Союз себе не строит. Советские люди утверждают, что только Красная Армия оберегала до сих пор мир от взрыва великой фашистской войны и тем спасла цивилизацию от нашествия варваров. Только благодаря советскому вооружению, только благодаря существованию этой Красной Армии и — советские люди это прекрасно знают — только вследствие своей собственной слабости так называемые демократии заключали с СССР союзы. Они заключали эти союзы неохотно, и теперь, когда руководителям демократий, наконец, удалось своей болтовней убедить парламент и общественное мнение в необходимости собственного вооружения, они еще меньше, чем прежде, стараются скрывать свои антипатии к Советскому Союзу. Советские граждане — реальные политики, которых нисколько не удивила реакция заграницы, вызванная процессом.

«Радек под пыткой»

В своем заключительном слове Радек говорил о том, как он в продолжение двух с половиной месяцев заставлял вытягивать из себя каждое слово признания и как трудно следователю пришлось с ним. «Не меня пытал следователь, — сказал он, — а я его». Некоторые крупные английские газеты поместили это заявление Радека под крупным заголовком — «Радек под пыткой». Полагаю, что я был единственным человеком в Москве, которого удивили такого рода корреспонденции.

Моралисты

В общем, я считаю поведение многих западных интеллигентов в отношении Советского Союза близоруким и недостойным. Они не видят всемирно-исторических успехов, достигнутых Советским Союзом; они не хотят понять, что историю в перчатках делать нельзя. Они являются со своими абсолютными масштабами и хотят вымерить с точностью до одного миллиметра существующие в Советском Союзе пределы свободы и демократии. Как бы разумны и гуманны ни были цели Советского Союза, эти западные интеллигенты крайне строги, критикуя средства, которые применяет Советский Союз. Для них в данном случае не цель облагораживает средства, а средства оскверняют цель.

Гуманность только при помощи пушек

Мне это понятно. Я сам в юности принадлежал к этому типу интеллигентов, провозглашавших принцип абсолютного пацифизма, интегрального отрицания насилия. Во время войны мне пришлось переучиваться. Уже в период войны я написал пьесу «Уоррен Хастингс», в которой изобразил процесс, в свое время так же взбудораживший мир, как ныне московский процесс троцкистов. Но этот процесс вел английский генерал-губернатор Уоррен Хастингс, один из основателей английского господства в Индии и один из проводников западной цивилизации в этой стране. Он считал эту деятельность прогрессивной, и мы, рассматривая ее в историческом разрезе, пожалуй, согласимся с ним. Уоррен Хастингс приходит к заключению, что «гуманность можно привить человеческому роду только посредством пушек», и, обращаясь к людям, принуждающим его своими гуманными принципами к менее гуманным, чем ему хотелось бы, действиям, он говорит: «Двадцать два года я был свидетелем того, как легкое дрожание руки, вызванное человеколюбием, опустошало весь край. Вы, мои человеколюбивые господа, этого не знаете, но именно вы вынуждаете меня к нечеловечности».

Réflexion sur la violence*

Мне кажется, что каждому из нас во время войны и после нее пришлось по многим различным мотивам пересмотреть свое отношение к отказу от насилия и серьезно подумать над вопросом о насилии. Если такие «réflexion sur la violence», предназначенные для того, чтобы оправдать Ленина, используются также и Муссолини для своего оправдания, — Гитлер едва ли слышал когда-нибудь имя Жоржа Сореля, — то от этого они нисколько не теряют в своей правильности. Существует разница между грабителем, стреляющим в прохожего, и полицейским, стреляющим в грабителя.

* Размышления о насилии. — Ред.

Проблема для писателя, обладающего чувством ответственности

Выражаясь грубо и просто, в данное время перед каждым писателем, обладающим некоторым чувством ответственности, эта проблема ставится следующим образом: поскольку без внесения временных изменений в то, что ныне называют демократией, социалистическое хозяйство построено быть не может, — решай, что ты предпочитаешь: или чтобы широкие массы имели меньше мяса, хлеба и масла, а ты зато бóльшую свободу слова, или чтобы у тебя было меньше свободы слова, а у широких масс — зато больше хлеба, мяса и масла?

Для писателя, сознающего свою ответственность, это нелегкая проблема.

Латынь Шекспира

Критиковать Советский Союз не трудно, тем более что хулителям это доставляет благосклонное признание. В Советском Союзе есть неполадки внешнего и внутреннего порядка; их легко обнаружить, их не скрывают, и верно, что для иностранца, прибывшего из Европы, жизнь в Москве пока еще отнюдь не является приятной. Однако тот, кто подчеркивает недостатки Союза, а о великом, которое можно видеть там, пишет в подстрочном примечании, тот свидетельствует больше против себя, чем против Союза. Он подобен критику, который в гениальной поэме замечает прежде всего неправильно расставленные запятые. В первой немецкой заметке о Шекспире было написано: «Мало смыслил в латыни и не знал греческого».

Долой неравенство, долой равенство

В основном все возражения западных интеллигентов против Советского Союза сводятся к двум соображениям эстетического и морального порядка: моральное скорбит, что несоответствие доходов неизбежно должно породить новые классы, эстетическое печалится по поводу того, что руководство Советов идет по пути обезличения индивидуальностей и тем самым к серой уравниловке. Таким образом, эстетическая точка зрения порицает как раз обратное тому, что осуждает точка зрения моральная.

Крупинка правды

Однако в обоих этих возражениях заключается небольшая крупинка правды. Если эти апостолы равенства утверждают, что у более высокооплачиваемых рабочих, крестьян и служащих развивается известное мелкобуржуазное мышление, весьма отличное от того пролетарского героизма, на который претендуют наши моралисты, предпринимая путешествие в Советский Союз, то сказать, что они абсолютно неправы, нельзя. Апостолы неравенства, в свою очередь, боятся, что общность мнений приведет к известному нивелированию личности, так что к концу осуществления социализма Советский Союз превратится в не что иное, как в гигантское государство, состоящее сплошь из посредственностей и мелких буржуа. Это опасение тоже не совсем лишено основания. Дело в том, что когда общество достигает определенной экономической переходной стадии, а именно, когда оно от крайней скудости переходит к зачаткам благосостояния, в нем волей-неволей проявляются характерные для мелкобуржуазного общества особенности. При этом повышение духовного уровня на первой стадии развития дает такие же результаты, как повышение материального благополучия, — оно приводит к известному однообразию мнений и вкусов. Я уже указывал на то, что основы всех наук не могут быть иначе выражены, как только в одинаковых формах и формулировках, поэтому избегнуть «конформизма» в начальной стадии преподавания невозможно. Однако не представляет сомнений, что мелкобуржуазное мышление будет так же быстро исчезать с возрастающим благосостоянием, как пресловутый конформизм с ростом образования.

Гете и хулители

Подводя итог сказанному, становится ясно, что Советский Союз таит в себе еще много неразрешенных проблем. Но то, что сказал Гете о человеческом существе, может быть вполне приложимо к государственному организму: «Значительное явление всегда пленяет нас; познав его достоинства, мы оставляем без внимания то, что кажется нам в нем сомнительным».

Нездоровая атмосфера западной цивилизации

Воздух, которым дышат на Западе, — это нездоровый, отработанный воздух. У западной цивилизации не осталось больше ни ясности, ни решительности. Там не осмеливаются защищаться кулаком или хотя бы крепким словом от наступающего варварства, там это делают робко, с неопределенными жестами; там выступления ответственных лиц против фашизма подаются в засахаренном виде, с массой оговорок. Кто не испытал отвращения при виде того, с каким лицемерием и трусостью реагируют ответственные лица на нападение фашистов на Испанскую республику?

Вавилонская башня

Когда из этой гнетущей атмосферы изолгавшейся демократии и лицемерной гуманности попадаешь в чистый воздух Советского Союза, дышать становится легко. Здесь не прячутся за мистически-пышными фразами, здесь господствует разумная этика, действительно «more geometrico constructa»*, и только этим этическим разумом определяется план, по которому строится Союз. Таким образом, и метод, по которому они там строят, и материал, который они для этой стройки употребляют, абсолютно новы. Но время экспериментирования осталось у них уже позади. Еще кругом рассыпан мусор и грязные балки, но над ними уже отчетливо и ясно высятся контуры могучего здания. Это настоящая вавилонская башня, но башня, приближающая не людей к небу, а небо к людям. И счастье благоприятствует их работе: люди, строящие ее, не смешали своих языков. они хорошо понимают друг друга.

Да, да, да!

Как приятно после несовершенства Запада увидеть такое произведение, которому от всей души можно сказать: да, да, да! И так как я считал непорядочным прятать это «да» в своей груди, я и написал эту книгу.

* Построенная по правилам геометрии. — Ред.

ПРЕДЛАГАЮТ НАШИ КОЛЛЕГИ: «АГНИ-ЙОГА»

Молодой (ему нет еще и четырех лет) журнал «Трезвость и культура», помимо трезвеннической тематики, дает читателям всех возрастов и разнообразных интересов пищу для размышлений, увлечений и развлечений. Это разговор о проблемах любви и одиночества, рассказы о различных оздоровительных системах, сказки для малышей, советы умельцам и многое другое.

Журнал порадовал сотни тысяч своих подписчиков открытием новых имен в советской литературе. На страницах издания читатели впервые познакомились с талантливыми произведениями Геннадия Головина «День рождения покойника», Венедикта Ерофеева «Москва — Петушки», строителя Альберта Смирнова «За все заплачено». Обильную читательскую почту вызвала повесть Джуны Давиташвили «Слушаю свои руки».

В ближайшее время читателей ждет еще один приятный сюрприз. Это книга «Община», изданная великим русским художником и философом Н. К. Рерихом при участии Е. И. Рерих в 1927 году в Улан-Баторе. «Община» — это часть многотомной «Агни-Йоги» («Огненной Йоги»), или «Живой этики», это сплав духовной культуры Востока и Запада. Одна из задач «Агни-Йоги» — поднять сознание человека на качественно новый уровень мышления, найти «объединяющие знаки» между древнейшими традициями Вед и формулами Эйнштейна. На родине Рерихов книга публикуется впервые. Сегодня ее нет даже в фондах Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина.

Раритет будет печататься, начиная с октября этого года и в течение 1990 года. Обладателями уникального издания станут лишь подписчики «Трезвости и культуры»; к сожалению, в киосках «Союзпечати» журнал не продается.

М. СЕРГЕЕВ

СВЯТОСЛАВ РЫБАС

ВОЗВРАЩЕНИЕ

ПАМЯТИ ГЕРОЯ



14 августа 1914 года, ровно семьдесят пять лет назад, началась первая мировая война. Война, к которой все чаще обращаются современные историки и писатели, пытаясь понять смысл последующих трагических событий, последующих жертв XX столетия, счет которым — миллионы — начался тогда, в августе 1914-го.

Одна из самых драматичных фигур той войны — генерал от кавалерии Александр Васильевич Самсонов, погибший в самом начале боевых действий во время Восточно-Прусской операции, когда возглавляемая им армия совершила подвиг самопожертвования ради отвлечения прорвавшихся к столице союзной Франции германских войск. Первые блестящие победы и первое сокрушительное поражение — все это связано с именем генерала Самсонова. И строки из современных энциклопедий «покончил жизнь самоубийством» — это тоже о нем.

Для понимания судьбы генерала Самсонова можно вспомнить слова историка С. М. Соловьева о том, что взаимоотношения личности и государства в России чаще всего осуществлялись через жертву. Генерал Самсонов — одна из таких исторических жертв.

Изучая архивные документы, воспоминания очевидцев и военные исследования, писатель Святослав Рыбас написал историческую повесть «Жертва», отдельное издание которой выйдет в 1990 году в издательстве «Молодая гвардия». Среди героев повести — вдова генерала, имя которой не значится в военных реляциях и в военной истории. Тем не менее именно она — сестра милосердия Екатерина Александровна Самсонова — совершила подвиг любви и жертвенности, который тоже является достоянием истории. Если, конечно, мы будем искать в истории не только злодеяния и преступления, но и то, что во все времена и эпохи противостояло злодеяниям и преступлениям.

Это тоже — правда истории.

К августу пятнадцатого года, годовщине восточно-прусской трагедии, русская армия отступала. Немцы штурмовали крепости Новогеоргиевск и Осовец. На западном фронте наступило затишье. Англичане со страшными потерями высаживали десант на полуострове Галлиполи, на берегу Дарданелл (говорили, что первоначально десант планировалось провести вместе с русскими, но потом «владычица морей» решила вести дело сама, чтобы не упустить проливов). Италия объявила войну Турции. В Турции шли гонения армян, младотурецкое правительство приговорило к смертной казни через повешение двадцать членов армянской социалистической партии, обвинив их в сборе средств для независимой Армении.

Газеты пестрели траурными известиями с фронта. «Русское слово» сообщало о размещении тысячи раненых в Зимнем дворце, в парадных залах, выходящих на Неву — Николаевском с Военной галереей, аванзале, Гербовом, Георгиевском. Вот куда подступала война.

Екатерина Александровна натолкнулась на два объявления о пленных. Надежд не было. И все же ее затрясло.

«Капитан Хэтчисон, пропавший без вести в августе месяце при отступлении от Монса, по частным сведениям от 14 ноября 1914 года находится в плену. Возвратившихся из плена, имеющих сведения о нем, покорнейше просим уведомить — Еджертон Губбарт и компания. Николаевская набережная, д. 37. Петроград».

Неведомый Хэтчисон был связан с Александром Васильевичем, сражаясь во Франции. Судьба спасла его! Судьба спасла и многих русских. Кто-нибудь из них мог же знать о Самсонове!

«Нас просят сообщить, что находящиеся в плену в Германии нижние чины 3-й гвардейской артиллерийской бригады очень нуждаются в одежде, белье и табаке. Посылки можно адресовать: Дейчланд, Циккау, Гросс-Парич, 6, Гефандененлагер, на имя военнопленного И. Баклисского».

Третья бригада, объяснили Екатерине Александровне, — это из самсоновской армии.

Екатерина Александровна была потрясена, когда в елисаветградскую общину Красного Креста пришла телеграмма с грифом «По обстоятельствам военного времени», которой предлагалось командировать в Петроград для осмотра лагерей военнопленных в Германии сестру милосердия Самсонову. Господи, среди великих страданий человеческих провидение выбирало ее, чтобы она могла исполнить свой долг жены! Екатерина Александровна почему-то представила, что ей придется переходить через передовые позиции, где ради ее миссии временно прекратятся военные действия. Потом она высчитала, что ее путь должен лежать через Швецию и Данию, то есть все будет по-другому, и она не увидит окопов.

Она увидела иное, то, что не могло пригрезиться русским сестрам, попечительнице Житомирской общины сестер милосердия Орженевской, старшей сестре Петроградской общины сестер милосердия имени святого Георгия Казем-Бек и Самсоновой. В Копенгагене присоединились трое делегатов датского Красного Креста, все — командоры ордена Даннеберг: Хениус, фон Шлет и Твермос, пожилые господа. Датчане держались просто, как умудренные жизнью крестьяне.

Казалось, их ничто не может глубоко задеть, во всяком случае, они не обнаружили большого сочувствия Екатерине Александровне, когда узнали, кто она. От их равнодушия ей стало досадно, будто ею пренебрегли.

Потом, после посещения первого солдатского лагеря, господин Эрик Хениус сказал ей, что передал германцам свою личную просьбу найти генерала Самсонова, и ему ответили, что такого генерала в числе военнопленных нет, есть другие — Клюев, Мартос, и что можно посетить их лагерь.

Екатерина Александровна видела, что датчанин по-прежнему не выражает сочувствия и действует из долга. Но это было не то, что владело ею, не такое чувство долга, даже вовсе не чувство!

Она обследовала лагерь за лагерем, погружаясь в неведомую русскую жизнь.

Одна грань этой жизни прочно сняла над германскими черепичными крышами, поражая ужасом и силой страдания.

Екатерина Александровна искала реальные отпечатки этой грани, но солдаты не заявляли претензий на немецких комендантов, следов жестокости не было.

Но русским сестрам была известна страшная история, случившаяся в каком-то лагере. Ее рассказал датчанам некий поляк, плававший матросом на датском пароходе и интернированный в начале войны. То, что история случилась в прошлом году, может быть, объясняло ее ожесточение, во всяком случае в нынешних лагерях делегация не встретила ничего подобного.

По словам поляка и в передаче датчан все выглядело так.

Однажды в лагерь были приведены четыре казака в шароварах с лампасами красного цвета. Их вывели во дворик, поставили шагах в двух от стены барака, и через щель в стене поляку все было видно. У первого казака положили правую руку на маленькую чурку и штыком-ножом отрубили по половине пальцев — большого, среднего и мизинца, сделав из кисти какую-то рогульку. Обрубки отлетали и падали на землю, а немецкие солдаты их подбирали и складывали казаку в карман. Потом увели в барак. Второму казаку отрубили уши. Третьему ударом штыка сверху вниз отсекли кончик носа, который повис на кусочке кожи. Казак знаками попросил, чтобы они отрезали повисший кусок, и тогда ему дали перочинный ножик, и несчастный горемыка сам отрезал собственный нос.

Про эти ужасы невозможно было слушать. Орженевская закрыла уши. Но Хениус поднял кверху палец и сказал, что они обязаны знать, а там пусть судят, как хотят.

Привели четвертого казака, — продолжал Хениус. Что хотели с ним сделать, неизвестно. Он выхватил штык и ударил одного германца и стал драться со всеми остальными пятнадцатью солдатами. И они его закололи штыками...

— Я думаю, это правда, — заключил Хениус. — Когда я был датским консулом в Одессе, я узнал русский характер. Вы очень своевольны.

— Он должен был терпеть? — спросила Казем-Бек с аристократической горделивой простотой.

— Но чего он добился? — тоже спросил ее Хениус. — Надо было подчиниться судьбе.

Впрочем, больше таких историй они не слышали, хотя читали в глазах военнопленных горький упрек. «Вы все равно уедете, а нам оставаться, — так понимала их Екатерина Александровна. — Мы не можем всего рассказывать!»

Здесь были иные правила, иные законы управления и спасали людей.

Лагерь Данциг-Тройль встретил делегацию Красного Креста духовым оркестром, исполнявшим «На сопках Маньчжурии». Сестры остановились как вкопанные. Они помнили эти слова: «Плачет, плачет мать родная; плачет молодая жена...» Хотя играли одну музыку, скорбная молитва песни звучала в сердце.

Серые бараки тянулись унылыми рядами, словно застывшая тоска. Над церковным бараком возвышался крест, и сестры перекрестились, утешаясь видом православного символа.

Тучный комендант с бисмарковскими усами показывал лагерь — бараки, лазарет, отхожие места, читальню, переплетную, сапожную мастерскую — и, показывая, давал понять, что ставит немецкую культуру выше всех.

Впоследствии Екатерина Александровна повидала другие лагеря, и везде, на Лебе, в Бютоке, Гаммерштейне, Черске, Тухале, Арисе, Гайльберте, Прейсиш-Голланде, она сталкивалась с двумя культурами, комендантской и российской, которые существовали сами по себе. Она заходила и комнаты лагерных комитетов взаимопомощи, где кто-то, то ли солдат, то ли унтер-офицер, то ли вольноопределяющийся, каждый раз обещал разыскать кого-нибудь из второй армии, и каждый раз Екатерина Александровна испытывала чувство горечи и вины за то, что пережили эти люди. Но постепенно вырисовывалась картина, отодвигающая страдания отдельного человека на второй план. В том числе и ее страдания.

Екатерину Александровну просили прислать книги для читален, ноты для оркестров, пьесы для драматических кружков, учебники для школ (были в лагерях и подростки), и хотя не везде были школы и оркестры, зато везде были комитеты взаимопомощи, и они отвергали важную жизненную опору, без которой Екатерина Александровна не мыслила человеческого существования. Им не нужно было геройство, они его презирали.

Еще в первом лагере комендант сказал, что главное уже сделано немецкими руками: немцы заставили пленных думать к заботиться о себе; это всегда было свойственно Германии по отношению к России.

Екатерина Александровна возразила, приведя для примера успехи русских в Средней Азии, где обаяние русского имени творило добро.

За комитетами взаимопомощи стояла традиция новгородского веча и крестьянской общины, не чуждая Екатерине Александровне, ибо она выросла в Акимовке, бок о бок с крестьянским миром, но все-таки не главная, не государственная. А сейчас взаимопомощь заменяла им родину! Они сами производили свою простонародную государственность.

В солдатских лагерях Екатерина Александровна узнала, что случилось с армией мужа, узнала о маршах по песчаным дорогам, последних сухарях, «чемоданах», боях и окружении. Только об Александре Васильевиче ничего не узнала.

Она хотела поехать в крепость Кенигштейн, где содержался генерал Клюев.

Хениус сказал ей, что найдена могила Самсонова, возле Вилленберга, близ какой-то фермы, и что лучше поехать туда. А Кенигштейн — не по пути, далеко.

Она видела будто наяву — ночной лес, перекопанные, заваленные деревьями дороги и лезущих, как муравьи, солдат, вытаскивающих на руках пушки; ночную тьму резали прожектора, били пулеметы, но муравьи лезли, лезли, в штыки, из последних сил, две ночи не спали, три ночи не ели...

Датчане сказали о Клюеве, что нельзя его осуждать за сдачу в плен, потому что даже рыцари в безнадежных случаях ломали шпаги и отдавали их неприятелю.

— А ее муж застрелился! — гневно возразила Казем-Бек.

— Разве он этим принес пользу своей стране? — спросил Хениус. — Вы, русские, порой бесчувственны к смерти.

— Вы плохо знаете русских! — сказала Казем-бек.

— Я много лет жил у вас, — возразил Хениус. — Я уважаю Россию, но есть вещи непонятные...

— Тогда не судите о них! — заключила Казем-Бек. — Теперь Клюев с его рыцарством навеки опозорил себя, а генерал Самсонов умер героем.

За прахом Самсонова поехала одна Екатерина Александровна в сопровождении пожилого немецкого майора, сухого службиста с огромной старинной саблей. Орженевская и Казем-Бек обследовали большой, недавно выстроенный лагерь в Прейсиш-Голланде и благословили ее.

Она проехала через Дейч-Эйлау, Монтово, Сольдау, Найденбург, Мушкан, видела удлиненные, еще не разобранные платформы, предназначенные для выгрузки пехоты из вагонов, видела сломанные перила и стены вокзалов, посеченные щербинами; разговаривала с лютеранским пастором, поведавшим ей, что он был в Найденбурге в те страшные дни и знает, что один немец бросил камнем в казака и был застрелен, но это был единственный немец, который погиб при русских; майор спорил с пастором, говорил о жестокостях русских, но священник отвечал, что берлинские газеты врали... Майор хотел втянуть Екатерину Александровну в спор о немцах и русских, но она не захотела и, сложив руки на коленях, опустила повязанную серой сестринской косынкой голову.

— Вы русская? — спросил с сочувствием пастор.

Она не ответила.

— Мы едем выкапывать тело ее мужа, — сказал майор. — Генерал Самсонов. Возможно, слышали?

— Нет, не слышал, — вздохнул пастор, выражая сочувствие вдове убитого. — Вы повезете его на родину, госпожа?

— Да, на родину, — вымолвила Екатерина Александровна. — У него есть родина, есть дети. Он вернется к себе.

— Это правильно, — согласился пастор.

Она подняла голову и вгляделась в неразличаемое прежде лицо, которое минуту назад как бы заслонялось черной сутаной. Это было обыкновенное скуластое простонародное лицо с курносым носом и карими круглыми глазами, оно не выражало ни глубокой мудрости, ни горячего сострадания, но в нем было понимание.

— Скорбные могилы воспитывают воинов, — буркнул майор. — Я считаю, что нельзя отдавать даже могилы... У меня три сына погибли, я даже не знаю, где они лежат.

— Вас объединяет скорбь, — сказал пастор. — То, что предстоит этой госпоже, заставляет сжаться любое ожесточенное сердце.

В Найденбурге священник простился, и они поехали дальше, каждый со своим горем, как с тяжелой старинной саблей.

В Вилленберге, маленьком чистом городе с узкими домами, Екатерине Александровне вернули медальон мужа и сказали, что могила — в двух верстах от фольварка Каролиненхоф.

Она взяла потускневший медальон, прочитала выгравированную надпись «Помни о нас» и под взглядами майора и вилленбергского ландрата почувствовала упрек покойнику. Вот уж совсем рядом был Александр Васильевич, и ей полагалось скорбеть, но скорби не было, Екатерина Александровна закаменела.

Ночью в холодном номере гостиницы, где еще не топили печь, она вспоминала свою жизнь с Самсоновым и удивлялась тому, как мало времени он уделял ей и детям, и снова упрекала его. Вот она, девочка из Акимовки, а он — лубенский гусар в красных чикчирах и голубом доломане на могучем коне. А что дальше? «Вы замундштучили меня и полным вьюком оседлали...»

Ей привиделся яркий майский день на Николу Вешнего, казаки поют, джигитуют, и ротмистр Головко, поощряемый ее мужем, садится на разгоряченную лошадь... Все сгинуло. И тот день, и муж, и бедный Головко! Что за слепая сила, которая брала людей и бросала куда хотела?

Серым холодным утром Екатерина Александровна поехала на фольварк Каролиненхоф. Майор сидел рядом с ней в коляске и, поставив саблю между колен, сонно смотрел на темные сосны. Позади коляски ехала телега, в ней постукивал большой ящик.

— Я вчера думал о вас, фрау Самсонова, — сказал майор. — За что погибли мои сыновья? За что погиб ваш супруг? Они погибли за Отечество.

Больше он ничего не говорил.

Она глядела на лес, на облетевший березняк на опушке, чувствовала приближение тяжкой минуты, и ей казалось, что где-то неподалеку томится душа Александра Васильевича.

Ей было холодно. Уже стоял ноябрь, третье ноября. Больше двух месяцев длилась поездка Екатерины Александровны. Теперь уже близко. Третье ноября — это, кажется, день преподобного Иллариона, схимника Печерского в Дальних пещерах, Александр Васильевич мальчиком бывал в Киевской Лавре, а в день киевского святого покинет чужую землю.

— Вы хотите наблюдать, как будут раскапывать? — спросил майор.

Она сразу ответила: Да, — и ей сделалось страшно.

Майор вздохнул, вымолвив:

— Ну хорошо.

Она почувствовала, что этот мрачный немец как будто жалеет ее.

— Я должна увидеть его, — объяснила Екатерина Александровна.

— Хорошо, — повторил майор. — Я понимаю.

В Каролиненхофе он взял русских военнопленных с лопатами, одного большого носатого рыжебородого по фамилии Токарев, второго — невысокого жилистого по фамилии Байков. — Оба из самсоновской армии, в плену с августа прошлого года. Но генерала Самсонова они никогда не видели.

Поехали по лесной дороге, и ехали версты две, пока не остановились возле холмика, сильно засыпанного желто-коричневыми листьями.

Екатерина Александровна отгребла листья, посмотрела на солдат и велела копать.

Невысокий солдат легким подсекающим движением снял первую лопату песчаной земли, вдруг остановился и сказал Екатерине Александровне:

— Загнали нас сюда!.. Должно быть, он самый ретивый был. А что теперь?

— Бог всех рассудит, — спокойно произнес большой солдат. — Подвинься. Наше дело простое.

— О чем они говорят? — спросил майор. — У них претензии?

— Они говорят о бренности нашей жизни и Боге, — ответила Екатерина Александровна.

— О Боге я тоже думаю, — сказал он.

Солдаты быстро копали, яма углублялась, притягивала жутким ожиданием. Они опустились в нее сперва по колено, потом по пояс, и приблизилась минута, когда тело Самсонова должно было выйти из покоя.

Лопата стукнулась о гроб.

Вид Александра Васильевича был страшен. Но это был он, а не кто-то другой. Екатерина Александровна нашла его.

Она закрыла глаза руками, отвернулась и заплакала, тихо причитая, выговаривая запавшие с детства в душу слова прощания:

— Сашенька ты мой дорогой, что же это ты с собой сделал, на кого ты нас оставил...

Вся ее окаменелость распалась, война остановилась, русские солдаты и немецкий майор глядели на женщину с одинаковой скорбью.

Потом тело положили в обитый железом ящик, и Екатерина Александровна повезла его домой.

В конце ноября Александра Васильевича похоронили в родной земле, на погосте Акимовской церкви, и родина приняла его, своего героя и свою жертву, как всегда принимала тьмы своих сынов, которые ничего не ведали ни о геройстве, ни о жертве.

ИВАН БУНИН

ОКАЯННЫЕ ДНИ

Волошин рассказывал, что председатель одесской чрезвычайки Северный (сын одесского доктора Юзефовича) говорил ему:

— Простить себе не могу, что упустил Колчака, который был у меня однажды в руках!

Более оскорбительного я за всю мою жизнь не слыхал.

Дыбенко... Чехов однажды сказал мне:

— Вот чудесная фамилия для матроса: Кошкодавленко.

Дыбенко стоит Кошкодавленки.

О Коллонтай (рассказывал вчера Н. Н.):

— Я ее знаю очень хорошо. Была когда-то похожа на ангела. С утра надевала самое простенькое платьице и скакала в рабочие трущобы — «на работу». А воротясь домой, брала ванну, надевала голубенькую рубашечку — и шмыг с коробкой конфет в кровать к подруге: «Ну давай, дружок, поболтаем теперь всласть!»

Судебная и психиатрическая медицина давно знает и этот (ангелоподобный) тип среди прирожденных преступниц и проституток.

Из «Известий»:

— Крестьяне говорят: дайте нам коммуну, *лишь бы избавь*-*те* нас от кадетов...

У дверей «Политуправления» стоит огромный плакат. Краснокожая баба, с бешеным дикарским рылом, с яростно оскаленными зубами, с разбегу всадила вилы в зад убегающего генерала. Из зада хлещет кровь. Подпись:

— *Не зарись*, Деникин, на чужую землю!

«Не зарись» должно обозначать «не зарься».

По приказу самого Архангела Михаила никогда не приму большевистского правописания. Уж хотя бы по одному тому, что никогда человеческая рука не писала ничего подобного тому, что пишется теперь по этому правописанию.

Подумать только: надо еще *объяснять* то тому, то другому, почему именно не пойду я служить в какой-нибудь Пролеткульт! Надо еще *доказывать*, что нельзя сидеть рядом с чрезвычайкой, где чуть не каждый час кому-нибудь проламывают голову, и просвещать насчет «Последних достижений в инструментовке стиха» какую-нибудь хряпу с мокрыми от пота руками! Да порази ее проказа до семьдесят седьмого колена, если она даже и «антиресуется» стихами!

Вообще, теперь самое страшное, самое ужасное и позорное даже не сами ужасы и позоры, а то, что надо разъяснять их, спорить о том, хороши они или дурны. Это ли не крайний ужас, что я должен *доказывать*, например, то, что лучше тысячу раз околеть с голоду, чем обучать эту хряпу ямбам и хореям, дабы она могла воспевать, как ее сотоварищи грабят, бьют, насилуют, пакостят в церквах, вырезают ремни из офицерских спин, венчают с кобылами священников!

Кстати, об одесской чрезвычайке. Там теперь новая манера пристреливать — над клозетной чашкой.

А у «председателя» этой чрезвычайки, у Севернаго, «кристальная душа», по словам Волошина. А познакомился с ним Волошин, — всего несколько дней тому назад, — «в гостиной одной хорошенькой женщины».

Анюта говорит:

— Пригнали красноармейцев из России.

Знаю, уже некоторых видел. Нынче встретил опять одного — толстомордого, коротконогого, у которого при разговоре подымается левый угол губы. Страшный тип. Я был над спуском в порт в конце Торговой, он лежал с другим солдатом на ограде, с обезьяньей быстротой щелкал подсолнухами, исподлобья поглядывая на меня. Зачем я, несчастный, хожу туда? Смотреть на пустой рейд, на море, все тая надежду на спасение с той стороны!

Кончил воспоминания Булгакова. Толстой говорил ему:

— Курсистки, читающие Горького и Андреева, искренно верят, что не могут постигнуть их глубины... Прочел пролог к «Анатэме» — полная бессмыслица... Что у них у всех в головах, у всех этих Брюсовых, Белых?

Чехов тоже не понимал, что. На людях говорил, что «чудесно», а дома хохотал: «Ах, такие-сякие! Их бы в арестантские роты отдать!» И про Андреева: «Прочитаю две страницы — надо два часа гулять на свежем воздухе!»

Толстой говорил:

— Теперь успех в литературе достигается только глупостью и наглостью.

Он забыл помощь критиков.

Кто они, эти критики?

На врачебный консилиум зовут врачей, на юридическую консультацию — юристов, железнодорожный мост оценивают инженеры, дом — архитекторы, а вот художество — всякий, кто хочет, люди, часто совершенно противоположные по натуре всякому художеству. И слушают только их. А отзыв Толстых в грош не ставится, — отзыв как раз тех, которые прежде всего обладают огромным критическим чутьем, ибо написание каждого слова в «Войне и мире» есть в то же самое время и строжайшее взвешивание, тончайшая оценка каждого слова.

Когда совсем падаешь духом от полной безнадежности, ловишь себя на сокровенной мечте, что все-таки настанет же когда-нибудь день отмщения и общего, всечеловеческого проклятия теперешним дням. Нельзя быть без этой надежды. Да, но во что можно верить теперь, когда раскрылась такая несказанно страшная правда о человеке?

Все будет забыто и даже прославлено! И прежде всего *литература поможет*, которая что угодно исказит, как это

Продолжение. Начало в № 7.

сделало, например, с французской революцией то вреднейшее на земле племя, что называется поэтами, а котором на одного истинного святого всегда приходится десять тысяч пустосветов, выродков и шарлатанов.

Блажен, кто посетил сей мир
В его минуты роковые!

Да, мы надо всем, даже и над тем несказанным, что творится сейчас, мудрим, философствуем. Все-то у нас не веревка, а «вервие», как у того крыловского мудреца, что полетел в яму, но и в яме продолжал свою элоквенцию. Ведь вот и до сих пор спорим, например, о Блоке: впрямь его ярыги, убившие уличную девку, суть апостолы или все-таки не совсем? Михрютка, дробящий дубиной венецианское зеркало, у нас непременно гунн, скиф, и мы вполне утешаемся, наляпав на него этот ярлык.

Вообще, литературный подход к жизни просто отравил нас. Что, например, сделали мы с той громадной и разнообразнейшей жизнью, которой жила Россия последнее столетие? Разбили, разделили ее на десятилетия — двадцатые, тридцатые, сороковые, шестидесятые годы — и каждое десятилетие определили его *литературным* героем: Чацкий, Онегин, Печорин, Базаров.. Это ли не курам на смех, особенно ежели вспомнить, что героям этим было одному «осьмнадцать» лет, другому девятнадцать, а третьему, самому старшему, двадцать!

Газеты зовут в поход на Европу. Вспомнилось: осень 14-го года, собрание московских интеллигентов в Юридическом Обществе. Горький, зеленея от волнения, говорит речь:

— Я боюсь русской победы, того, что дикая Россия навалится стомиллионным брюхом на Европу!

Теперь это брюхо большевистское, и он уже не боится.

Рядом с этим есть в газетах и «предупреждение»: «В связи с полным истощением топлива, электричества скоро не будет». Итак, в один месяц все отработали: ни фабрик, ни железных дорог, ни трамваев, ни воды, ни хлеба, ни одежды — ничего!

Да, да — «вот выйдут семь коров тощих и пожрут семь тучных, но сами от того не станут тучнее».

Сейчас (одиннадцатый час, ночь) открыл окно, выглянул на улицу: луна низко, за домами, нигде ни души, и так тихо, что слышно, как где-то на мостовой грызет кость собака, — и откуда только могла она взять эту кость? Вот дожили, — даже кости дивишься!

Перечитываю «Обрыв». Длинно, но как умно, крепко. Все-таки делаю усилия, чтобы читать — так противны теперь эти Марки Волоховы. Сколько хамов пошло от этого Марка! «Что же это вы залезли в чужой сад и едите чужие яблоки?» — «А что это значит: чужой, чужие? И почему мне не есть, если хочется?» Марк истинно гениальное создание, и вот оно, изумительное дело художников; так чудесно схватывает, концентрирует и воплощает человек типическое, рассеянное а воздухе, что во сто крат усиливает его существование и влияние — и часто совершенно наперекор своей задаче. Хотел высмеять пережиток рыцарства — и сделал Дон-Кихота, и уже не от жизни, а от этого несуществующего Дон-Кихота начинают рождаться сотни живых Дон-Кихотов. Хотел казнить маркоащину — и наплодил тысячи Марков, которые плодились уже не от жизни, а от книги. — Вообще, как отделить реальное от того, что дает книга, театр, кинематограф? Очень многие живые участвовали а моей жизни и воздействовали на меня, вероятно, гораздо менее, чем герои Шекспира, Толстого. А в жизнь других входит Шерлок, а жизнь горничной — та, которую она видела в автомобиле на экране.

25 апреля.

Вчера поздно вечером, вместе с «комиссаром» нашего дома, явились измерять в длину, ширину и высоту все наши комнаты «на предмет уплотнения пролетариатом». Все комнаты всего города измеряют, проклятые обезьяны, остервенело катающие чурбан! Я не проронил ни слова, молча лежал на диване, пока мерили у меня, но так взволновался от этого нового издевательства, что сердце стукало с перерывами и больно пульсировала жила на лбу. Да, это даром для сердца не пройдет. А какое оно было здоровое и насколько бы еще меня хватило, сколько бы я мог еще сделать!

«Комиссар» нашего дома сделался «комиссаром» только потому, что моложе всех квартирантов и совсем простого звания. Принял комиссарский сан из страху; человек скромный, робкий и теперь дрожит при одном слове «революционный трибунал», бегает по всему дому, умоляя исполнять декреты, — умеют нагонять страх, ужас эти негодяи, сами всячески подчеркивают, афишируют свое зверство! А у меня совершенно ощутимая боль возле левого соска даже от одних таких слов, как «революционный трибунал». Почему комиссар, почему трибунал, а не просто суд? Все потому, что только под защитой таких священно-революционных слов можно так смело шагать по колено в крови, что, благодаря им, даже наиболее разумные и пристойные революционеры, приходящие в негодование от обычного грабежа, воровства, убийства, отлично понимающие, что надо вязать, тащить в полицию босяка, который схватил за горло прохожего в *обычное время*, от восторга захлебываются перед этим босяком, если он делает то же самое во время, называемое революционным, хотя ведь всегда имеет босяк полнейшее право сказать, что он осуществляет «гнев низов, жертв социальной несправедливости».

Когда дописывал предыдущие слова — стук в парадную дверь, через секунду превратившийся в бешеный. Отворил — опять комиссар и толпа товарищей и красноармейцев. С поспешной грубостью требуют выдать лишние матрацы. Сказал, что лишних нет, — вошли, посмотрели и ушли. И опять омертвение головы, опять сердцебиение, дрожь из отвалившихся от бешества, от обиды руках и ногах.

Внезапная музыка во дворе — бродячая немецкая гармонь, еврей в шляпе и женщина. Играют польку, — и как все странно, некстати теперь!

День солнечный, почти такой же холодный, как вчера. Облака, но небо синее, дерево во дворе уже густое, темно-зеленое, яркое.

Во дворе, когда отбирали матрацы, кухарки кричали (про нас): «Ничего, ничего, хорошо, пускай поспят на дранках, на досках!»

Был В. Катаев (молодой писатель). Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил: «За 100 тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки...»

Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году (в первый раз в жизни) не чувствовал совсем. Почувствовал, кроме того, какое-то внезапное расширение зрения — и телесного, и духовного; необыкновенную силу и ясность его. Необыкновенно коротка показалась Дерибасовская, необыкновенно близки самые дальние здания, замыкающие ее, а потом Екатерининская, закутанный тряпками памятник, дом Левашова, где теперь чрезвычайка, и море — маленькое, плоское, все как на ладони. И с какой-то живостью, ясностью, с какой-то отрешенностью, в которой уже не было ни скорби, ни ужаса, а было только какое-то веселое отчаяние, вдруг осознал уже как будто совсем до конца все, что творится в в Одессе, и во всей России.

Когда выходил из дома, слышал, как дворник говорил кому-то:

— А эти коммунисты, какие постели ограбляют, одна последняя сволочь. Его самогоном надуют, дадут папирос — он отца родного угробит!

Все так, но есть, несомненно, и помешательство. И все, что видел по пути, удивительно подтверждало это. И особенно то, на что (как нарочно) наткнулся на Пушкинской: от вокзала, навстречу мне, промчался бешеный студент с винтовкой в руках: весь полет, расширенные глаза дико воззрились вперед, куд смертельно, черты лица до неправдоподобности тонки, остры, за плечами треплются концы красного башлыка... Вообще, студентов видишь нередко: спешит куда-то, весь растерзан, в грязной ночной рубахе под старой распахнувшейся шинелью, на лохматой голове слинявший картуз, на ногах сбитые башмаки, на плече висит вниз дулом винтовка на веревке... Впрочем, черт его знает — студент ли он на самом деле.

Да хорошо и все прочее. Случается, что, например, выходит из ворот бывшей Крымской гостиницы (против чрезвычайки) отряд солдат, а по мосту идут женщины: тогда весь отряд вдруг останавливается — и с хохотом мочится, оборотясь к ним. А этот громадный плакат на чрезвычайке? Нарисованы ступени, на верхней — трон, от трона текут потоки крови. Подпись:

Мы кровью народной залитые троны
Кровью наших врагов обагрим!

А на площади, возле Думы, еще и до сих пор бьют в глаза проклятым красным цветом первомайские трибуны. А дальше высится нечто сбитое из досок, очевидно, по какому-то футуристическому рисунку, и всячески размалеванное, целый дом какой-то, суживающийся кверху, с какими-то сквозными воротами. А по Дерибасовской опять плакаты: два рабочих крутят пресс, а под прессом лежит раздавленный буржуй, изо рта которого и из зада лентами лезут золотые монеты. А толпа? Какая, прежде всего, грязь! Сколько старых, донельзя запакощенных солдатских шинелей, сколько порыжевших обмоток на ногах и сальных картузов, которыми точно улицу подметали, на вшивых головах! И какой ужас берет, как подумаешь, сколько теперь народу ходит в одежде, содранной с убитых, с трупов!

А в красноармейцах главное — распущенность. В зубах папироска, глаза мутные, наглые, картуз на затылок, на лоб падает «шевелюр». Одеты в какую-то сборную рвань. Иногда мундир 70-х годов, иногда, ни с того ни с сего, красные рейтузы и при этом пехотная шинель и громадная старозаветная сабля.

Часовые сидят у входов реквизированных домов в креслах в самых изломанных позах. Иногда сидит просто босяк, на поясе браунинг, с одного боку висит немецкий тесак, с другого кинжал.

Чтобы топить водопровод, эти «строители новой жизни» распорядились ломать знаменитую одесскую эстакаду, тот многоверстный деревянный канал в порту, по которому шла ссыпка хлеба. И сами же жалуются в «Известиях»: «эстакаду растаскивает кто попало!» Рубят, обрубают на топку и деревья — уже на многих улицах торчат в два ряда голые стволы. Красноармейцы, чтобы ставить самовары, отламывают от винтовок и колют на щепки приклады.

Возвратясь домой, пересмотрел давно валяющуюся у меня лубочную книжечку: «Библиотека трудового народа. Песни народного гнева. Одесса. 1917 г.» Да, это и тут есть:

Кровью народной залитые троны
Мы кровью наших врагов обагрим,
Месть беспощадная всем супостатам,
Смерть паразитам трудящихся масс!

Есть «Рабочая Марсельеза», «Варшавянка», «Интернационал», «Народовольческий гимн», «Красное знамя»... И все злобно, кроваво донельзя, лживо до тошноты, плоско, убого до невероятия:

— Мы пошлем всем злодеям проклятье,
На борьбу всех борцов позовем...
Вихри враждебные веют над нами..
Но мы поднимем гордо и смело
Знамя борьбы за рабочее дело...
— Мы в плуги меч перекуем
И новой жизнью заживем..

Боже мой, что это вообще было! Какое страшное противоестественное дело делалось над целыми поколениями мальчиков и девочек, долбивших Иванюкова и Маркса, возившихся с тайными типографиями, со сборами на «красный крест» и с «литературой», бесстыдно притворявшихся, что они умирают от любви к Пахомам и к Сидорам, и поминутно разжигавших в себе ненависть к помещику, к фабриканту, к обывателю, ко всем этим «кровопийцам, паукам, угнетателям, деспотам, сатрапам, мещанам, обскурантам, рыцарям тьмы и насилия»!

Да, повальное сумасшествие. Что в голове у народа? На днях шел по Елизаветинской. Сидят часовые возле подъезда реквизированного дома, играют затворами винтовок и один говорит другому:

— А Петербург весь под стеклянным потолком будет... Так что ни снег, ни дождь, ни что...

Недавно встретил на улице проф. Щепкина, «комиссара народного просвещения». Движется медленно, с идиотической тупостью глядя вперед. На плечах насквозь пропыленная тальма с громадным сальнмм пятном на спине. Шляпа тоже такая, что смотреть тошно. Грязнейший бумажный воротничок, подпирающий сзади целый вулкан, гнойный фурункул, и толстый старый галстук, выкрашенный *красной масляной краской*.

Рассказывают, что Фельдман говорил речь каким-то крестьянским «депутатам»:

— Товарищи, скоро во всем свете будет власть советов!

И вдруг голос из толпы этих депутатов:

— Сего не буде!

Фельдман яростно:

— Это почему?

— Жидив не хвате!

Ничего, не беспокойтесь: хватит Щепкиных.

26 апреля.

Проснулся в шесть, от сердцебиения.

Идя за газетами, слышал проклятия какой-то бабы: в корзине у нее небольшая рыба — 80 рублей!

В газетах из Москвы: погрузка дров на всех ж.-д. упала на 50 процентов.. Наркомпрос решил реставрировать памятники искусства... Индия охвачена большевизмом...

«Известия» завели почтовый ящик:

— Гражданину Губерману. Так война с колчаковской и деникинской сволочью, по-вашему, братоубийственная?

— Товарищу А. Хвалы России, хотя бы и советской, не имеют ничего общего с марксистским подходом к вопросу.

— Гражданке Гликман. Вы все еще не уяснили себе, что тот строй, при котором за деньги можно иметь все, но без денег погибать с голоду, навсегда отжил свой век?

Ходили на Николаевский бульвар. Весенние белые облака, огромная и ясная картина — пустой рейд, прелестные краски дальних берегов, крепкая синяя зыбь моря... Встретили Осиповича и Юшкевича. Опять все то же: делают безразличное лицо и быстро, вполголоса: «Тирасполь взят немцами и румынами, — теперь это уже факт. Взят и Петербург..»

В три часа вошла с испуганным лицом Анюта:

— Правда, что немцы входят в Одессу? Весь народ говорит, будто всю Одессу окружили. Они сами завели большевиков, теперь им приказали их уничтожить и за это на 15 лет отдают им нас. Вот бы хорошо!

Что такое? Вероятно, дикий вздор, но все-таки взволновался до дрожи и холода рук. Чтобы успокоиться, стал читать рукопись Овсянико-Куликовского, его воспоминания о Драгоманове, Зибере, П. Лаврове. Все дивные люди, как всегда у Куликовского. Пишет: «Творец из лучшего эфира создал живые души их..» О Господи! И это на старости лет!

Потом читал Ренана. «L'homme fut des milliers d'années un fou, après avoir été des milliers d'années un animal».

27 апреля.

«Известия»: «Контр-революционеры сидят и думают великую думу, как бм запутать пролетариев коммунистов.. узкие лбы их покрылись морщинами, рты раскрылись, из-под толстых отвислых губ этих Федул Федулычей желтеют зубы... Комики, ей Богу, или просто жулье кабацкое, шантажное...»

В «Голосе Красноармейца» жирно:

«Тов. Подвойский отдал приказ о наступлении на Румынию... Румынские разбойники со своим кровавым королем схватили за горло молодую советскую республику Венгрии, чтобы потушить революцию, охватившую всю Европу».

Резолюция из Вознесенска:

«Мы, красноармейцы-вознесенцы, борясь за освобождение всего мира, протестуем против наглого антисемитизма!»

В Киеве «приступлено к уничтожению памятника Александру Второму». Знакомое занятие. Ведь еще с марта 17 года начали сдирать орлы, гербы..

Опять слух, что Петербург взят, Будапешт тоже. Для слухов выработались уже трафаретные приемы: «Приехал один знакомый моего знакомого...»

Продолжение следует.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ДНЕВНИК НИКОЛАЯ II

2-го ноября. Четверг. [1917 г.]

Сразу в ночь хватил мороз, дошедший к утру до 11°. День был солнечный и с северным ветром. Гуляли, как всегда; днем перетаскивали дрова. Вечером Ольга получила скромные подарки.

3-го ноября. Пятница.

Дорогой Ольге минуло 22 года; жаль, что ей, бедной, пришлось провести день своего рождения при нынешней обстановке. В 12 час. у нас был молебен. Погода стала снова мягкая. Пилил дрова. Начал новую интересную книгу «The clusive Pimpernel».

4-го ноября. Суббота.

Утром был обрадован письмом от Ксении. Выпало много снега, очищал от него место для прогулки, а днем переносили дрова в сарайчик.

Уже два дня не приходят агентские телеграммы, — должно быть, неважные события происходят в больших городах! В 9 час. была всенощная.

5-го ноября. Воскресенье.

С полной темнотой пошли к обедне. Написал письмо Ксении. Утром шел дождь. Днем переносили дрова. Отдыхал перед обедом.

6-го ноября. Понедельник.

Гусарский праздник. Начал новую книгу того же автора «Fire in stubble». Утром шел снег и таяло до 8 час. вечера, потом сильно задуло, и после обеда сделалось 13° мороза при весьма низком барометре — 735.

7-го ноября. Вторник.

Простоял солнечный день при 14—15° мороза. Днем до чая занимался с Алексеем рус[ской] историей. Вечером во время безика читал вслух рассказы Беломора.

8-го ноября. Среда.

Хороший морозный день. Утром было 14°, а к вечеру 17° мороза. Гуляли и переносили дрова.

9-го ноября. Четверг.

Утром от 10 час. был урок с Алексеем. Днем перенесли все дрова в сарайчик и наполнили его вплотную. Погода стала мягче. Начал читать «Quatre-vingt-treize» V. Hugo.

10-го ноября. Пятница.

Снова теплый день — дошло до нуля. Днем пилил дрова. Кончил первый том «1793» V. H. Вечером читал вслух Тургенева «Записки охотника».

11-го ноября. Суббота.

Выпало много снега. Давно газет уже никаких из Петрограда не приходило; также и телеграмм. В такое тяжелое время это жутко. Дочки возились на качелях и соскакивали с них в кучу снега. В 9 час. была всенощная.

12-го ноября. Воскресенье.

В $8^1/_2$ час. пошли к обедне.

Долго гуляли, день был не холодный. Начал «Всеобщую историю» Иегера.

13-го ноября. Понедельник.

Оттепель была сильная — 3°: и это — в Сибири!

Наконец, появились телеграммы из армии, но не из Петрограда.

Окончание. Начало в № 7.

14-го ноября. Вторник.

День рождения дорогой мамá и 23-я годовщина нашей свадьбы! В 12 час. был отслужен молебен; певчие путали и сбивались, — должно быть, не делали спевки. Погода была солнечная, теплая и с порывистым ветром. За дневным чаем я перечитываю свои прежние дневники — приятное занятие.

15-го ноября. Среда.

День был морозный и солнечный, на дворе стало скользко невероятно. Гуляли долго, пилил дрова.

16-го ноября. Четверг.

Целые сутки была буря и почти без мороза. Утром имел урок с Алексеем.

17-го ноября. Пятница.

Такая же неприятная погода с пронизывающим ветром.

Тошно читать описания в газетах того, что произошло две недели тому назад в Петрограде и в Москве!

Гораздо хуже и позорнее событий Смутного времени.

18-го ноября. Суббота.

Получилось невероятнейшее известие о том, что какие-то трое парламентеров нашей 5-й армии ездили к германцам впереди Двинска и подписали предварительные с ними условия перемирия!

19-го ноября. Воскресенье.

В $8^1/_2$ час. пошли к обедне, дорога была очень скользкая. Утро стояло солнечное, потом заволокло. Днем вносил дрова в сарайчик. Вечером, как всегда, безик.

20-го ноября. Понедельник.

Мороз усилился, и день простоял ясный. У стрелков было брожение из-за неполучения суточных за три месяца из Петрограда, быстро приведенное к концу временным позаимствованием нужной суммы в банке. Днем работал с дровами. В 9 час. была отслужена всенощная.

21-го ноября. Вторник.

Праздник введения во храм пришлось провести без службы, потому что Панкратову неугодно было разрешить ее нам! Погода была теплая. Все работали на дворе.

22-го ноября. Среда.

Чувствовал себя не совсем здоровым, тяжесть в голове и боль в разных сочленениях; поэтому остался дома. Погода как нарочно была солнечная. Окончил I том «Всеобщей истории» Иегера — очень хорошо составленная книга.

23-го ноября. Четверг.

Самочувствие было получше и без лихорадки, не выходил на воздух. Переписывал из книги свою роль для будущего нашего представления франц. пиесы «Les deux timides». К вечеру окончил эту работу — пришлось полторы тетради, сшитой из двух.

24-го ноября. Пятница.

Полдня у меня болела голова, в особенности во время чтения. Сидел дома; погода была непривлекательная. Начал читать II том «Всеобщей истории» Иегера — средние века. Вечером по-прежнему безик недолго с Татьяною и вслух из Тургенева.

25-го ноября. Суббота.

Хороший морозный день.

Днем вышел, наконец, погулял и немного попилил. Солнце светило и даже грело, в особенности в комнатах. В 9 час. была всенощная.

26-го ноября. Воскресенье.

В 8 час. пошли к обедне.

Сегодня георгиевский праздник. Для кавалеров город устроил обед и прочие увеселения в народном доме. Но в составе нашего караула от 2-го полка было несколько георг[иевских] кавал[еров], кот[орых] их товарищи не кавалеры не пожелали подсменить, а заставили итти по наряду на службу — даже в такой день! Свобода!!! Гуляли долго и много, погода мягкая.

27-го ноября. Понедельник.

Праздник нижегородцев! Где они и что с ними? Солнечная и морозная погода: — 13° днем и — 18° к вечеру. Гулял только взад и вперед. Сделали перетасовку дивана в зале из угла к стене.

28-го ноября. Вторник.

Солнечная морозная погода.

День протек, как всегда, скоро. От 4 час. до 5 час. занимался с Алексеем. После чая перечитали вместе каждый свою роль из «Les deux timides» — Татьяна, Анастасия, Валя и m. Gilliard.

3-го декабря. Воскресенье.

Аликс и Алексей не пошли с нами к обедне из-за мороза — было 16°. Все утро репетили [sic!] наши пьесы в зале, где с помощью множества ширм и всякой мебели устроили нечто вроде сцены. Вечером все это опять было убрано. Гуляли, пока было светло. Во время безика теперь читаю вслух «Накануне» Тургенева.

4-го декабря. Понедельник.

Было не так холодно, как вчера. День прошел по обыкновению.

6-го декабря. Среда.

Мои именины провели спокойно и не по примеру прежних лет. В 12 час. был отслужен молебен. Стрелки 4-го полка в саду, бывшие в карауле, все поздравили меня, а я их — с полковым праздником. Получил три именинных пирога и послал один из них караулу. Вечером Мария, Алексей и m. Gilliard сыграли очень дружно маленькую пьесу «Le fluide de John»; много смеху было.

1918 ГОД

17 января. Среда.

За ночь мороз взял и увеличился до 15°; погода была неприятная, с ветром. Тем не менее гуляли дважды — караул был хороший — 1-й взвод 4-го полка. Алексей зашел к ним вечером поиграть в шашки.

18 января. Четверг.

Мороз все крепнет и к вечеру дошел до 24°. День простоял отличный, солнечный. Окончил сегодня с Алексеем «Историю Петра Великого».

Начал переписывать пьеску Чехова «Медведь», чтобы выучить ее с Ольгой и Мари. Вечер провели, как всегда.

26 января. Пятница.

Окончил чтение сочинений Лескова 12 томов и начал «The garden of Allah» в русском переводе. Днем хорошо поработал над дровами и пилкой.

Решением отрядного комитета Панкратов и его помощник Никольский отстранены от занимаемых должностей, с выездом из Корниловского дома!

12/25 февраля. Понедельник.

Сегодня пришли телеграммы, извещающие, что большевики, или, как они себя называют, Совнарком, должны согласиться на мир на унизительных условиях герман[ского] прав[ительст]ва, в виду того, что неприятельские войска движутся вперед и задержать их нечем! Кошмар!

14/27 февраля. Среда.

Приходится нам значительно сократить наши расходы на продовольствие и на прислугу, так как гофмарш[альская] часть закрывается с 1 марта и, кроме того, пользование собственными капиталами ограничено получением каждым 600 руб. в месяц. Все эти последние дни мы были заняты высчитыванием того минимума, кот[орый] позволит сводить концы с концами.

15/28 февраля. Четверг.

По этой причине приходится расстаться со многими из людей, так как содержать всех, находящихся с нами в Тобольске, мы не можем. Это, разумеется, очень тяжело, но неизбежно. По нашей просьбе, Татищев, Валя Д. и m-r Gilliard взяли на себя хлопоты по хозяйству и заведыванию оставшимися людьми, а под ними камердинер Волков.

Погода стояла приятная, тихая.

По вечерам читаю вслух «Соборяне» Лескова.

16 февраля (1 марта). Пятница.

Сегодня начал читать «Анну Каренину». День был не холодный, утром мело, позже вышло солнце. С этого дня начали жить по новому, сокращенному режиму. После чаю прорепетили нашу пьесу.

19 февраля (4 марта). Понедельник.

С увлечением читаю «Анну Каренину». Сегодня получил письмо от Ксении. Большую часть дня шел снег. Пилил дрова в сарайчике — там суше.

20 февраля (5 марта). Вторник.

Утром увидели в окно горку перерытою; оказывается, дурацкий комитет отряда решил это сделать, чтобы помешать нам подниматься на нее и смотреть через забор!

День был ясный после снежной ночи и дул свежий N. Пилил в сарайчике. Написал мамá.

21 февраля (6 марта). Среда.

Чудный морозный день при очень теплом солнце. Утром подчищал двор, а днем долго пилил.

22 февраля (7 марта). Четверг.

Сегодня навезли огромное количество дров, помогали разгружать с саней. День был теплый, по временам налетали шквалы со снегом.

2/15 марта. Пятница.

Вспоминаются эти дни в прошлом году в Пскове и в поезде!

Сколько еще времени будет наша несчастная родина терзаема и раздираема внешними и внутренними врагами? Кажется иногда, что дольше терпеть нет сил, даже не знаешь, на что надеяться, чего желать?

А все таки никто как бог!

Да будет воля его святая!

3/16 марта. Суббота.

День простоял полуясный, при 14° мороза. Ходил взад и вперед утром, а днем наработался всласть.

В 9 часов была всенощная.

14/27 марта. Среда.

Здешняя дружина расформировалась, когда все сроки службы были уволены. Так как все-таки наряды в караулы должны нестись по городу, из Омска прислали команду для этой цели. Прибытие этой «красной гвардии», как теперь называется всякая вооруженная часть, возбудило тут всякие толки и страхи. Просто забавно слушать, что говорят об этом в последние дни. Комендант и наш отряд, видимо, тоже были смущены, так как вот уже две ночи — караул усилен и пулемет привозится с вечера! Хорошо стало доверие одних к другим в нынешнее время.

15/28 марта. Четверг.

С ночи стало значительно холоднее, до 12° мороза, день простоял солнечный с ветром. Пилили и кололи дрова усиленно.

16/29 марта. Пятница.

Целый день бушевала вьюга, и снега выпало масса. Утром гуляли, а днем поработали с дровами.

27 марта. Вторник.

Сразу наступил холод с северным ветром. День простоял ясный. Вчера начал читать вслух книгу Нилуса об Антихристе, куда прибавлены «протоколы» евреев и масонов — весьма современное чтение.

28 марта. Среда.

Отличный солнечный день без ветра. Вчера в нашем отряде произошла тревога, под влиянием слухов о прибытии из Екатеринбурга еще красногвардейцев. К ночи был удвоен караул, усилены патрули и высланы на улицу заставы. Говорили о мнимой опасности для нас в этом доме и необходимости переезда в архиерейский дом на горе. Целый день об этом шла речь в комитетах и прочее, и, наконец, вечером все успокоилось, о чем пришел в 7 часов мне доложить Кобылинский. Даже просили Аликс не сидеть на балконе в течение трех дней!

29 марта. Четверг.

Во время утренней прогулки увидели «чрезвычайного комиссара» Демьянова, кот[орый] со своим помощником Дегтяревым, в сопровождении коменданта и стрелков, обошел караульное помещение и сад. Из-за него, т. е. этого Демьянова, и нежелания стрелков пропустить его и загорелся сыр-бор третьего дня.

День простоял отличный, солнечный.

30 марта. Пятница.

Что ни день, то новый сюрприз!

Сегодня Кобылинский принес полученную им вчера бумагу из Москвы от Центр[ального] Исполн[ительного] Комитета к нашему отряду о том, чтобы перевести всех наших, живущих в том доме, к нам и считать нас снова арестованными, как в Ц[арском] Селе. Сейчас же началось переселение комн[атных] женщин внизу из одной комнаты в другую, чтобы очистить место для вновь прибывающих.

У Алексея от кашля заболело в паху, и он пролежал день.

31 марта. Суббота.

Он ночь совсем не спал и днем сильно страдал, бедный. Погода была, как нарочно, прелестная и теплая, снег быстро сходит. Гу-

лял долго. Вещи и мебель из Корниловского дома перетащили до завтрака, жильцы уже устроились в новых помещениях.

В 8.45 была всенощная.

1 апреля. Воскресенье.

Сегодня отрядным комитетом было постановлено, во исполнение той бумаги из Москвы, чтобы люди, живущие в нашем доме, тоже больше не выходили на улицу, т. е. в город. Поэтому целый день шел разговор о том, как их разместить в этом, без того переполненном доме, так как должно быть переселиться семь человек.

Все это делается так спешно в виду скорого прибытия нового отряда с комиссаром, который везет с собой инструкцию. Поэтому наши стрелки, в ограждение себя от возможных нареканий, желают, чтобы те застали у нас строгий режим!

В $11^{1}/_{2}$ часов была отслужена обедница. Алексей пролежал весь день; боли продолжались, но с большими перерывами. Погода была серая, ветренная.

2 апреля. Понедельник.

Утром комендант с комиссией из офицеров и двух стрелков обходил часть помещений нашего дома. Результатом этого «обыска» было отнятие шашек у Вали и m-r Gilliard, а у меня — кинжала! Опять Кобылинский объяснил эту меру только необходимостью успокоить стрелков!

8 апреля. Воскресенье.

Двадцать четвертая годовщина нашей помолвки! День простоял солнечный, с холодным ветром, весь снег стаял.

В $11^{1}/_{2}$ была обедница. После нее Кобылинский показал мне телеграмму из Москвы, в которой подтверждается постановление отрядного комитета о снятии мною и Алексеем погон! Поэтому решил на прогулки их не надевать, а носить только дома. Этого свинства я им не забуду! Работал в саду два часа. Вечером начали читать вслух «Волхвы» — тоже Всеволода Соловьева.

9 апреля. Понедельник.

Узнали о приезде чрезвычайного уполномоченного Яковлева из Москвы; он поселился в Корниловском доме. Дети вообразили, что он сегодня придет делать обыск, и сожгли все письма, а Мария и Анастасия даже свои дневники. Погода была отвратительная, холодная и с мокрым снегом. Алексей себя чувствовал лучше и даже поспал днем часа два-три.

10 апреля. Вторник.

В $10^{1}/_{2}$ часов утра явились Кобылинский с Яковлевым и его свитой.

Принял его в зале с дочерьми. Мы ожидали его к 11 часам, поэтому Аликс не была еще готова.

Он вошел, бритое лицо, улыбаясь и смущаясь, спросил, доволен ли я охраной и помещением. Затем почти бегом зашел к Алексею, не останавливаясь, осмотрел остальные комнаты и, извиняясь за беспокойство, ушел вниз. Так же спешно он заходил к другим в остальных этажах.

Через полчаса он снова явился, чтобы представиться Аликс, опять поспешил к Алексею и ушел вниз. Этим пока ограничился осмотр дома. Гуляли по обыкновению; погода стояла переменная, то солнце, то снег.

11 апереля. Среда.

День был хороший и сравнительно теплый. Много сидел на любимой крыше оранжереи, там славно пригревает солнце. Работал у горы и над расчисткой глубокой канавы вдоль внутренней изгороди.

12 апреля. Четверг.

После завтрака Яковлев пришел с Кобылинским и объявил, что получил приказание увезти меня, не говоря, куда? Аликс решила ехать со мною и взять Марию; протестовать не стоило. Оставлять остальных детей и Алексея — больного да при нынешних обстоятельствах — было более чем тяжело! Сейчас же начали укладывать самое необходимое. Потом Яковлев сказал, что он вернется обратно за О[льгой], Т[атьяной], Ан[астасией] и А[лексеем] и что, вероятно, мы их увидим недели через три. Грустно провели вечер; ночью, конечно, никто не спал.

13 апреля. Пятница.

В 4 часа утра простились с дорогими детьми и сели в тарантасы: я — с Яковлевым, Аликс — с Марией, Валя — с Боткиным. Из людей с нами поехали: Нюта Демидова, Чемодуров и Седнев, 8 стрелков и конный конвой (Красной армии) в 10 человек. Погода была холодная с неприятным ветром, дорога очень тяжелая и страшно тряская от подмерзшей колеи. Переехали Иртыш через довольно глубокую воду. Имели четыре перепряжки, сделав в первый день 130 верст. На ночлег приехали в с е л о И е в л е в о. Поместили в большом чистом доме; спали на своих койках крепко.

14 апреля. Суббота.

Встали в 4 часа, так как должны были ехать в 5 часов, но вышла задержка, пот[ому] что Яковлев разоспался и, кроме того, он ожидал потерянный пакет. Перешли Тобол пешком по доскам, только у другого берега пришлось переехать сажень 10 на пароме. Познакомились с помощником Яковлева — Гузаковым, кот[орый] заведовал всей охраной пути до Тюмени. День настал отличный и очень теплый, дорога стала мягче, но все-таки трясло сильно, и я побаивался за Аликс. В открытых местах было очень пыльно, а в лесах грязно. В селе Покровском была перепряжка, долго стояли как раз против дома Григория и видели всю его семью, глядевшую в окна. Последняя перепряжка была в селе Борки. Тут у Е. С. Ботк[ина] сделались сильные почечные боли, его уложили в доме на полтора часа, и затем он отправился вперед не торопясь. Мы пили чай и закусывали с нашими людьми и стрелками в здании сельского училища. Последний перегон сделали медленно и со всякими мерами военных предосторожностей. Прибыли в Т ю м е н ь в $9^{1}/_{4}$ при красивой луне с целым эскадроном, окружившим наши повозки при въезде в город. Приятно было попасть в п о е з д, хотя и не очень чистый; сами мы и наши вещи имели отчаянно грязный вид. Легли спать в 10 часов не раздеваясь, я — над койкой Аликс, Мария и Нюта в отделении рядом.

15 апреля. Воскресенье.

Все выспались основательно. По названиям станций догадались, что едем по направлению на Омск. Начали догадываться: куда нас повезут после Омска? На Москву или на Владивосток? Комиссары, конечно, ничего не говорили. Мария часто заходила к стрелкам — их отделение было в конце вагона, тут помещалось четверо, остальные в соседнем вагоне. Обедали на остановке на станции Вагай в 11 часов очень вкусно. На станциях завешивали окна, так как по случаю праздника народу было много. После холодной закуски с чаем легли спать рано.

16 апреля. Понедельник.

Утром заметили, что едем обратно. Оказалось, что в Омске нас не захотели пропустить! Зато нам было свободнее, даже гуляли два раза, первый раз вдоль поезда, в второй — довольно далеко в поле вместе с самим Яковлевым. Все находились в бодром настроении.

17 апреля. Вторник.

Тоже чудный теплый день. В 8.40 прибыли в Е к а т е р и н б у р г. Часа три стояли у одной станции. Происходило сильное брожение [sic!] между здешними и нашими комиссарами. В конце концов одолели первые, и поезд перешел к другой — товарной станции. После полуторачасового стояния вышли из поезда. Яковлев передал нас здешнему об[ластному] комиссару, с кот[орым] мы втроем сели в мотор и поехали пустынными улицами в приготовленный для нас дом — Ипатьева. Мало-по-малу подъехали наши и также вещи, но Валю не впустили.

Дом хороший, чистый. Нам были отведены четыре большие комнаты: спальня угловая, уборная, рядом столовая с окнами в садик и с видом на низменную часть города и, наконец, просторная зала с аркою без дверей. Долго не могли раскладывать своих вещей, так как комиссар, комендант и караульный офицер все не успевали приступить к осмотру сундуков. А осмотр потом был подобный таможенному, такой строгий, вплоть до последнего пузырька походной аптечки Аликс. Это меня взорвало, и я резко высказал свое мнение комиссару. К 9 часам, наконец, устроились. Обедали в $4^{1}/_{2}$ из гостиницы, а после приборки закусили с чаем.

Разместились след[ующим] образом: Аликс, Мария и я втроем в спальне, уборная общая, в столовой — Н. Демидова, в зале — Боткин, Чемодуров и Седнев. Около подъезда комната кар[аульного] офицера. Караул помещался в двух комнатах около столовой. Чтобы идти в ванную и W. C., нужно было проходить мимо часового у дверей кар[аульного] помещения. Вокруг дома построен очень высокий досчатый забор в двух саженях от окон, там стояла цепь часовых, в садике тоже.

18 апреля. Среда.

Выспались великолепно. Пили чай в 9 часов. Аликс осталась лежать, чтобы отдохнуть от всего перенесенного.

По случаю 1 мая слышали музыку какого-то шествия. В садик сегодня выйти не позволили! Хотелось вымыться в отличной ванне, но водопровод не действовал, а воду в бочке не могли привезти. Это скучно, так как чувство чистоплотности у меня страдало. Погода стояла чудная, солнце светило ярко, было 15° в тени, дышал воздухом в открытую форточку.

19 апреля. Четверток великий.

День простоял отличный, ветренный, пыль носилась по всему городу, солнце жгло в окна. Утром читал книгу Аликс «La sagesse et la destinée». Позже продолжал чтение библии. Завтрак принесли поздно — в 2 часа. Затем все мы, кроме Аликс, воспользовались разрешением выйти в садик на часок. Погода сделалась прохладнее, даже было несколько капель дождя. Хорошо было подышать воздухом. — При звуке колоколов грустно становилось при мысли, что теперь страстная и мы лишены возможности быть на этих чудных службах и, кроме того, даже не можем поститься. До чая имел радость основательно вымыться в ванне.

Ужинали в 9 часов. Вечером все мы, жильцы четырех комнат, собрались в зале, где Боткин и я прочли по очереди 12 евангелий, после чего легли.

20 апреля. Пяток великий.

За ночь стало гораздо холоднее; вместо дождя перепадал изредка снег, но стаивал сейчас же. Солнце показывалось по временам. Двое суток почему-то наш караул не сменялся. Теперь его помещение устроено в нижнем этаже, что для нас безусловно удобнее — не приходится проходить перед всеми в W. C. или ванную и больше не будет пахнуть махоркой в столовой.

Обед очень запоздал из-за предпраздничного наплыва в город жизненных припасов; сели за него в $3^{1}/_{2}$ ч. Потом погулял с Марией и Боткиным полчаса. Чай пили в 6 час. По утрам и вечером, как все эти дни здесь, читал соответствующие св. евангелия вслух в спальне. По неясным намекам нас окружающих можно понять, что бедный Валя не на свободе и что над ним будет произведено следствие, после которого он будет освобожден! И никакой возможности войти с ним в какое-либо сношение, как Боткин ни старался.

Отлично поужинали в $9^{1}/_{2}$ час.

21 апреля. Великая суббота.

Проснулись довольно поздно; день был серый, холодный, со снежными шквалами. Все утро читал вслух, писал по несколько строчек в письма дочерям от Аликс и Марии и рисовал план этого дома. Обедали в час с $^{1}/_{2}$. Погуляли 20 минут. По просьбе Боткина, к нам впустили священника и дьякона в 8 час. Они отслужили заутреню скоро и хорошо; большое было утешение помолиться хоть в такой обстановке и услышать «Христос воскресе». Украинцев, помощник коменданта, и солдаты караула присутствовали. После службы поужинали и легли рано.

24 апреля. Вторник.

День простоял лучше и немного теплее. Сегодня довольствие получили из собрания, но какого, не знаю? И обед и ужин опоздали на час. Гуляли подольше, так как было солнце. — Авдеев, комендант, вынул план дома, сделанный мною для детей третьего дня на письме, и взял его себе, сказав, что этого нельзя посылать! Вечером выкупался в ванне. Поиграл с Аликс в безик.

25 апреля. Среда.

Встали к 9 час. Погода была немного теплее — до 5°. Сегодня заступил караул, оригинальный и по свойству и по одежде. В составе его было несколько бывших офицеров, и большинство солдат были латыши, одетые в разные куртки, со всевозможными головными уборами. Офицеры стояли на часах с шашками при себе и с винтовками. Когда мы вышли гулять, все свободные солдаты тоже пришли в садик смотреть на нас; они разговаривали по своему, ходили и возились между собой. До обеда я долго говорил с бывшим офицером, уроженцем Забайкалья; он рассказывал о многом интересном, также и маленький кар[аульный] начальник, стоявший тут же; этот был родом из Риги. Украинцев принес нам первую телеграмму от Ольги перед ужином. Благодаря всему этому в доме почувствовалось некоторое оживление. Кроме того, из дежур[ной] комнаты раздавались звуки пения и игры на рояле, кот[орый] был на-днях перетащен туда из нашей залы. — Еда была отличная и обильная и поспевала во-время.

26 апреля. Четверг.

Сегодня около нас, т. е. в деж[урной] комнате и в карауле, происходило с утра какое-то большое беспокойство, все время звонил телефон. Украинцев отсутствовал весь день, хотя был дежурный. Что такое случилось, нам, конечно, не сказали; может быть, прибытие сюда какого-нибудь отряда привело здешних в смущение! Но настроение караульных было веселое и очень предупредительное. Вместо Украинцева сидел мой враг — «лупоглазый», кот[орый] должен был выйти гулять с нами. Он все время молчал, так как с ним никто не говорил. Вечером, во время безика, он привел другого типа, обошел с ним комнаты и уехал.

27 апреля. Пятница.

В $8^{1}/_{2}$ должны были встать и одеться, чтобы принять вчерашнего заместителя коменданта, передавшего нас новому — с добрым лицом, напоминающим художника. Утром шел густой снег, а днем вышло солнце. Гулять было хорошо. После чаю опять приехал «лупоглазый» и спрашивал каждого из нас, сколько у кого денег? Затем он попросил записать точно цифры и взял с собою лишние деньги от людей для хранения у казначея Областного Совета! Пренеприятная история. За вечерней игрой добрый маленький кар[аульный] начальник сидел с нами, следил за игрой и много разговаривал.

1 мая. Вторник.

Были обрадованы получением писем из Тобольска; я получил от Татьяны. Читали их друг у друга все утро. Погода стояла отличная, теплая. К полудню сменился караул из состава той же особой команды фронтовиков — русских и латышей. Кар[аульный] начальник — представительный молодой человек. Сегодня нам передали через Боткина, что в день гулять разрешается только час; на вопрос: почему? исп. долж[ность] коменданта ответил: «Чтобы было похоже на тюремный режим». Еда была во-время. Нам купили самовар — по крайней мере, не будем зависеть от караула. Вечером во время игры имел четыре безика.

2 мая. Среда.

Применение «тюремного режима» продолжалось и выразилось тем, что утром старый маляр закрасил все наши окна во всех комнатах известью. Стало похоже на туман, кот[орый] смотрится в окна. Вышли гулять в $3^{1}/_{2}$, а в 4.10 нас погнали домой. Ни одного лишнего солдата в саду не было. Караульный начальник с нами не заговаривал, так как все время кто-нибудь из комиссаров находился в саду и следил за нами, за ним и за часовыми! Погода была очень хорошая, а в комнатах стало тускло. Одна столовая выиграла, так как ковер снаружи окна сняли!

У Седнева простуда с лихорадкой.

4 мая. Пятница.

Целый день шел дождь. Узнали, что дети выехали из Тобольска, но когда, Авдеев не сказал. Он же днем открыл дверь в запертую комнату, предназначенную нами для Алексея. Она оказалась большою и светлее, чем мы полагали, так как имеет два окна, наша печка хорошо ее отапливает. Гуляли полчаса из-за дождя. Еда была обильная, как все это время, и поспевала в свое время. Комендант, его помощ[ник], кар[аульный] нач[альник] и электротехники бегали по всем помещениям, исправляя провода, но тем не менее ужинали в темноте.

7 мая. Понедельник.

Спокойный день с хорошей погодой. Утром погуляли полчаса, в днем полтора. Сменился караул. Вчера начал читать вслух книгу Аверченко «Синее с золотом». До ужина принял ванну. Вечером электр[ическое] освещение опять пошаливало; пока Седнев исправлял его, играли в безик при свете огарка в банке.

8 мая. Вторник.

Утром слышали гром, в стороне от города прошла гроза, но у нас было несколько ливней. Читал до обеда 4-ю часть «Войны и мира», которую не знал раньше. Погулил час с Марией. Авдеев предложил нам осмотреть два комнаты рядом со столовой; караул теперь помещен в подвальном этаже. Более получаса ожидали обед и ужин. Получили поздрав[ительную] телегр[амму] от Ольги к 6-му мая.

9 мая. Среда.

Полуясный день с несколькими дождями. И Мария и я зачитывались «Войной и миром», а перед чаем увлекались в трик-трак. Гуляли час. Все еще не знаем, где находятся дети и когда они все прибудут? Скучная неизвестность!

13 мая. Воскресенье.

Спали отлично, кроме Алексея. Боли у него продолжались, но с большими промежутками. Он пролежал в кровати в нашей спальне. Службы не было. Погода была та же, снег лежал на крышах. Как все последние дни, В. Н. Деревянко приходил осматривать Алексея; сегодня его сопровождал черный господин, в кот[ором] мы признали врача. После короткой прогулки зашли с ком[ендантом] Авдеевым в сарай, в кот[орый] свезен весь наш большой багаж. Осмотр некоторых открываемых сундуков продолжался. Начал читать сочинения Салтыкова (Щедрина) из шкафа хозяина дома. Вечером поиграли в безик.

14 мая. Понедельник.

Погода простояла теплая. Много читал. Алексею, в общем, было полегче.

Погуляли днем час. После чаю Седнева и Нагорного вызвали для допроса в Обл[астной] Совет. Вечером продолжался осмотр вещей дочерей при них. Часовой под нашим окном выстрелил в наш дом, потому что ему показалось, будто кто-то шевелился у окна (после 10 час. вечера) — по-моему, просто баловался с винтовкой, как всегда часовые делают.

15 мая. Вторник.

Сегодня месяц нашему пребыванию здесь. Алексею все по-прежнему, только промежутки отдыха были больше. Погода была жаркая, душная, а в комнатах прохладно. Обедали в 2 часа. Гуляли и сидели в садике час с 1/4. Аликс стригла мне волосы удачно.

16 мая. Среда.

День стоял отличный. Погуляли утром и днем долго и грелись на солнце.

Алексею было лучше. Вл. Ник. ему сделал гипсовую повязку. Ужинали в 8 час. при дневном свете. Аликс легла пораньше, из-за мигрени. — О Седневе и Нагорном ни слуха ни духа!

17 мая. Четверг.

Очень теплый день. Все утро, после уборки комнат, зачитывались книгами до обеда. Еда приходила аккуратно. Алексей был гораздо спокойнее, боли у него были только к вечеру недолго. Гуляли перед чаем. Купался до ужина.

18 мая. Пятница.

Ночью шел дождь и днем тоже. Начал читать второй том Салтыкова «Господа Головлевы». В комнатах было серо и скучно. Гуляли полчаса. Перед окнами Алексея забор еще приподняли.

19 мая. Суббота.

Погода была серая и теплая. Читал все утро. Гуляли час с минутами до чаи. У Алексея болей почти не было. Зелень понемногу подвигается. Ужин опять принесли за два часа — Харитонов его разогрел к 8 часам. Поиграл с Марией в трик-трак.

20 мая. Воскресенье.

В 11 час. у нас была отслужена обедница; Алексей присутствовал, лежа в кровати. Погода стояла великолепная, жаркая. Погуляли после службы и днем до чая. Несносно сидеть так взаперти и не быть в состоянии выйти в сад, когда хочется, и провести хороший вечер на воздухе! Тюремный режим!

21 мая. Понедельник.

Чудный теплый день. Гуляли два раза. Внизу в кар[аульном] помещении снова был выстрел; комендант пришел справиться, не прошла ли пуля через пол? У Алексея совсем не было болей; как всегда, он проводит день в постели в нашей комнате. Окончил второй том Салтыкова. Вечером играли в безик.

22 мая. Вторник.

Жара и духота в комнатах. Гуляли только днем. Около 5 часов прошла сильная гроза и другая вечером. Алексею гораздо лучше, и колено очень уменьшилось в объеме. У меня болели ноги и поясница и спал плохо.

23 мая. Среда.

Перевели часы на два часа вперед. Сегодня Алексей оделся и был вынесен на воздух парадным ходом. Погода стояла чудная. Аликс и Татьяна посидели с ним полтора часа. Гуляли в садике в свое время. У меня самочувствие было кислое. Легли спать, когда еще было светло.

24 мая. Четверг.

Весь день страдал болями от гем[орроидальных] шишек, поэтому ложился на кровать, потому что удобнее прикладывать компрессы. Аликс с Алексеем пробыли полчаса на воздухе, а мы после них час.

Погода стояла чудная.

25 мая. Пятница.

День рождения дорогой Аликс провел в кровати с сильными болями в ногах и в др[угих] местах.

Следующие два дня стало лучше, мог есть, сидя в кресле.

27 мая. Воскресенье.

Наконец, встал и покинул койку. День был летний. Гуляли в две очереди: Аликс, Алексей, Ольга и Мария до обеда; я, Татьяна и Анастасия до чая. Зелень очень хорошая и сочная, запах приятный. Читаю с интересом 12-й т[ом] Салтыкова: «Пошехонская старина».

28 мая. Понедельник.

Очень теплый день. В сарае, где находятся наши сундуки, постоянно открывают ящики и вынимают разные предметы и провизию из Тобольска. И при этом без всякого объяснения причин. Все это наводит на мысль, что понравившиеся вещи очень легко могут увозиться по домам и, стало быть, пропасть для нас! Омерзительно! Внешние отношения также за последние недели изменились: тюремщики стараются не говорить с нами, как-будто им не по себе, и чувствуется как бы тревога или опасение чего-то у них! Непонятно!

29 мая. Вторник.

Дорогой Татьяне минул 21 год! С ночи дул сильный ветер и прямо в форточку, благодаря чему воздух в нашей спальне был, наконец, чист и довольно прохладный. Много читали. Гуляли опять в две очереди.

К завтраку Харитонов подал компот, к большой радости всех. Вечером, по обыкновению, безик.

31 мая. Вознесение.

Утром долго, но напрасно ожидали прихода священника для совершения службы: все были заняты по церквам. Днем нас почему-то не выпускали в сад. Пришел Авдеев и долго разговаривал с Евг. Серг. По его словам, он и Областной Совет опасаются выступлений анархистов и поэтому, может быть, нам предстоит скорый отъезд, вероятно — в Москву! Он просил подготовиться к отбытию. Немедленно начали укладываться, но тихо, чтобы не привлекать внимания чинов караула, по особой просьбе Авдеева.

Около 11 часов вечера он вернулся и сказал, что еще останемся несколько дней. Поэтому и на 1 июня мы остались по бивачному, ничего не раскладывая.

Погода простояла хорошая; прогулка состоялась, как всегда, в две очереди. Наконец, после ужина Авдеев, слегка навеселе, объявил Боткину, что анархисты схвачены и что опасность миновала и наш отъезд отменен! После всех приготовлений даже скучно стало! Вечером поиграли в безик.

3 июня. Воскресенье.

Опять службы у нас не было. Всю эту неделю читал и сегодня окончил историю «Имп. Павла I» Шильдера — очень интересно.

Все поджидаем Седнева и Нагорного, которых нам обещали выпустить сегодня.

5 июня. Вторник.

Дорогой Анастасии минуло уже 17 лет. Жара и снаружи и внутри была великая. Продолжаю чтение Салтыкова III тома — занимательно и умно.

Гуляли всей семьей перед чаем. Со вчерашнего Харитонов готовит нам еду, провизию приносят раз в два дня. Дочери учатся у него готовить и по вечерам месят муку, а по утрам пекут и хлеб! Недурно!

9 июня. Суббота.

Последние дни погода стояла чудная, но очень жаркая; в наших комнатах духота была большая. Особенно по ночам. По письменной просьбе Боткина, нам разрешили полуторачасовые прогулки. Сегодня во время чая вошло 6 человек; вероятно — Областного Совета, посмотреть, какие окна открыть? Разрешение этого вопроса длится около двух недель! Часто приходили разные субъекты и молча при нас оглядывали окна.

Аромат от всех садов в городе удивительный.

10 июня. Троицын день.

Ознаменовался разными событиями: у нас утром открыли одно окно, Евг. Серг. заболел почками и очень страдал, в $11^1/_2$ была отслужена настоящая обедня и вечерня, и в конце дня Аликс и Алексей ужинали с нами в столовой. Кроме того, гуляли два часа! День стоял великолепный. Оказывается, что вчерашние посетители были комиссары из Петрограда. Воздух в комнате стал чистый, к вечеру даже и прохладнее.

12 июня. Вторник.

Вчерашний и сегодняшний день были изумительно жаркие. В комнатах тоже, несмотря на открытое все время окно! Гуляли днем два часа. За обедом прошло две сильных грозы, освежившие воздух. Евг. Серг. гораздо лучше, но он еще лежит.

14 июня. Четверг.

Нашей дорогой Марии минуло 19 лет. Погода стояла та же тропическая, 26° в тени, а в комнатах 24°, даже трудно выдержать! Провели тревожную ночь и бодрствовали одетые...

Все это произошло от того, что на-днях мы получили два письма, одно за другим, в которых нам сообщали, чтобы мы приготовились быть похищенными какими-то преданными людьми!

Но дни проходили, и ничего не случилось, а ожидание и неуверенность были очень мучительны.

21 июня. Четверг.

Сегодня произошла смена комендантов — во время обеда пришли Белобородов и др. и объявил, что вместо Авдеева назначается тот, которого мы принимали за доктора — Юровский. Днем до чая он с своим помощником составляли опись золотым вещам — нашим и детей: большую часть (кольца, браслеты и пр.) они взяли с собой. Объяснили тем, что случилась неприятная история в нашем доме, упомянули о пропаже наших предметов. Так что убеждение, о котором я писал 28 мая, подтвердилось. Жаль Авдеева, но он виноват в том, что не удержал своих людей от воровства из сундуков в сарае.

23 июня. Суббота.

Вчера комендант Юровский принес ящичек со всеми взятыми драгоценностями, просил проверить содержимое и при нас запечатал его, оставив у нас на хранение. Погода стала прохладнее, и в спальне легче дышалось. Юровский и его помощник начинают понимать, какого рода люди окружали и охраняли нас, обворовывая нас.

Не говоря об имуществе — они даже удерживали себе большую часть из приносимых припасов из женского монастыря. Только теперь, после новой перемены, мы узнали об этом, потому что все количество провизии стало попадать на кухню.

Все эти дни, по обыкновению, много читал; сегодня начал VII том Салтыкова. Очень нравятся мне его повести, рассказы и статьи.

День был дождливый, погуляли полтора часа и воротились домой сухими.

25 июня. Понедельник.

Наша жизнь нисколько не изменилась при Юровском. Он приходит в спальню проверять целость печати на коробке и заглядывает в открытое окно. Сегодня все утро и до 4 час. проверяли и исправляли электрическое освещение. Внутри дома на часах стоят новые латыши, а снаружи остались те же — частью солдаты, частью рабочие! По слухам, некоторые из авдеевцев сидят уже под арестом!

Дверь в сарай с нашим багажом запечатана. Если бы это было сделано месяц тому назад!

Ночью была гроза, и стало еще прохладнее.

28 июня. Четверг.

Утром около $10^1/_2$ час. к открытому окну подошло трое рабочих, подняли тяжелую решетку и прикрепили ее снаружи рамы — без предупреждения со стороны Юровского. Этот тип нам нравится все менее!

Начал читать VIII том Салтыкова.

30 июня. Суббота.

Алексей принял первую ванну после Тобольска; колено его поправляется, но совершенно разогнуть его он не может. Погода теплая и приятная. Вестей извне никаких не имеем.



Императоръ Николай II въ Екатеринбургѣ

[Снимокъ этотъ сдѣланъ однимъ изъ красноармейцевъ, состоявшимъ въ охранѣ Царской Семьи, за нѣсколько дней до убійства. Послѣ убійства, боясь держать у себя снимокъ, онъ подарилъ его германскому военноплѣнному, который въ свою очередь подарилъ его пастору Ш., бывшему духовникомъ германскихъ военноплѣнныхъ Екатеринбургскаго района.]

На записи 30 июня дневник Николая II обрывается. А через три дня российского самодержца, а также всю его семью — жену, сына и четырех дочерей расстреляли. Вместе с ними были убиты приближенные царской семьи: лейб-медик Е. С. Боткин (сын выдающегося русского ученого, врача-терапевта, крупного общественного деятеля С. П. Боткина), повар Харитонов, лакей Трупп и комнатная девушка Анна Демидова.

Сохранилось много различных свидетельств (порой разноречивых в отдельных деталях и характеристиках), написанных «по горячим следам» — и в нашей стране и за рубежом, — о том, как уничтожили императорскую фамилию. Среди них — выпущенная в начале 20-х годов издательством «Уралкнига» работа П. М. Быкова «Последние дни Романовых» и вышедшие в тот же период в Вене воспоминания П. Жильяра — бывшего наставника наследника Алексея — «Император Николай II и его семья». Фрагменты этих книг, которые были недоступны читателям более 60-ти лет, а также «Записку» (рассказ) Я. Юровского, руководившего расстрелом, мы предлагаем вниманию читателей. Именно на таком изучении истории — по первоисточникам, в добавлении, сравнении и противопоставлении — настаивал в свое время Владимир Ильич Ленин, поддержав идею печатать в «Красном архиве» воспоминания многих бывших, в том числе и Николая II. Имеются, правда, и более поздние исследования данного вопроса, в частности, написанные кинодраматургом и публицистом Гелием Рябовым, который в документальном очерке рассказывает о своих розысках места захоронения одиннадцати, расстрелянных в подвале Ипатьевского дома. Рассказ Г. Рябова и интервью с ним опубликованы соответственно в журнале «Родина» (№№ 4, 5 за 1989 г.) и газете «Московские новости» (№ 16 за 16 апреля 1989 г.). А недавно с материалом «Расстрел в Екатеринбурге» на страницах «Огонька» (№ 21, 1989 г.) выступил писатель Эдвард Радзинский.

РАССКАЗ ЮРОВСКОГО*

«16.7 была получена телеграмма из Перми на условном языке, содержащая приказ об истреблении Р-ых ⟨Романовых⟩ [Слева на полях надпись рукой: «Николая сначала (в мае) предполагалось судить — этому помешало наступление белых»].

16-го в шесть часов вечера Филип Г-н ⟨Голощекин⟩[1] предписал привести приказ в исполнение. В 12 часов должна была приехать машина для отвоза трупов.

В шесть часов увезли мальчика[2].., что очень обеспокоило Р-ых и их людей. Приходил д-р Боткин спросить, чем это вызвано? Было объяснено, что дядя мальчика, который был арестован, потом сбежал, теперь опять вернулся и хочет увидеть племянника. Мальчик на след⟨ующий⟩ день был отправлен на родину (кажется, в Тульскую губернию). Грузовик в 12 часов не пришел, пришел только в 1/2 второго. Это отсрочило приведение приказа в исполнение. Тем временем были сделаны все приготовления, отобрано 12 человек (в т. ч. семь [исправлено на «шесть» чернилами] латышей) с наганами, которые должны были привести приговор в исполнение. 2 из латышей отказались стрелять в девиц.

Когда приехал автомобиль, все спали. Разбудили Боткина, а он всех остальных. Объяснение было дано такое: «Ввиду того, что в городе неспокойно, необходимо перевести семью Р-ых из верхнего этажа в нижний». Одевались 1/2 часа. Внизу была выбрана комната с деревянной оштукатуренной перегородкой (чтоб избежать рикошетов), из нее была вынесена вся мебель. Команда была наготове в соседней комнате. Р-вы ни о чем не догадывались. Ком.[3] отправился за ними лично один и свел их по лестнице в нижнюю комнату. Ник.⟨олай⟩ нес на руках А-я[4], остальные несли с собой подушечки и разные мелкие вещи. Войдя в пустую комнату, А.⟨лександра⟩ Ф.⟨едоровна⟩ спросила: «Что же, и стула нет? Разве и сесть нельзя?» Ком. велел внести два стула. Ник. посадил на один А-я, на другой села А. Ф. Остальным ком. велел встать в ряд. Когда стали — позвали команду. Когда вошла команда, ком. сказал Р-ым, что ввиду того, что их родственники в Европе продолжают наступление на Советскую Россию, Уралисполком постановил их расстрелять. Николай повернулся спиной к команде, лицом к семье, потом как бы опомнившись, обернулся к ком. с вопросом: «Что? Что?» Ком. наскоро повторил и приказал команде готовиться. Команде заранее было указано, кому в кого стрелять, и приказано целить прямо в сердце, чтоб избежать большого количества крови и покончить скорее. Николай больше ничего не произнес, опять обернувшись к семье, другие произнесли несколько несвязных восклицаний, все это длилось несколько секунд. Затем началась стрельба, продолжавшаяся две-три минуты. Ник. был убит самим ком-ом наповал. Затем сразу же умерли А. Ф. и люди Р-ых (всего было расстреляно 12 человек): Н-й, А. Ф., 4 дочери — Татьяна, Ольга, Мария и Анастасия, д-р Боткин, лакей Трупп, повар Тихомиров[5], еще повар[6] и фрейлина, фамилию которой ком. забыл[7].

А-й, три из его сестер, фрейлина и Боткин были еще живы. Их пришлось пристреливать. Это удивило ком-та, т. к. целили прямо в сердце. Удивительно было и то, что пули от наганов отскакивали от чего-то рикошетом и, как град, прыгали по комнате. Когда одну из девиц пытались доколоть штыком, то штык не мог пробить корсаж. Благодаря этому вся процедура, считая проверку (щупанье пульса и т. д.), взяла минут двадцать. Потом стали выносить трупы и укладывать в автомобиль, выстлан⟨ный⟩ сукном, чтоб не протекла кровь. Тут начались кражи: пришлось поставить трех надежных товарищей для охраны трупов, пока продолжалась переноска (трупы выносили по одному). Под угрозой расстрела все похищенное было возвращено (золотые часы, портсигар с бриллиантами и т. д.). Ком-ту было поручено только привести в исполнение приговор, удаление трупов и перевозка лежала на обязанности тов. Ермакова (рабочий Верхне-Исетского завода, партийный товарищ, б⟨ывший⟩ каторжанин). Он был должен приехать с автомобилем и был впущен по условному паролю «трубочист». Опоздание автомобиля внушило коменданту сомнения в аккуратности Ермакова, и ком. решил проверить сам свою операцию до конца. Около трех часов выехали на место, к-е ⟨которое⟩ должен был приготовить Ермаков за Верхне-Исетским заводом. Сначала предполагалось везти на автомобиле, а после известного места на лошадях (т. к. автомобиль дальше проехать не мог, местом выбранным была брошенная шахта). Проехав Верхне-Исетский завод в верстах 5, наткнулись на целый табор — человек 25 верховых, в пролетках и т. д. Это были рабочие (члены Совета, исполкома и т. д.), к-ых приготовил Ермаков. Первое, что они закричали: «Что ж вы нам их неживыми привезли?!» Они думали, что казнь Романовых будет поручена им. Начали перегружать трупы на пролетки, тогда как нужны были телеги. Это было очень неудобно. Сейчас же начали очищать карманы — пришлось и тут пригрозить расстрелом и поставить часовых. Тут и обнаружилось, что на Татьяне, Ольге, Анастасии были надеты какие-то особые корсеты. Решено было раздеть трупы догола, но не здесь, а на месте погребения. Но выяснилось, что никто не знает, где намеченная для этого шахта. Светало. Ком. послал верховых разыскивать место, но никто ничего не нашел. Выяснилось, что вообще ничего приготовлено не было: не было лопат и т. д. Так как машина застряла между двух деревьев, то ее бросили и двинулись поездом на пролетках, закрыв трупы сукном. Отвезли от Екатеринбурга на шестнадцать с половиной верст и остановились в полутора верстах от деревни Коптяки. Это было в 6—7 утра. В лесу отыскали заброшенную старательскую шахту (добывали когда-то золото) глубиной три с 1/2 аршина. В шахте было на аршин воды. Ком. распорядился раздеть трупы и разложить костер, чтоб все сжечь. Кругом были расставлены верховые, чтоб отгонять всех проезжающих. Когда стали раздевать одну из девиц, увидали корсет, местами разорванный пулями, — в отверстии видны были бриллианты. У публики явно разгорелись глаза. Ком. решил сейчас же распустить всю артель, оставив на охране нескольких человек часовых и 5 человек команды. Остальные разъехались. Команда приступила к раздеванию и сжиганию. На А. Ф. оказался целый жемчужный пояс, сделанный из нескольких ожерелий, зашитых в полотно [вставка на полях: «На шее у каждой из девиц оказался портрет Распутина с текстом его молитвы, зашитые в ладанки»]. Бриллианты тут же переписывались, их набралось около полупуда. Это было похоронено на Алапаевском заводе в одном из домиков в подполье. В 19-м году откопано и привезено в Москву. Сложив все ценное в сумки, остальное найденное на трупах сожгли, а сами трупы опустили в шахту. При этом кое-что из ценных вещей (чья-то брошь, вставная челюсть Боткина) было обронено, а при попытке завалить шахту при помощи ручных гранат, очевидно, трупы были повреждены и от них оторваны некоторые части — этим ком. объясняет нахождение на этом месте белыми (к-рые потом его открыли) оторванного пальца и т. д. Но Р-ых не предполагалось оставлять здесь — шахта заранее была предназначена стать лишь временным местом их погребения. Кончив операцию и оставив охрану, ком. часов в 10—11 утра (17 уже июля) поехал с докладом в Уралисполком, где нашел Сафарова[8] и Белобородова. Ком. рассказал, что найдено, и выразил сожаление, что ему не позволили в свое время произвести у Р-ых обыск. От Чуцкаева (пред. горисполкома) ком. узнал, что на 9-й версте по Московскому тракту имеются очень глубокие шахты, подходящие для погребения Р-ых. Ком. отправился туда, но до места не сразу доехал из-за поломки машины. Добрался до шахт уже пешком, нашел действительно три шахты, очень глубокие, заполненные водою, где и решил утопить трупы, привязав к ним камни. Так как там были сторожа, являвшиеся неудобными свидетелями, то решено было, что одновременно с грузовиком, который привезет трупы, придет автомобиль с чекистами, который под предлогом обыска арестует всю публику. Обратно ком. пришлось добираться на случайно захваченной по дороге паре.

Задержавшие случайности продолжались и дальше. Отправившись с одним из чекистов на место верхом, чтобы организовать все дело, ком-т упал с лошади и сильно расшибся (а после также упал и чекист). На случай, если бы не удался план с шахтами, решено было трупы сжечь или похоронить в глинистых ямах, наполненных водой, предварительно обезобразив трупы до неузнаваемости серной кислотой.

Вернувшись, наконец, в город уже к 8 часам утра (17), начали добывать все необходимое — керосин, серную кислоту. Телеги с лошадью без кучеров были взяты из тюрьмы. Рассчитывали выехать в 11 вечера, но инцидент с чекистом задержал, и к шахте с веревками, чтобы вытаскивать трупы и т. д., отправились только в двенадцать с половиной ночью с 17 на 18-е. Чтоб изолировать шахты (первую старательскую) на время операции, объявили в деревне Коптяки, что в лесу скрываются чехи, лес будут обыскивать, чтоб никто из деревни не выезжал ни под каким видом. Было приказано, если кто ворвется в район оцепления, расстрелять на месте. Между тем рассвело (это был уже третий день, 18-го). Возникла мысль: часть трупов похоронить тут же у шахты. Стали копать яму, почти выкопали, но тут к Ермакову подъехал его знакомый крестьянин, и выяснилось, что он мог видеть яму.

Пришлось бросить дело. Решено было везти трупы на глубокие шахты. Так как телеги оказались непрочными, разваливались, ком-т отправился в город за машинами — грузовик и две легких, одна для чекистов... Смогли отправиться в путь только в 9 вечера, пересекли линию ж. д. в полуверсте, перегрузили трупы на грузовик.

* ЦГАОР, ф. 601, опись № 2, ед. хр. 35, лл. 31—34.

1 И. Голощекин, член Президиума исполкома Уральского Совета, областной военный комиссар.

2 Поваренка Л. Седнева.

3 Комендант (комендантом именуется Я. Юровский).

4 Алексея.

5 Повар Харитонов.

6 Ошибка — на самом деле поваренка Седнева, как он сам писал, пощадили: отсюда у него получилось 12 человек.

7 Имеется в виду Демидова, комнатная девушка царицы.

8 Товарищ Председателя Совета.

Ехали с трудом, вымащивая опасные места шпалами, и все-таки застревали несколько раз. Около четырех с половиной утра 19-го машина застряла окончательно. Оставалось, не доезжая шахт, хоронить или жечь. Последнее обещал на себя взять один товарищ, фамилию ком. забыл, но он уехал, не исполнив обещания. Хотели сжечь А-я и А. Ф., но по ошибке вместо последней с А-ем сожгли фрейлину. Потом похоронили тут же под костром останки и снова разложили костер, что совершенно закрыло следы копанья. Тем временем вырыли братскую могилу для остальных. Часам к семи утра яма аршина в два с половиной глубины и три с половиной в квадрате была готова. Трупы сложили в яму, облив лица и вообще все тела серной кислотой — как для неузнаваемости, так и для того, чтобы предотвратить смрад от разложения (яма была неглубока). Забросав землей и хворостом, сверху наложили шпалы и несколько раз проехали — следов ямы и здесь не осталось. Секрет был сохранен вполне — этого места погребения белые не нашли».

П. М. БЫКОВ

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ РОМАНОВЫХ

Установив надежный надзор за Романовыми и приняв меры к предупреждению каких-либо покушений на освобождение их из «дома особого назначения» (так назывался в то время дом инженера Н. Н. Ипатьева), Областной Совет занялся вопросом о дальнейшей участи семьи.

На одном из своих заседаний Совет единодушно высказался за расстрел Николая Романова. Все же большинство Совета не хотело брать на себя ответственности, без предварительных переговоров по этому вопросу с центром. Решено было вновь командировать в Москву Голощекина для того, чтобы поставить вопрос о судьбе Романовых в ЦК партии и президиуме ВЦИК.

В Москве этот вопрос также занимал руководителей центральных организаций. Когда Голощекин в первый же день явился в президиум ВЦИК, то он, между прочим, встретил у Свердлова представительницу ЦК партии эсеров М. Спиридонову, настаивавшую на выдаче Романовых эсерам для расправы с ними.

Президиум ВЦИК склонялся к необходимости назначения над Николаем Романовым открытого суда. В это время созывался 5-й Всероссийский съезд Советов. Предполагалось поставить вопрос о судьбе Романовых на съезде — о том, чтобы провести на нем решение о назначении над Романовыми гласного суда в Екатеринбурге. Как главный обвинитель бывшего царя в его преступлениях перед народом, на суд должен был выехать Л. Троцкий.

Однако по докладу Голощекина о военных действиях на Урале, где, в связи с выступлением чехословаков, положение не было прочно и можно было ожидать скорого падения Екатеринбурга, вопрос был перерешен. Постановлено было вопроса на съезде, который мог затянуться, не ставить. Голощекину предложено было ехать в Екатеринбург и к концу июля подготовить сессию суда над Романовыми, на которую и должен был приехать Троцкий. ⟨...⟩

Между тем, с первых дней перевода Романовых в Екатеринбург сюда стали стекаться в большом количестве монархисты, начиная с полупомешанных барынь, графинь и баронесс всякого рода, вплоть до монашек, духовенства и представителей иностранных держав.

Корреспонденция, поступавшая от них на имя Николая, состояла преимущественно из поздравительных писем и соболезнований. Нередко проскальзывали и письма явно ненормальных людей, с описанием своих снов, видений и т. п. ерунды.

Просьбы о свидании как с Николаем, так и с другими представителями дома Романовых были довольно часты. Мотивировки были самые разнообразные: «повидаться, т. к. состоят в родстве», «услужить, что надо будет» и т. д. Но доступ к Николаю был ограничен чрезвычайно узким кругом лиц из членов Областного Совета Урала. Вообще же разрешения на свидания с Николаем давались ВЦИК. Поэтому бесконечные попытки тех или иных лиц проникнуть на свидание кончались неудачей.

Почти одновременно с переводом семьи Романовых в Екатеринбург были высланы из Вятки и другие члены семьи. Сюда приехали бывшие вел. князья: Сергей Михайлович, Игорь Константинович, Константин Константинович, Иван Константинович и князь Палей, сын вел. князя Павла Александровича. Здесь же находилась и высланная из Москвы вдова убитого в свое время вел. кн. Сергея Александровича — Елизавета Федоровна. Все эти лица жили в гостиницах под сравнительно слабым надзором и свободно разгуливали по городу. Среди екатеринбургской буржуазии было много доброжелателей, охотно приглашавших «высоких гостей» на свои закрытые вечеринки, где создавалась тайная организация для освобождения Романовых.

Об этом рассказывает на страницах монархического журнала некто Е. Семчевская, жена офицера академии генштаба. По ее словам, на устраиваемых «интимных вечерах» с участием великих князей быстро удалось создать активную группу из 37 офицеров, «готовых на все» для спасения династии. Однако последние предпочли уйти из города к чехословакам, «чтобы ускорить падение Екатеринбурга и тем освободить членов царской семьи»*.

По свидетельству Дитерихса**, в середине июня из Одессы приехал в Екатеринбург видный монархист — старый офицер, бывш. флигель-адъютант Ив. Ив. Сидоров с целью освобождения царской семьи.

В Екатеринбурге он сошелся с доктором Деревенько, которому разрешалось бывать у больного Алексея в «доме особого назначения». Через Деревенько он наладил снабжение Романовых продуктами и обмен письмами.

Белогвардейские организаторы действовали довольно открыто. Пользуясь поддержкой осмелевшей, в связи с близостью фронта, буржуазии, они готовились в удобный момент поднять в городе восстание с целью освобождения Романовых из Ипатьевского дома. Успех такой попытки не был исключен. В это время в Екатеринбурге находилась переброшенная из центра Военная академия Генерального штаба, слушатели которой состояли исключительно из бывш. офицеров, представлявших готовую организационную силу для антисоветских выступлений.

Все же Областной Чрезвычайной Комиссии удалось напасть на след этих организаций, и некоторые из активных белогвардейцев были арестованы.

Среди других лиц, имевших близкое касательство к семье Романовых, были арестованы: некий майор сербской службы Мигич, фельдфебель Божечич и Смирнов — управляющий делами сербской королевны Елены Петровны — жены бывш. вел. кн. Ивана Константиновича, также высланной в Екатеринбург. Эти лица явились в Областной Совет, как делегаты сербского посланника Спалайковича, сначала, чтобы узнать у Николая Романова его мнение по вопросу об окончании войны, а затем, когда Совет в этом им категорически отказал, выступили с ходатайством о разрешении бывш. княгине Елене Сербской выехать в Петроград, на что будто бы имеется разрешение центральной власти. По справкам, наведенным Областным Советом в Москве и Петрограде, оказалось, что просьбу сербского посланника Спалайковича о разрешении Елене Романовой отъезда в Петроград президиум ВЦИК отклонил. Было установлено, что указанная «сербская миссия» находилась в тесной связи с монархическими организациями, обосновавшимися в Екатеринбурге.

Чтобы хоть несколько разгрузить Екатеринбург от вдохновителей монархических организаций, по постановлению Областного Совета, отправлены были в гор. Алапаевск все члены семьи Романовых, жившие на квартирах и в гостиницах.

Но этим еще не устранялась опасность контрреволюционных выступлений.

С приближением фронта и отступлением Красной Армии все смелее делаются попытки монархистов связаться с заключенными в «доме особого назначения».

* «Двуглавый Орел». Берлин, 21 г. № 15. «Воспоминания о вел. князьях» — Е. Семчевская. (Прим. автора)

** М. К. Дитерихс — «Убийство царской семьи», стр. 376. (Прим. автора)

В «приношениях» монашек местного монастыря часто попвдаются записки не «монастырского» происхождения. В передаче их «доброжелатели» Романовых весьма изощряются. Помимо записок в хлебе, на пакетах и оберточной бумаге, обнаружена была записка даже в пробке бутылки с молоком.

«Час освобождения приближается, и дни узурпаторов сочтены, — пишут «друзья» в одной записке. — Славянские армии все более и более приближаются к Екатеринбургу. Они в нескольких верстах от города. Момент становится критическим. Этот момент наступил, надо действовать».

«Друзья, — читаем в другой записке, — более не спят и надеются, что час, столь долгожданный, настал...» (...)

Романовы живут мыслью о скором освобождении. Сам Николай пытался отправить письмо в конверте с цветной подкладкой. Конверт был заподозрен, и, когда подкладка была отклеена, под ней нашли план верхнего этажа «дома особого назначения» с подробным обозначением комнат и указанием их обитателей.

В угловой комнате, отдаленной от охраны, часто происходили какие-то совещания. Обычно в таких случаях семья высылала в коридор Марию или Татьяну, которые и сидели на сундуке, занимаясь рукоделием. При появлении кого-либо из охраны они вставали и быстро уходили в комнаты.

Заключенным запрещено было вставать на окна, чтобы предупредить возможность сигнализации. Это распоряжение, однако, нарушалось, и старшая дочь бывш. царя, Татьяна, однажды даже высунулась в форточку окна, видимую с соседней улицы. Часовой наружной охраны, увидевший это, немедленно выстрелил... После этого случая семья стала исполнять приказы более точно.

Внутри дома заключенные принимали все меры к тому, чтобы расположить к себе охрану. Большей частью «адвокатом» Романовых был доктор Боткин, часто приходивший в комнату коменданта и пытавшийся ловкими разговорами выведать положение Романовых и отношение к их судьбе Областного Совета и центральной власти. Из семьи Романовых большую активность в этом деле проявляла Мария, при каждом удобном случае кокетничавшая с солдатами охраны.

Все это заставило в начале июля Областной Совет назначить комендантом члена президиума Областной Чрезвычайной Комиссии Я. М. Юровского и помощником его Г. П. Никулина. В составе отряда охраны также были произведены изменения, и в доме был установлен строгий режим, не допускавший никаких сношений заключенных с городом. У Романовых был произведен поверхностный смотр вещей и предложено было сдать все драгоценности. Романовы составили опись вещей и сдали ее коменданту, оставив вещи у себя в комнате.

Одновременно с охраной Романовых от покушений со стороны белогвардейцев Областному Совету приходилось охранять Романовых и от другого рода «нападений». Левые эсеры и анархисты екатеринбургской организации, не уверенные в том, что большевики расстреляют бывш. царя, решили принять меры к этому собственными силами. Был разработан план нападения на «дом особого назначения» «боевиками» эсерами и анархистами, во время которого и предполагали расстрелять Романовых.

Однако ни это нападение, ни выступление белогвардейцев не осуществилось, если не считать попытку контрреволюционного выступления эвакуированных, которая была немедленно подавлена, и главари ее расстреляны.

По приезде из Москвы Голощекина, числа 12 июля было созвано собрание Областного Совета, на котором был заслушан доклад об отношении центральной власти к расстрелу Романовых.

Областной Совет признал, что суда, как это было намечено Москвой, организовать уже не удастся — фронт был слишком близок и задержка с судом над Романовыми могла вызвать новые осложнения. Решено было запросить командующего фронтом о том, сколько дней продержится Екатеринбург и каково положение фронта. Военное командование сделало в Областном Совете доклад, из которого видно было, что положение чрезвычайно плохое. Чехи уже обошли Екатеринбург с юга и ведут на него наступление с двух сторон. Силы Красной Армии недостаточны, и падения города можно ждать через три дня. В связи с этим Областной Совет решил Романовых расстрелять, не ожидая суда над ними. Расстрел и уничтожение трупов предложено было произвести комендатуре охраны с помощью нескольких надежных рабочих-коммунистов.

На предварительном совещании в Областном Совете был намечен порядок расстрела и способ уничтожения трупов.

Решение уничтожить трупы было принято в связи с ожидаемой сдачей Екатеринбурга, чтобы не дать в руки контрреволюции возможности с «мощами» бывшего царя играть на темноте и невежестве народных масс. Последнее, как увидим, было весьма предусмотрительно. Белые после занятия Екатеринбурга много времени положили на то, чтобы отыскать «священные тела» членов царской семьи.

Вечером 16 июля лица, назначенные Областным Советом к исполнению приговора над Романовыми, собрались в комнате коменданта в «доме особого назначения». Комнаты верхнего этажа, где жила семья, были признаны неудобными для выполнения приговора. Решено было перевести семью вниз в одну из полуподвальных комнат и там привести приговор в исполнение. До самого расстрела Романовы не узнали о состоявшемся постановлении об их казни.

Около 12 часов ночи того же дня им было предложено одеться и сойти в нижние комнаты; чтобы не возбудить у них подозрения, было объяснено, что эта мера вызвана, якобы, предполагающимся в эту ночь нападением белогвардейцев на дом Ипатьева. С той же целью было предложено перейти вниз и остальным обитателям Ипатьевского дома. Мальчика Леонида Седнева, 11 лет, из предосторожности еще накануне взяли из Ипатьевского дома в дом напротив, где помещалась охрана.

Когда все они были переведены в нижний этаж, в намеченную для исполнения приговора комнату, им было объявлено постановление Уральского Областного Совета. После чего тут же все 11 человек: Николай Романов, его жена, сын, четыре дочери и четверо приближенных — были расстреляны.

Таким образом, в ночь на 17 июля семьи Романовых не стало.

После расстрела трупы были перенесены в одеялах во двор дома и уложены в грузовой автомобиль. По заранее намеченному пути автомобиль выехал из города через пригородное селение, Верхне-Исетский завод, на дорогу, ведущую в деревню Коптяки. На половине этой дороги, верстах в 8 от города, находится урочище «Четыре брата», получившее название от росших здесь раньше четырех больших сосен. Влево от дороги, в этом же районе, находятся старые заброшенные шахты, служившие когда-то для выработки железной руды. Район этот носит название «Ганиной ямы», по имени небольшого прудка, находящегося в центре выработок. Сюда по лесной дорожке, свернув с Коптяковской дороги, и были привезены трупы Романовых. Временно их сложили в один из шурфов, а на следующий день было приступлено к их уничтожению.

На трупах Александры и дочерей обнаружили много драгоценностей — золота и бриллиантов, зашитых в одежде, главным образом, в лифы дочерей Романовых, бриллианты — в пуговицах платья и т. д. Вся одежда была тщательно просмотрена, и все ценные вещи собраны.

18 июля днем с «похоронами» было закончено, и настолько основательно, что впоследствии белые, в течение двух лет производя специальные раскопки в этом районе, не могли найти могилы Романовых.

После приведения в исполнение приговора Областной Совет командировал в Москву Голощекина и Юровского, которые и увезли с собой наиболее ценные вещи, взятые у Романовых, переписку их, дневники и все материалы, давшие основания Уралсовету расстрелять бывш. царя и его семью.

На состоявшемся 18 июля заседании президиума ВЦИК председатель его Я. М. Свердлов сообщил полученную по прямому проводу телеграмму о расстреле бывшего царя. Президиум ВЦИК, обсудив все обстоятельства, заставившие Областной Уральский Совет принять решение о расстреле Николая Романова, постановил признать решение и действия Уралсовета правильными. В тот же вечер сообщение о расстреле сделано было и на заседании Совета Народных Комиссаров.

«При обсуждении проекта о здравоохранении, во время доклада тов. Семашко, вошел Свердлов и сел на свое место, на стул позади Ильича. Семашко кончил. Свердлов подошел, наклонился к Ильичу и что-то сказал.

— Товарищ Свердлов просит слова для сообщения.

— Я должен сказать, — начал Свердлов обычным своим ровным тоном, — получено сообщение, что в Екатеринбурге, по постановлению Областного Совета, расстрелян Николай. Николай хотел бежать. Чехословаки подступали. Президиум ВЦИКа постановил одобрить.

Молчание всех.

— Перейдем теперь к постатейному чтению проекта, — предложил Ильич.

Началось постатейное чтение».*

19 июля Советом Народных Комиссаров был опубликован декрет о конфискации имущества Николая Романова и членов бывшего императорского дома...

П. ЖИЛЬЯР

...УСТАНОВЛЕНО СЛЕДСТВИЕМ

...В воскресенье 14 июля Юровский приказал позвать священника, отца Строева, и разрешил совершить богослужение. Узники — уже приговоренные к смерти, и им нельзя отказать в помощи религии.

На следующий день он приказал увести маленького Леонида Седнева в дом Попова, где находилась русская стража.

16-го, около 7 часов утра, он приказал Павлу Медведеву, которому всецело доверял и который стоял во главе русских рабочих, принести ему двенадцать револьверов системы «Наган», которые имелись у русской стражи. Когда это приказание было исполнено, он объявил ему, что вся царская семья будет казнена в ту же ночь, и поручил сообщить об этом русской страже. Медведев сделал это около 10 часов.

Немного спустя Юровский проник в комнаты, занимаемые членами царской семьи, разбудил их и всех живших с ними, и сказал им приготовиться следовать за ним. Предлогом он выставил то, что должен их увезти, потому что в городе мятежи и что пока они будут в большей безопасности в нижнем этаже...

Узники остановились в комнате, указанной им Юровским. Они был уверены, что пошли за экипажами или автомобилями, которые должны их увезти, и, ввиду того, что ожидание продолжалось долго, потребовали стульев. Их принесли три. Цесаревич, который не мог стоять из-за своей больной ноги, сел посреди комнаты. Царь сел слева от него, д-р Боткин стоял справа, немного позади. Государыня села у стены (справа от двери, через которую они вошли), неподалеку от окна. На ее стул, так же как и на стул цесаревича, положили подушку. Сзади нее находилась одна из ее дочерей, вероятно, Татьяна. В углу комнаты, с той же стороны, стояла Анна Демидова, у которой оставались в руках две подушки. Три остальные великие княжны прислонились к стене в глубине комнаты; по правую руку от них, в углу, находились Харитонов и старый Трупп.

Ожидание продолжается. Внезапно в комнату возвращается Юровский с семью австро-германцами и двумя своими друзьями, комиссарами Ермаковым и Вагановым, заправскими палачами чрезвычайки. С ними находится Медведев. Юровский подходит и говорит государю: «Ваши хотели вас спасти, но это им не удалось, и мы принуждены вас казнить». Он тотчас поднимает револьвер и стреляет в упор в государя, который падает как сноп. Это сигнал к залпу. Каждый из убийц выбрал свою жертву. Юровский взял на себя государя и цесаревича. Для большинства заключенных смерть наступила почти немедленно, однако Алексей Николаевич слабо застонал. Юровский прикончил его выстрелом из револьвера. Анастасия Николаевна была только ранена и при приближении убийц стала кричать; она падает под ударами штыков. Анна Демидова тоже уцелела, благодаря подушкам, за которыми пряталась. Она бросается из стороны в сторону и, наконец, в свою очередь, падает под ударами убийц.

Показания свидетелей позволили следствию восстановить во всех подробностях ужасающую сцену избиения. Этими свидетелями являются: один из убийц — Павел Медведев, Анатолий Якимов, присутствовавший несомненно при убийстве, хотя он это отрицал, и Филипп Проскуриков, рассказавший о преступлении со слов других зрителей. Они все трое входили в состав стражи дома Ипатьева.

Когда все было кончено, комиссары сняли с жертв их драгоценности, и тела был перенесены на простынях при помощи оглобель от саней до грузового автомобиля, ожидавшего у ворот двора между двумя дощатыми оградами.

Приходилось торопиться до восхода солнца. Автомобиль с телами проехал через еще спавший город и направился к лесу. Комиссар Ваганов ехал впереди верхом, так как надо было избегать встреч. Когда уже стали приближаться к лесной поляне, на которую направлялись, он увидел ехавшую ему навстречу крестьянскую телегу. Это была баба из села Коптяки, выехавшая ночью со своим сыном и невесткой для продажи в городе своей рыбы. Он немедленно приказал им повернуть обратно и вернуться домой. Для большей верности, сопровождая их верхом, он ехал рядом с телегой и запретил им под страхом смерти оборачиваться и смотреть назад. Все же крестьянка успела мельком увидеть большую темную массу, двигавшуюся позади всадника. Вернувшись в деревню, она рассказала о том, что видела. Под влиянием любопытства крестьяне отправились на разведку и натолкнулись на цепь часовых, расставленных в лесу.

Между тем, после больших затруднений, так как дорога была очень плоха, грузовик доехал до лесной поляны. Трупы были сложены на землю и частью раздеты. Тут комиссары обнаружили большое количество драгоценностей, которые великие княжны носили спрятанными под своей одеждой. Они тотчас ими завладели, но в спешке уронили несколько вещей на землю, где их затоптали. Трупы были затем разрезаны на части и положены на большие костры. Для усиления огня в них подлили бензина. Части, наименее поддающиеся огню, были уничтожены при помощи серной кислоты. В течение трех дней и ночей убийцы делали свою разрушительную работу под руководством Юровского и двух его друзей — Ермакова и Ваганова. Из города на поляну были привезено 175 килограммов серной кислоты и более 300 литров бензина.

Наконец 20 июля все было кончено. Убийцы уничтожили следы костров, и пепел был сброшен в отверстие шахты или разбросан вблизи опушки, дабы ничто не обнаружило того, что произошло.

Зачем эти люди так старались замести всякий след содеянного ими? Зачем они прячутся, как преступники, раз они утверждают, что творят дело правосудия, и от кого они прячутся?

Нам это объясняет в своем показании Павел Медведев. После преступления Юровский подошел к нему и сказал: «Оставь на месте наружные посты, а то как бы народ не взбунтовался». И в следующие дни часовые продолжали охранять пустой дом, как будто ничего не произошло, как будто за оградой все еще находились узники.

Тот, кого надо было обмануть, кто не должен был знать — был р у с с к и й н а р о д...

* В. Милютин — «Страницы из дневника». «Прожектор», 1924 г., № 4. (Прим. автора).

СОЗДАНА КОМИССИЯ

На общественных началах создана комиссия по вскрытию места захоронения и исследованию предполагаемых останков убиенных членов императорской семьи, которую возглавил иеродиакон Дионисий (Макаров). Комиссия обратилась за помощью к Председателю Верховного Совета СССР М. С. Горбачеву, а также, что естественно, к родственникам убиенных — монархам ряда европейских государств. Прежде всего, конечно, необходимо научное исследование останков с целью удостоверения их подлинности, которое должны провести совместно историки, археологи, криминалисты, все заинтересованные лица.

Для связи с созданной комиссией существует абонентский ящик 493 («Комиссия по вскрытию места захоронения и исследованию предполагаемых останков убиенных членов императорской семьи») в п/о Г-96 (Москва, 121096).

(«Московский литератор», № 27. 23 июня 1989 г.).

ЛИТЕРАТУРА

СТИХИ. ПОВЕСТЬ. ЭССЕ.



Анатолий Передреев

Анатолий Передреев (1934—1988) — поэт истинный. У настоящей поэзии нет для нас тайн, она щедра ко всем людям, независимо от их происхождения или образования.

Была бы только душа наша жива и отзывчива... Простоту, ясность и доступность настоящей поэзии можно сравнить с простотой, ясностью и доступностью воздуха: и тут и там не замечаемая нами необходимость. Да, поэзия, благотворно и мощно воздействуя на душу, не желает обнаруживать своего присутствия. Она жизненно необходима нашей душе, но не навязывает ей себя и не фамильярничает с нею. (Не зря воздух одного корня с такими словами, как дух и душа. Глагол «вздохнуть» обозначает одновременно физическое и душевное движение).

В странном загадочном сочетании благотворного влияния и нежелания быть загадочной, может быть, и заключается главная тайна поэзии. Постичь эту тайну пытаются литературные критики всех времен. Но там, где начинается нездоровое любопытство, поэзия со стыдом, а может и с гневом, исчезает. Она не допускает срывания с себя небесных покровов. И мы напрасно путаем настоящую поэзию с той, которая разрешает себя обнажать...

Все это я говорю лишь относительно наших читательских отношений с поэзией. Но ведь тайна ее рождения, ее появления, связанная с жизнью поэтов и их поэтическим вдохновением, еще глубже, еще страшней и прекрасней.

На этом месте надо опять повториться: говорю о настоящей поэзии, а не о синтетической. Синтетическая поэзия существовала уже и около Пушкина и Тютчева. А нынче: сразу ли видна разница, например, между натуральным мехом и синтетическим, между огурцом, выращенным на грядке, и гидропонным? Между горным хрусталем и обычным стеклом? Нет, не видна она сразу — эта разница, особенно при искусственном, а не при солнечном освещении. И вот многие наши издатели и литературные критики уподобляются проворным торговцам, обманным образом сбывающим ненатуральный товар. По недомыслию, а иногда и намеренно (т. е. приглушая свою совесть) они ставят совершенно бездарных и совершенно талантливых поэтов в один логический ряд. Такие уловки раскрываются тотчас, но от того не легче. Талант поэтический не совпадает с искусством безбедно жить. Николаю Рубцову и Анатолию Передрееву надо было не просто жить, надо было суметь в ы ж и т ь. Они были рыцарями настоящей поэзии, и соседство с рыцарями инвалютных касс их не устраивало. Такое соседство и постоянное безденежье для обоих было глубоко оскорбительным, но они остались верны настоящей поэзии. И они погибли..

Успели ли они исполнить предназначение? Я думаю, что успели, хотя книги, при жизни изданные, у обоих вмещались в одном пиджачном кармане.

Впрочем, кто знает? Анатолий Передреев уже совсем близко стоил к тютчевскому восприятию окружающего нас мира:

Когда с плотины падает река,
Когда река свергается с плотины,
И снова обретает берега,
И обнажает медленно глубины,—

Она стремится каждою волной
Туда, где синь господствует неслышно,
Где ивы наклонились над водой
И облака застыли неподвижно...

Она прошла чистилище труда,
И — вся еще дрожа от напряженья —
Готовится пустынная вода
К таинственному акту отраженья.

Двенадцать передреевских строк, всего двенадцать, говорят мне больше, чем целый двухтомник стихотворного публициста, про которого один болгарин сказал: «Он всегда на баррикадах, то с той стороны, то с этой».

Баррикады, однако ж, нужны больше для самоутверждения, чем для самовыражения. Для настоящих поэтов, как мне представляется, баррикады вообще не нужны.

Скорбь, вызванная безвременной смертью подлинного поэта, от времени не стихает. Тепло живого общения ничем не заменишь. Но мы читаем его стихи, и тогда вступает в свои права живая память.

Одна фальшивая, синтетическая да в придачу еще и денежная, поэзия беспамятна и безблагодатна...

Василий БЕЛОВ

СЛОВО О ДРУГЕ

«НУЖНА ЗЕМЛЯ И РОДИНА НУЖНА»

ВОСПОМИНАНИЕ О СЕЛЕ

Села давнишний житель...
С. Есенин

Кричит петух
Рассветный и охрипший...
Чуть шевелит солому ветерок...
Кричит петух
И бьет крылом по крыше —
Роняет утро
Белое перо.

Кричит петух...
И вот из дальней дали
Пахнет дымком
И сеном тишина
И всем,
О чем воспоминанья стали
Как сон неясный,
Как обрывок сна.

Сейчас туда
Ползет туман из балки...
Белеет пруд
И лысая гора...
Там никого,
Ни деда и ни бабки
Нет у меня,
Ни отчего двора...

Забыв о том,
Как сеяли и жали,
Давным-давно
Мои отец и мать
Из деревеньки этой
Убежали,
Едва-едва успели убежать.

Тогда в деревне
Начиналась смута,
И с правдой
Перемешивалась ложь,
Кому-то захотелось
Слишком круто
Судьбу крестьян
Перемолоть, как рожь...

И по всему
Голодному Поволжью
Смерть
От села ходила
До села,
И люди гибли,
Падали под вошью,
И дальше
Вошь тифозная
Ползла...

. . . .

Какие бури
В мире просвистели,
Каким железом
Век мой прокричал!..
И вот в душе
Чуть слышно,
Еле-еле
Запел родник —
Начало всех начал.

И вот над краем
Дорогим и милым
Кричит петух...
Ах, петя-петушок,
Как вскинуть он старается
Над миром
Свой золотой,
Свой бедный гребешок!

Кого зовет он так
По белу свету,
Как будто знает —
Песнь его слышна,
И понимает —
Русскому поэту
Нужна земля
И Родина нужна.

ОТЧИЙ ДОМ

В этом доме
Думают,
Гадают
Обо мне
Мои отец и мать...
В этом доме
Ждет меня годами
Прибранная, чистая кровать.

В черных рамках —
Братьев старших лица
На беленых
Глиняных стенах...
Не скрипят,
Не гнутся половицы,
Навсегда
Забыв об их шагах...

Стар отец,
И мать совсем седая...
Глохнут дни
Под низким потолком...
Год за годом
Тихо оседает
Под дождями
Мой саманный дом.

Под весенним —
Проливным и частым,
Под осенним —
Медленным дождем...
Почему же
Все-таки я счастлив
Всякий раз,
Как думаю о нем?!

Что еще
Не все иссякли силы,
Не погасли
Два его окна,
И встает
Дымок над крышей
Синий,
И живет над крышею
Луна!

1960

МОСКОВСКИЕ СТРОФЫ

В этом городе старом и новом
Не найти ни начал, ни конца...
Нелегко поразить его словом,
Удивить выраженьем лица.

В этом городе новом и старом,
Озабоченном общей судьбой,
Нелегко потеряться задаром,
Нелегко оставаться собой!

И в потоке его многоликом,
В равномерном вращенье колес,
В равнодушном движенье великом
Нелегко удержаться от слез!

Но летит надо мной колокольня,
Но поет пролетающий мост...
Я не вынесу чистого поля,
Одиноко мерцающих звезд!

1964

БАНЯ БЕЛОВА

1.

В нелучшем совсем состоянье своем
Я ехал к Белову в родительский дом.

Он сам торопился, Василий Белов,
Под свой деревенский единственный кров.

И гнал свой «уазик» с ухваткой крестьянской
Сначала — по гладкой, а дальше — по тряской.

Везли мы с собой не гостиницы, а хлеб...
И ехали с нами Володя и Глеб.

Володя, в свой край нараспашку влюбленный,
И Глеб присмиревший, с душой затаенной...

В начале пути нам попалась столовка,
Где жалко себя и за друга неловко.

Каких-то печальных откушали щей
И двинулись дальше дорогой своей...

И вот предо мною зеленый простор
Величье свое бесконечно простер.

Стояли леса, как недвижные рати,
В закатном застывшие северном злате.

Сияли поля далеко и прозрачно...
Но было душе неуютно и мрачно.

Бескрайние эти великие дали
Мне душу безмолвьем своим угнетали.

Я видел, как дол расстилался за долом,
Какой-то сплошной тишиной заколдован.

И реки пустынные — Кубена... Сить...
Здесь некому вроде и рыбу ловить.

Среди их привольно катящихся волн
Хоть чья бы лодчонка, хоть чей-нибудь челн!..

Густела в полях вечереющих мгла.
И странные нам попадались дома.

Они величаво из мглы возникали,
Как будто их ставили здесь великаны.

Наверное, ставили их на века —
Такая во всем ощущалась рука.

Такое надежное крепище бревен...
Но облик их был и печален, и темен.

Ни света из окон, ни дыма из труб,
Безмолвен был каждый покинутый сруб.

И мрачно они средь полей возвышались.
Куда же хозяева их подевались?!

Но каждый об этом угрюмо молчит...
И молча мы едем в глубокой ночи...

Но вот наконец нас хозяин привез
В деревню свою под сиянием звезд.

2.

По-черному топится баня Белова,
Но пахнет березово, дышит сосново.

На вид она, может быть, и неказиста,
Зато в ней светло, и уютно, и чисто.

Когда в ее недрах всколыхнется жар,
Она обретает целительный дар.

Она забирает и тело, и душу,
Все недуги их извлекает наружу.

Любую усталость, любой твой кошмар
Вбирает в себя обжигающий пар.

И, весь разомлев, ты паришь невесомо,
Забыв, что творится и в мире, и дома...

И с пышущей полки встаешь, обнажен,
Как будто бы заново в мире рожден.

Как будто бы весь начинаешься снова...
По-черному топится баня Белова.

3.

И светлая взору предстала деревня,
Живая деревня в краю этом древнем.

Из сказки забытой, казалось, возник
Ее отуманенный временем лик.

Темнели на избах высоких узоры,
И окна синели, как жителей взоры.

Распахнутый миру — входи на порог! —
Под небом пустынным жилой островок.

Казалось, один он остался на свете
Затем лишь, чтоб путника в мире приветить.

Хоть много чего сохранить не смогла,
Но душу деревня еще сберегла.

Наверно, вовеки она не иссякнет,
Раз вынесла столько погибели всякой.

Наверно, вовеки она не исчезнет,
Раз столько еще и добра в ней, и чести.

Раз детская чья-то головка одна
С таким любопытством глядит из окна.

Раз может еще так глазами сиять
Анфиса Ивановна, Васина мать...

И сразу просторы исполнились смысла,
И небо иначе над ними нависло.

И дали, что с новой встречаются далью,
Уже не дышали такою печалью.

Все сделалось радостней, стало прочней —
Земля при деревне и небо при ней!

И мир не казался уже сиротою
Со всей необъятной своей широтою.

К деревне ведет и тропа, и дорога.
Еще как богата земля, и так много

И сил, и красы у земли этой древней...
Доколе лежать ей, как спящей царевне,

Доколе копить ей в полях своих грусть,
Пора собирать деревенскую Русь!

Пора возродить ее силу на свете —
Так пели и травы, и листья, и ветер.

Так думали поле, и речка, и лес,
И даль, что смыкается с далью небес.

Так думал, наверно, Василий Белов,
Что вел нас по отчему краю без слов.

Пора! — это Времени слышно веленье —
Увидеть деревне свое возрожденье.

А все, что в душе и в судьбе наболело, —
Привычное дело, привычное дело...

1985

КНИГИ АНАТОЛИЯ ПЕРЕДРЕЕВА:

«Судьба». М., 1964; **«Возвращение»**. М., 1972; **«Дорога в Шемаху»**. Баку, 1979; **«Равнина»**. М., 1981; **Стихотворения»**. М., 1986. В 1988 году в издательстве «Советская Россия» вышел первый посмертный сборник поэта **«Любовь на окраине»**. В конце 1989 года в издательстве «Современник» выходит книга **«Лебедь у дороги»**, в которую вошли лучшие и ранее неопубликованные стихотворения, избранные переводы и критические эссе **«Читая русских поэтов»**.

ЮРИЙ МАКСИМОВ



(Январь 1926 года)

Фото ВИКТОРА ЛАРИНА



Юрий МАКСИМОВ родился в Тбилиси в 1947 году, в семье военнослужащего. Окончил исторический факультет МГПИ им. В. И. Ленина. Печатался в литературных журналах и газетах, переводил поэзию народов СССР.
Живет и работает в Москве.

СОВРЕМЕННАЯ
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОВЕСТЬ

Выдался тот январь холодным и ветреным, посыпал он раны солью. Из неисправных печей вырвался и заплясал на стенах и крышах старинный враг города огонь. По нескольку раз в сутки, и ночами особенно, взметалось в небо ржавое пламя, оставляя черные скелеты от домов каменных и головешки от деревянных. Тысячи беспризорных детей, спасаясь от холода, наводняли чердаки и подвалы, вокзалы и общественные уборные, тысячи бездомных взрослых мыкались по обледенелым московским улицам в поисках ночного убежища. Вспыхнули эпидемии. Смертность в городе, и без того высокая, подскочила до крайности. Не хватало уже земли на уютных московских кладбищах, не хватало гробов в частных лавчонках. А тут еще волна самоубийств прокатилась. Роптали люди. По Москве слух прошел: дескать, в родильном доме Снигирёва родилась девочка — без глаз, без мозга и с хоботом вместо носа. Знамение! А злые языки болтали, будто бы дали девочке имя Революция.

Николенька Долин, известный читающей публике репортер, спешил в партклуб на совещание. Он только что сдал в редакцию заметку под названием «Нежность и дружба капиталистов всех стран» и теперь трясся в переполненном трамвайном вагоне, с неудовольствием слушая, как пьяненький и нахальный дедок распевал частушки:

Едет Рыков на телеге,
Я за ним вдогонку:
Разреши, товарищ Рыков,
Выгнать самогонку.

Николенька, прозванный так ласково за огромный рост и широченную крестьянскую спину, не выдержал.

— Ты бы, дед, заткнулся, — сказал он гулким, колокольным голосом.

Неудовольствие Долина проистекало не из того, что он не любил частушек, хотя бы и политических, а из того, что в этой частушке содержался неприятный для него намек на злосчастную предрасположенность Предсовнаркома к спиртному. Долин уважал вождей и не выносил сплетен.

— Слухаю, товарищ начальник, — притворно испуганно отрапортовал дед и тут же пристал к молодому парню, явному пролетарию, если судить по черной копоти, въевшейся в его лицо и руки. — Эй, вьюноша, а чиво там про мыло пишут?

Парень, ухитрявшийся в толчее читать газету, охотно откликнулся:

— Спрос превышает предложение...

— Так, так... Это значит, извиняйте, товарищи женщины и старухи, хрен на рыло?

— А тебе бы, дед, не мешало помыться, — послышался усталый женский голос. — На весь вагон, как от козла, несет.

— Это от шубы, — невозмутимо ответил дед и вдруг умильным сладким тенорком поинтересовался. — А чиво там, к примеру, пишут про дорогого товарища Луначарского?

— Сейчас, было..., — послушно зашелестел газетой парень. — Вот: «На будущей неделе в Москву возвращается товарищ Луначарский, — зачитал он громко, — сейчас товарищ Луначарский находится в Болье на юге Франции. На обратном пути Анатолий Васильевич задержится на несколько дней в Париже и Берлине».

— Господи, Иесусе Христе, — запричитал дед, — мучится дорогой товарищ Луначарский в зубастой пасти буржуазии...

Долин протиснулся к дверям и, бросив тревожный взгляд на зажатые в кулаке часы-луковицу, спрыгнул в морозную тьму.

Партклуб помещался в старинном облупленном особняке, украшенном по фасаду колоннами, и являл собой, по выражению его коменданта Абрама Койфмана, каменное лицо царизма. Внутри он был темен и мрачен, свет скрадывали многочисленные арочки и полуарочки, и лишь прибитые гвоздями к тусклым серо-зеленым гобеленам футуристические лозунги и плакаты оживляли картину запустения и уныния. Чудом уцелевшие красно-бархатные стулья с рахитичными ножками нелепо смотрелись рядом с добротными широкими скамьями, сработанными клубными плотниками под руководством коменданта.

Помещение клуба строго делилось на две части. В одной всегда было шумно, накурено и весело, порой даже играла гармошка и дробно стучали каблуки танцующих, в другой, где по категорическому утверждению все того же коменданта бывший владелец особняка занимался развратом с многочисленными наложницами, тишину нарушали лишь страстные звуки политического диспута. Там проходили совещания.

Долин толкнул нужную ему дверь, над которой красовался лозунг «НАС СПАСЕТ НЭП», и с облегчением убедился, что успел вовремя. Товарищ Задоров, куратор чуть ли не всей городской печати, еще только усаживался за длинный, крытый зеленым сукном стол, уставленный графинами с водой и гранеными стаканами.

— Ну что, молодцы-храбрецы, начнем?

— Начнем, Семен Лукич...

Задоров потер ладонью толстую красную шею, по-стариковски вздохнул и заглянул в свой блокнот.

— Начинай, пожалуй, ты, Константин. Чем мы бездомных людей порадуем?

Кости Сазонов, член БЮРПРОЛСТУДА, то есть Бюро пролетарского студенчества, председатель Сообщества добровольных помощников прессы, зарделся болезненным румянцем, встал и, волнуясь, заговорил:

— Мы, студенты-активисты, проанализировали этот вопрос. Подготовили материал. Сейчас в Москве имеется три ночлежных дома с пропускной способностью 2800 человек в день. Однако всех желающих они удовлетворить не могут. Ежедневно в этих домах приходится отказывать 300—400 человекам. А посещаемость-то их все увеличивается. В 1923 году через ночлежные дома прошло 400 тысяч человек, а в 1925 году — миллион. В настоящее время заканчивается организация четвертого такого дома на 600 человек.

Он с трудом подавил приступ кашля и затих.

— Так, так.., — Семен Лукич что-то отметил в своем блокноте. — И это все, что вы проанализировали?

Сазонов кивнул.

— Ну, а чем же наши советские ночлежные дома отличаются, к примеру, от царских?

— Ну, сравнили, Семен Лукич! — воскликнул Сан Саныч Веревкин, редактор городской газеты «Советский служащий».

— А все же?

Лицо Сазонова просветлело.

— В двух домах с помощью студентов оборудованы библиотеки-читальни.

— Во! Это уже ближе к истине. А еще?

В наступившей тишине Костя повесил голову. Задоров, помолчав минуту, резко спросил:

— Как там санитарное состояние домов?

— Плохо, Семен Лукич.

— Это твое такое мнение?

— Мое... — Сазонов горестно вздохнул.

— Нет, не плохо, товарищ студент, — Задоров наставительно поднял к лицу указательный палец, — но оставляет желать лучшего. Понял? Я сам снесся с врачами. Поэтому в твоем материале предлагаю так и записать: «Санитарное состояние этих домов, по отзывам санитарных органов, признается вполне удовлетворительным, хотя и оставляет желать лучшего».

Он закурил папиросу и добавил:

— Ты свой материал, Константин, передай товарищу Шацкому. Мы его опубликуем. А сам, дружок, давай топай домой. А то ты мне весь актив перезаразишь.

Проводив сгорбившегося студента строгим взглядом, Задоров неожиданно заулыбался и даже подмигнул полному лысеющему краснолицему Сан Санычу.

— Теперь твоя очередь...

Веревкин тоже широко заулыбался в ответ и поспешно развернул в руках лист бумаги.

— Пишет нам, Семен Лукич, член Мосавиахима, уже два раза взметавшийся в небо. Внимание: «Мы твердо знаем, что последние печальные строки Есенина звучат тягостной клеветой на нашу действительность. Неправда! Жить сейчас — ново, жить сейчас в СССР — это значит жить так, как никто никогда не жил. А умереть... Кто живет ново, тот не думает, что умирать не новей».

— Молодец, парень, — Задоров одобрительно кивнул головой. — По-нашему — без соплей. И ты молодец, Сан Саныч, что момент чувствуешь. Этого мученика развенчать надо — есть такое мнение. Сорвать, так сказать, ореол и это... оставить пьяницу. Так что печатай, Сан Саныч, непременно печатай.

— Я понял, Семен Лукич...

— Вот, вот.., — Задоров задумчиво пустил в потолок клуб дыма. — Что у тебя, товарищ Шацкий?

Худощавый брюнет в пенсне ласково погладил пальцами черный клинышек бородки и нехотя процедил:

— У меня вопрос спорный, Семен Лукич.

— Давай свой спорный.

— Видите ли... Мы хотим дать рекламу крематориев, но некоторые наши коллеги боятся возбудить чувства верующих.

Задоров стрельнул в Шацкого маленькими льдинками глаз.

— Ты же, если не ошибаюсь, из воинствующих безбожников?

— Я не про себя говорю...

Семен Лукич нехорошо усмехнулся.

— А нищих да беспризорных, а бездомных да одиноких тоже по-православному хоронить будем? Может, и попа позовем? — он тяжело откинулся на спинку стула. — А деньги? Может быть, ты дашь?

— Вы ломитесь в открытую дверь, Семен Лукич, — невозмутимо и даже слегка брезгливо ответил Шацкий. — Если бы не деньги, то чего мы бы стали огород городить? — он пожал плечами. — Ну, да ладно. Вам решать. Дело-то, собственно, вот в чем. Изобретатель современных кремационных печей инженер Сименс добился возможности при сравнительно малом расходе топлива получать необходимую температуру в 800—1000 градусов Цельсия. При пяти сжиганиях в день в среднем тратится 6 пудов кокса стоимостью в 2 рубля 40 копеек. Полное сожжение тела происходит в течение 70—90 минут. От трупа остается от полутора до двух килограммов костей и пепла. Наши инженеры уже заинтересовались. Да... Так вот, стоит ли овчинка выделки? Надо ли освещать в печати?

— Надо! — Задоров хлопнул ладонью по столу, над зеленой скатертью поднялось облачко пыли. — И дискуссий по этому поводу разводить не будем. Когда человек уже покойник — это самая бесспорная вещь на свете.

Последняя фраза Задорова напомнила Долину одну из баек, ходивших о Семене Лукиче среди журналистов. Будто бы эти же самые слова он сказал, увидев повешенного на осине махновцами своего младшего брата, белогвардейского прапорщика. Было сие, якобы, в гражданскую, когда Махно воевал за красных, и Долин, не склонный верить слухам и домыслам пишущей братии, все же очень внимательно посмотрел на Задорова и, ему показалось, физически ощутил исходящую от него неутомимую и не знающую сомнений силу — силу падающего с неба камня.

— Изобретение века! — шутовски воскликнул Сан Саныч.

— А вы что думали? — повернулся к нему серьезный Шацкий...

Совещание шло своим чередом. Говорили о нэпе и о польских фашистах, о Коминтерне и о классовых корнях преступности. Особое оживление вызвал вопрос о том, как лучше встретить делегацию китайских журналистов во главе с генералиссимусом Ху-Хань-Минем. В разгар словопрений Долин вдруг почувствовал в себе приближение приступов той болезни, какую он некоторое время назад определил для себя, как «раздвоение полушарий мозга». Болезнь эта приходила к нему вместе с усталостью, сотканной из бессонных ночей, вечной спешки, неустроенности быта и еще черт знает чего, наваливалась на него мокрой тяжелой ватой и заключалась в том, что он, словно паршивый субъективный идеалист, переставал верить в реальность окружающего мира. Все вокруг начинало казаться ему нелепым, особенно в своем сочетании, начиная с собачьего дерьма на крыльце магазина и кончая фразой «Счастье — это борьба», так восхищавшей его в здоровом состоянии. В такие минуты он с отстраненным удивлением взирал на мельтешащие перед ним лица, прислушивался к нескончаемому бессмысленному гулу голосов, доносившемуся будто из-под земли, а главное, никак не мог уловить логики совершающихся перед ним событий, того необходимого порядка, какой существует в природе и какой обязательно должен быть у нормальных людей.

Вот и сейчас, Долин хоть и пытался сопротивляться этой болезни, незаметно щипал себя за ногу, то и дело вздрагивал и неестественно широко раскрывал глаза, но уже не понимал ничего из того, что видел и слышал. На какой-то миг он куда-то провалился и увидел огромный черный диск Земли, висящий в мерцающей пустоте, и мчащегося на четвереньках по краю диска Семена Лукича Задорова и восседающего на нем Шацкого.

— Ур-ра! — кричал Шацкий.

— Иго-го! — ржал Семен Лукич.

— Эй, Николенька-богатырь, ты, никак, спишь?

Дружеский, но чувствительный толчок в бок отозвался в Долине сонным ужасом. Он увидел устремленные на него глаза, улыбающиеся, ухмыляющиеся и сочувствующие лица и покраснел до свекольного цвета.

— Ну, что вылупились на человека? Устал человек, — Задоров укоризненно оглядел присутствующих. — Конечно, некоторым этого не понять. Некоторые не больно-то пашут во славу революции. Вот, вы, те, что в углу шепчутся, — он повысил голос и даже привстал со стула, — Цицероны! Да, да, вы двое. Вы, чем рожи-то кривить, лучше бы рассказали нам о своих великих победах. А? Чего потупились?

— А что случилось, Семен Лукич? — спросил Шацкий.

— Что? Да ничего особенного. Просто они, сукины дети, опубликовали рисунок, где путешественник Миклуха Маклай стоит у папуасской хижины и подписали: «Товарищ Зиновьев в Разливе».

Сан Саныч крякнул и застонал.

— А потом всей редакцией по морозу бегали, свой же тираж скупали. Что, думали — не узнаю? Благо еще, что газетка ваша поганенькая и тираж соответствующий. Денег-то хватило или чего в ломбард снесли?

— Семен Лукич, клятвенно... — взмолился умирающий голос, — клятвенно, товарищ Задоров...

— Сгинь! — сказал Семен Лукич и раскурил вторую папиросу. — Вот на этой трагической ноте мы и закончим наше совещание. Все свободны, товарищи.

Долин, испытывая явное чувство облегчения, уже успел подвинуться к двери, как услышал голос Задорова:

— Николай! Долин! Задержись на минуту.

Он так и застыл на месте.

«Чуяло мое сердце... И чего ему надо?»

Когда они остались одни, Семен Лукич некоторое время рассовывал по карманам портсигар, блокнот, еще какие-то мелочи, потом сказал.

— Я вот что хотел спросить, Николай. Ты подумал о моем предложении?

— Подумал, Семен Лукич.

— Ну, и как?

— Рано мне еще в начальники.

— Рано? — Задоров неожиданно перешел на шепот. — Пойми, голова твоя садовая, что если такие как ты будут и дальше скромничать, то те, другие, кому вы отдадите свои места, вам же головы и открутят. За ваше же благородство. Ты отдаешь себе в этом отчет?

— Нет, Семен Лукич.

— То-то и оно, — Задоров сокрушенно кивнул, — мало вас все-таки пороли, ну да... В общем, я буду твердо выставлять твою кандидатуру. Понял?

— Понял...

Задоров взял под мышку свой знаменитый портфель яркой желтой кожи.

— Пора, пойдем потихоньку. Хотя... — он посмотрел в лицо Долину, — хотел, понимаешь, попросить тебя об одном одолжении...

По тому нарочито небрежному и безразличному тону, каким это было сказано, Долин понял, что сейчас он услышит главное, ради чего Задоров попросил его задержаться.

— Ко мне, понимаешь, дальняя родственница приехала... Два дня уже прожила, да не могу я ее больше у себя держать,— он заметно смутился и похлопал себя ребром ладони по шее,— жена молодая, что сабля боевая. Совсем заела.

— Понимаю, Семен Лукич.

— Спасибо на слове, Николай... Вот я и подумал... Слышал, что у тебя при комнате чулан имеется, отросток такой без окон. Не приютил бы ты ее, а? Всего денька на два-три, пока я подыщу что-нибудь. Соседям скажешь: сестра, мол, приехала...

— Да, пожалуйста, Семен Лукич, — Долин искренне улыб-

нулся, — хоть сейчас. Только ей в темнице моей неудобно будет. Я сам туда переберусь, а она...

Задоров даже всплеснул руками.

— Ни в коем случае! Невелика барыня. Да и ты целыми днями до поздней ночи на работе мотаешься — пусть сидит, где хочет...

Они погасили свет, почти в полной темноте привычно пошли по опустевшему зданию.

— Спасибо тебе, Николай, выручил. Сам знаешь — за мной не пропадет.

— Да что вы, Семен Лукич!

— Не пропадет, Николенька! Я только о чем тебя предупредить хотел... Она женщина молодая еще, но хлебнула, видать, сверх меры. Ты не думай — партизанка, герой войны, можно сказать. Только нервы уж больно расшатала. Не выдержали нервы-то. Странная стала, заговаривается... А то молчит часами. Ты не бойся — она тихая...

— Я и не боюсь, Семен Лукич.

— Еще бы — к тебе, богатырю, и слово-то это не вяжется. Знаю, ты сироту не обидишь...

— Семен Лукич!

— Не сердись, Николенька. Я ведь потому других не прошу, что не верю им. Никому не верю. Хоть этого Шацкого возьми: красавец, орел, воинствующий безбожник, правда?

— Правда...

— А сам в синагогу ходит.

— Откуда вы знаете?

— Знаю, Николенька, знаю. Я много кое-чего знаю...

На первом этаже в круглой, ближайшей к выходу, зале еще горел свет. Молодые ребята приклеивали к деревянному стенду большие фотографии. По верху стенда шла крупная красная надпись: «Новый состав Политбюро ЦК ВКП(б). Тт. Бухарин, Зиновьев, Троцкий, Молотов, Сталин, Калинин, Ворошилов, Рыков». На противоположной стене висел тоже свежий плакат, но буквы на нем были синие: «Мы приветствуем решения 14-го партсъезда, направленные к единству партии, незыблемому сохранению основ ленинизма. Мы резко осуждаем оппозицию тт. Зиновьева, Каменева, Сокольникова, Крупской и Ленинградской делегации».

— Я одного не понимаю, Семен Лукич, — Долин задумчиво смотрел на плакат, — как же это — Крупская, жена Ильича...

— Вдова, Николенька, вдова. В том-то и дело, что вдова,— Задоров рассеянно переминался с ноги на ногу, — кстати, ты знаешь, как Ленин Каменева звал?

— Нет...

— Тюфяковым.

— Почему?

— Потому что тот никогда своего мнения не имел. Так мы договорились? Завтра часиков в двенадцать я к тебе ее и привезу.

— Когда угодно, Семен Лукич. Я сам-то днем в суде буду, потом в редакции, но Марию Александровну, соседку, предупрежу. Она всегда дома.

— Предупреди. Скажи, мол, дядька сестру привезет. Двоюродную, скажи, чтоб сходства не искала

Они расстались на углу Малой Бронной. Ветер свистел в подворотнях, в бледном свете фонарей у освещенного здания театра вилась поземка. Из дверей непрерывным ручейком выходили люди. Кончился спектакль, кончился длинный рабочий день Долина.

2

Был у сына орловского крестьянина, члена ВКП(б) Николая Ивановича Долина дорогой друг-ровесник, тридцатилетний потомственный пролетарий, тоже член партии Сергей Петрович Остроухов. Зародилась их дружба в восемнадцатом году на Тамбовщине, в кровавом бою с красновцами у станции Филоново. Вынес тогда невысокий и щуплый на вид Остроухов из горящей избы контуженного Долина, укрыл его от юнкерских пуль да казацких сабель. С тех вот пор и сражались они бок о бок за села и хутора, за станицы и слободы, за грядущую мировую революцию. А когда разбросала друзей фронтовая судьба в разные стороны, осталась в их сердцах неизбывная память друг о друге да еще о первом их командире, несравненном красном соколе Васо Киквидзе. После войны Долина вызвали в Москву, а Остроухов вернулся в свой родной Харьков, где возложили ему на плечи нелегкую ношу руководящей профсоюзной работы. И трудно сказать, скрестились бы их судьбы еще когда-нибудь, если бы не попалась на глаза Остроухову центральная газета с заметкой Долина и не послал бы он на адрес редакции письмо своему товарищу. Так и возникла их переписка — незамутненный ручеек откровенности и взаимного доверия.

«...Эх, Коля, еще неизвестно, от кого я больше натерпелся за свою революционную деятельность — от царских ли сатрапов или от своего родного отца Петра Евграфовича. Имел мой батя золотые руки и одну из самых почитаемых рабочих профессий в России слесаря-инструментальщика. Работал он не за страх, а за совесть и даже в самые тяжелые годы получал не меньше восьми рублей в день. По этой причине и сторонился батя революции, утверждая, что нужна она только бездельникам да неумехам, называл забастовщиков бузотерами, а профессиональных революционеров — сатанинским отродьем. Меня же, сына своего единственного, бил батя смертным боем всякий раз, как уличал в связи с бузотерами, и воспитывал таким образом регулярно вплоть до февраля 17-го, когда, вдруг, получил от меня, озверевшего, по зубам. Засим выгнал он меня из дома, торжественно проклял и зажил жизнью бездетного вдовца и самодура. Давно уж он бросил завод, в войну и после нее чем-то промышлял, а теперь (позор на мою голову!) выполняет на дому заказы какой-то нэпманской конторы. У меня волосы встают дыбом, как подумаю, что, может, он по дури, не соображая, им какой-нибудь воровской инструмент мастерит. И то — живет слишком жирно. Недавно заходил к нему (душа болит!), а он водку сидит пьет с каким-то дедом хитроглазым. Сам расхристанный, под носом капуста соленая. Как увидел меня, радость изобразил, а выпили по стопке, юродствовать начал. «Что же ты, — говорит, — Сереженька, здеся обретаешься? Чего тебе здеся теперь делать? Я-то думал, ты в Китае давно. Режимы сокрушаешь. Для тебя же, Сереженька, режимы сокрушать — это наипервейшее дело в жизни». Я сижу, терплю, тоже капустой чавкаю. А он еще стопку хлопнул и деду этому: «Слушай, — говорит, — Никанор Степаныч, о чем я думаю, о чем слезы ночами лью. Работал я, как вол, сызмальства, бога чтил, копейки чужой в руки не взял. Так за что же, думаю, мне эти сопляки проклятые такую старость устроили?» Тут уж я не выдержал: «Сам ты себе старость такую устроил, — ору. — Другие пóтом, кровью исходят, социализм воздвигают, а ты за нэпманский сребреник с потрохами продался!» Ну, и пошло-поехало. В общем, опять подрались».

«...А мне, Серега, все деревня снится. И родители покойные, и сестры... Помню, что последнюю ночь в деревне перед уходом в армию я на лугу у костра спал. Так вот теперь мне иногда кажется, что как заснул я тогда, так и не просыпался вовсе. Кажется, проснусь сейчас, протру глаза и опять все увижу, все памятное до былинки отдельной: и луг наш, и гребень сосен за лугом, и пруд, и даже бывшего помещика дочку с зонтиком. Проснусь, приду в себя и удивляться стану: ну, и сон же мне приснился — длинный и страшный. Потом потеряется тот сон в памяти; рассыплется, и лишь одни обрывки от него все реже и реже тревожить будут...

Вот такие мои чудачества, Серега. Умом-то я понимаю, что все настоящее у меня только с фронта и началось, но... А что, собственно, но? Не бери в голову...»

«Николай! С нашей внутрипартийной дракой мы так влипнем, что никаким «Капиталом» не отмолимся. Мы позволили оппозиции взбаламутить народ, а теперь уверяем себя и всех в нашей «монолитности» и «сплоченности». Какая к черту монолитность, если мы со Второго съезда только и делаем, что деремся. Я с ног валюсь от всех этих собраний и словопрений. И что характерно: если у вождей оппозиции есть хоть какие-то мысли, то у их последователей на местах — одни только вопли и рыдания. Не тот мы им, видите ли, социализм строим! Все они вместе взятые похожи на того хитрожопого клиента, который всучил портному сукно-дерюгу, а через неделю, придя на примерку, стал орать, что сдавал чистейший крептух и что ему нужно сшить фрак, причем точь-в-точь, как у Шаляпина. Что же, по-твоему, остается делать портному? По-моему, заткнуть этому клиенту рот его же дерюгой да еще дать разок-другой по зубам. Может, я не прав, Николай? Так ты не поленись, отпиши...»

«...Ты, Серега, палку все же перегибаешь. А на монолитность нашу зря с разгону напал. Непростая она штука. Вспомни: мы же взяли власть и отстояли ее в жестокой схватке? А почему? Да потому, что с монолитностью у наших врагов дела обстояли еще хуже. Но все равно грустно. Я и сам был глубоко и радостно уверен, что с окончанием гражданской войны всем нашим обидным сварам придет конец, но, как скоро выяснилось, ошибся. Видимо, так уж глубока пропасть противоречий и так ужасающе тяжел груз нашего прошлого. И вот что еще я хочу сказать, наверное, самое главное. Понимаешь, Серега, я внимательно присматриваюсь к людям и все больше замечаю в народе три вещи: усталость, страх и отчуждение. Да, да! Пусть у нас уже больше миллиона членов и кандидатов в члены партии, пусть у нас растет число сознательных рабочих и крестьян, но есть еще огромная молчаливая народная масса, измученная войной, бедностью, голодом и лишениями. Она, эта масса, хочет элементарного покоя, тепла в своем доме, еды для своих детей. Она уже боится наших партийных драк, которые оборачиваются для нее синяками да увечьями. Однажды, проходя мимо очереди у биржи труда, я слышал, как вспыхнул спор об оппозиции и как быстро положил ему конец один бородатый дядька. «Паны дерутся — у холопов чубы трещат», — сказал он, и все замолчали...»

«...Эх, Коля, да что это с тобой? Прочитал я твое письмо, и засвербило на сердце. Не суетись, Коля, поскользнешься! Чего это ты так распереживался? Да, мы этот чертов груз прошлого в эту чертову яму противоречий просто сбросим и поминай как звали. Вспомни, как мы сбросили в море весь этот белый сброд. И насчет народа... Конечно, нелегко сейчас жить, только разве нам, революционерам, легче? А народ наш, я тебе скажу, еще и не такое переживет, не захворает. Он хоть и сам себе на уме, но мы ему нашего большевистского ума все-таки подбавим. И никаким бородатым дядькам мы не позволим ослаблять целеустремленности нашего бега. Это уж будь спокоен...»

«...Не вознось, Сергей Петрович. Мы ведь революцию не для себя, для народа делали. И он, народ-то, повернул и поддержал нас. Что бы мы без него? А вот теперь, когда идет важнейший спор о путях строительства социализма, нет народа. Отвернулся он от нашего спора. Почему? От необразованности? От тягот дня сегодняшнего? Не знаю. Только здесь разбираться надо и самоуверенность в себе поубавить. Да если б только народ... Возьми, к примеру, нашего всемирно известного физиолога Павлова. Он что — необразованный? А ведь ты наверняка знаешь, что он нашему правительству заявил. Вы бы, говорит, чем деньги на революцию в Японию отсылать, лучше бы помогли мне лабораторию оборудовать. Вот так, Сергей. Ему, конечно, товарищ Бухарин дал отповедь, только со старика как с гуся вода. «Самая глупая книга, какую я когда-либо читал, — хихикает старичок, — это книга Бухарина «Азбука коммунизма». Представляешь? По этой книге вся страна учится, а он такое себе позволяет. В сложное время мы живем, ох, в сложное...»

«...Коленька, теоретик ты мой мечтательный! Брось! Всякие там пути строительства социализма — это для газет. Мы-то здесь, на отшибе, кое-чего тоже кумекаем. Идет борьба за твердую большевистскую власть, лишь прикрытая этими путями. Пути сами по себе приложатся, под ноги нам лягут. Только прежде чем в поход пускаться, надо сначала амуницию в порядок привести. Сам же знаешь, если портянка ногу трет, ее перемотать надо, иначе охромеешь, от своих отстанешь и к чужим в лапы попадешь. Вот так, Коленька. А что до ученейшего Павлова, пусть он лучше своих собак режет. Мировая революция — это наше дело».

«...Холодно у нас, Серега, ох, как холодно. Душа промерзает. Настроение паршивое. Слушал недавно лекцию товарища Серафимовича о русской литературе. Одних писателей он хвалил, других ругал. Больше ругал. Особенно досталось богеме: Куприну, Андрееву, Бунину, Скитальцу. Говорил, что они безвозбранно и бесперечь пили, от жизни оторвались, мужика только летом в деревне и видели. Не знаю... Ему, конечно, виднее, только я сейчас как раз Бунина читаю и о его знакомстве с мужиком другого мнения.

Ну, прощай пока. Писать больше не о чем...»

3

Наверное, всем жилось тогда трудно, но, как и во все времена, по-разному.

Доктор Некрасов, например, особым прибором собственного изготовления выжег у больного раковую опухоль на шее, пересадил на ее место кожу с бедра, и, к удивлению медиков, пришла удача. Рана зажила, и даже спустя год после операции возврата болезни не наблюдалось. А, к примеру, некий педагог, подписавшийся почему-то одной буковкой К., внес в Главнауку проект сокращения и упрощения русского алфавита. Он предложил 6 букв (ж, з, л, т, ф, х) заменить латинскими буквами, а еще 8 (д, и, ц, ш, щ, у, э, я) сократить в объеме для экономии места и заменить палочками и точками. Проект был встречен в Главнауке с интересом.

— Этот замечательный почин, — сказал по его поводу эксперт отдела языкознания, — показывает неисчерпаемые возможности нашей новой советской интеллигенции, идущей по пролетарскому пути к социалистической культуре.

Долин занимал одну комнату в четырехкомнатной квартире в солидном каменном доме на Плющихе. Комната его имела ту особенность, что к ней примыкал темный чуланчик размером полтора на два метра, невесть для чего задуманный старорежимным архитектором. В этом чуланчике, кроме не первой надобности хозяйственных мелочей, стоял узкий топчан, сооруженный Долиным специально для полуночных гостей, коих у него бывало немало, особенно из среды знакомых газетчиков. Чуланчик был отделен от комнаты плотной темной занавеской и именовался посвященными «санаторией».

В остальных комнатах проживали люди очень разные, но, на взгляд Долина, удивительно уживчивые и покладистые. По крайней мере, их квартира была самой тихой в доме и, по признанию жилищного начальства, самой образцовой.

Через стенку от него жил приветливый благообразный старичок, бывший присяжный поверенный Афанасий Павлович Шубин с супругой Марией Александровной. Слышал Долин от одного всезнайки, будто в молодости Афанасий Павлович якшался с народниками, был чуть ли не другом Плеханова, но потом променял светлый мир бури и натиска на затхлый мирок уютной конторы на Поварской улице. Так это было или не так, только теперь Афанасий Павлович являлся советским служащим и числился консультантом в отделе борьбы с сокрытием доходов от обложения.

Рядом с четой Шубиных проживала молодая мужеподобная женщина, член профкома завода «Красный пролетарий», горячая сторонница свободной любви и отмены мелкобуржуазного института брака Надежда Гавриловна Пронькина с шестилетним сыном Шуриком. В свое время Долину пришлось отбить бурную атаку Надежды Гавриловны, пожелавшей практически обратить его в свою веру, что, впрочем, не испортило их отношений и лишь дало повод для вздохов и сожалений Надежды Гавриловны: «Такой мужик пропадает для женского движения!» В комнате Пронькиной на самом видном месте висела фотография ее кумира Коллонтай с собственноручной надписью последней: «Надежде от Александры с надеждой на скорую мировую революцию».

И, наконец, в последней комнате жил любимец Долина, студент-философ и начинающий поэт Яша Лунц — юноша мечтательный и откровенный, питавший к Долину искреннюю симпатию, так что знал Николай о Яшиной жизни не так уж мало. Родился Яша в местечке Хабно, что под Киевом, в семье шинкаря. Рано осиротел. Мать он не помнил вовсе, а отец его утонул в безымянном ставке, названном в честь этого печального события «могилой шинкаря», когда мальчику не минуло и десяти. Отца Яше заменил дядя Абрам, тот самый Абрам Койфман, теперешний комендант партклуба, а в то время местечковый сапожник. Гражданскую войну Яша вспоминал с ужасом, хотя и гордился теми незабываемыми днями, когда они с дядей прятали у себя дальнего родственника, революционера с подпольным стажем. Это-то и изменило в значительной степени их судьбу, потому что родственник этот после войны

вспомнил о них и, будучи уже высокопоставленным чекистом, пригласил в Москву, пообещав жилье, работу и образоваиие. Собирались дядя Абрам с Яшей недолго и, по примеру тысяч своих соплеменников, потянувшихся из местечек в глввные города разрушенной России, в двадцать третьем году прибыли в Москву. Родственник выполнил свои обещания: Яша неплохо прижился среди сорока сороков, благополучно учился и даже публиковал в газетах маленькие заметки под псевдонимом Фигаро.

Когда на следующее после совещания в партклубе утро Долин проснулся, было еще темно. Засветив керосиновую лампу и одевшись в домашний халат — неиссякаемый источник шуток его знакомцев, он умылся, приготовил кипяток для бритья и только уселся перед небольшим почерневшим зеркалом, как услышал осторожный стук в дверь.

— К тебе можно, Николай Иванович?

В образовавшуюся щель протиснулась курчавая голова.

— Заходи, Яша, — Долин освободил от книг табуретку, — свдись.

Яша сел и взволнованно заломил руки. Его карие глаза туманились влагой.

— Что-нибудь случилось, Яша?

— Дядя Абрам заболел...

— Что с ним?

— Простудился... Температура сорок...

Долин закурил, протянул папиросы и спички Яше. Минуты три они молча курили, слушая, как воет в подворотнях ветер и мерно стучат бесстрастные ходики на стене.

— Я стихи сочинил, — вдруг тихо сказал Яша.

— Почитай...

Яша напружинился всем телом и, чуть пришепетывая, произнес:

Я шлезы лью, штраданью нет предела.
Штрана моя, ты так осиротела!

Голос его сорвался, он всхлипнул.

— Ты это про кого?

— Про дядю Абрама...

Долин крякнул.

— Что же ты живого человека хоронишь? Возьми себя в руки! Ты комсомолец или кликуша?

— Комсомолец... — Яша вытер рукавом глаза и согласно закивал головой. — Все, Николай Иванович, я в руках, — он вздохнул и, успокоившись, проникновенно добавил, — наши боли — самые больные, наши страдания — самые выстраданные...

— Это кто так сказал?

— Дядя Абрам, — опять вздохнул Яша.

Помолчали.

— Николай Иванович! — Яша вдруг оживился и даже хлопнул себя ладонью по лбу, — чуть не забыл — голова моя огородная. Тут к Шубиным-то родственник приехал. Спросишь: ну и что?

Долин с неудовольствием вспомнил о своем поспешном обещании, данном Задорову, обозвал себя в душе мякиной и помрачнел.

— Спрошу. Ко мне сегодня тоже двоюродная сестра должиа приехать.

Яша царственным жестом уничтожил это сравнение.

— Так то ты, а то Шубин. Две большие разницы. Ты меня слушай, — он оглянулся на дверь и понизил голос, — прихожу я от дяди Абрама замерзший. Хочу чаю. А время, между прочим, семь и ни минуточкой меньше. Вдруг звонок: длинь-длинь. Я осторожненько открываю и вижу: кто-то стоит. Тулуп до пяток, на голове бабий платок, а из платка борода торчит. Я спрашиваю: «Вы к кому?» А он: «Шу...шу...шу...аф...па-па...» Никто бы не понял — я понял. Спрашиваю: «К Шубину? Афанасию Павловичу?» А он вдруг по косяку на пол спускается. Тут и пошел шурум-бурум. Наши все выскочили, галдят. Мария Александровна: «Володенька! Володенька!», а Афанасий Павлович за доктором побежал. И не за каким-нибудь. Через час привел старика в бобровой шубе — у царя такой не было. Профессором называл. Меня, небось, этот профессор ни за какую социальную справедливость лечить не стал бы, а вот этого Володеньку лечил-лечил, лечил-лечил и ни копеечки за труды свои не взял-то. Я в коридоре стоял — сам слышал: «Как вам не стыдно, — говорит, — Афанасий Павлович, в такое-то жуткое время...» Это у нас-то сейчас жуткое время, заметь,— Яша перевел дух и спросил. — Ну, что теперь скажешь?

Долин пожал плечами.

— А что говорить? Обычная история. Заболел человек в дороге.

— А платок?

Долин улыбнулся.

— Эх, Яша. Да в такой мороз не то что платок — бабьи штаны на голову иаденешь, коли больше нечего.

— А профессор? — не унимался Яша.

— А что профессор? Может, они с Афанасием Павловичем уже лет сорок знакомы, за гимназистками вместе бегали.

— За гимназистками? — переспросил Яша с сарказмом, — Тогда слушай дальше. Только Афанасий Павлович за своим профессором побежал, как бородач — мы его на кровать оттащили — бредить начал. Бессвязно так... — Яша сделал многозначительную паузу, — по-французски... А потом вдруг отчетливо-отчетливо: «Пьер, я тебя застрелю, как собаку!» Уже по-русски, между прочим. Как тебе этот нюанс, а?

Долин потянулся до хруста в костях.

— Так вот ты куда клонишь.., — и широко и откровенно зевнул, стал затачивать на ремне бритву, — видишь ли... Для таких, как Афанасий Павлович и его родственники, французский не штука. Они и думали-то нередко по-французски, может потому и в Париже сейчас... А Пьер — это всего лишь обыкновенный Петя, какой-нибудь тамбовский нэпман, жулик и большая свинья. Так что не торопись с выводами и вообще...

Он ткнул помазком в крохотный кусок мыла в глиняной чашечке. Яша разочарованно поднялся.

— Я еще стихи попишу.

— Это дело, Яша...

Однако утренние визиты к Долину на этом не кончились. Только он успел побриться, как на пороге его комнаты выросла внушительная фигура с почти незаметиым на мощном торсе бюстом.

— Это я — твой крылатый Эрос! — пропела Пронькина.

— Чего, чего? — не понял Долин.

— Ничего, тюлень, — отрезала Пронькина и строго спросила. — Ты не забыл, что обещал мне сегодня?

Долин выпучил глаза.

— Забыл, бескрылый, — удостоверилась с глубоким вздохом Пронькина, — сегодня в шесть вечера мы встречаемся у твоей редакции и идем в гости, — отчеканила она.

Долин машинально дотронулся до сердца, которое почему-то неприятно подпрыгнуло. Он, действительно, забыл, что, устав от надоедливых приглашений Пронькиной посетить с ней некую арбатскую квартирку и познакомиться с незаурядными людьми, дал ей, наконец, свое согласие.

— Ах, ты про это... — солгал он как можно натуральнее, — я-то думал, ты про что... Не забыл, конечно.

— С каким бы удовольствием я бы тебя убила, — Пронькина почмокала языком. — Чтобы в шесть как штык!

Долин посмотрел ей вслед, чертыхнулся и полез в шкаф за своей единственной нарядной, в полосочку, рубашкой...

Суд над крестьянами из деревни Пестово, сжегшими на костре двух цыган-конокрадов, длился долго. Делу придали политическое значение, и переполненный зал прочувствовал это в полной мере. Долин, вернувшись из суда в редакцию, уединился в крохотной комнатке заместителя главного редактора, бывшего в отъезде, и, используя записи в блокноте, быстро написал репортаж:

«...Прокурор товарищ Лунин, коротко обрисовав картину преступления, подчеркнул, что самосуд остался, как пережиток недовольства крестьян старой властью, что самосуду нет места при власти рабоче-крестьянской, что конокрадов у нас судят народные заседатели-крестьяне...

...Товарищ Рубинштейн заявил, что, внимательно изучив материалы дела и глядя на него сквозь красочное стекло социального внализа, он возлагает вину за случившееся на всю культурную часть общества...

...Товарищ Липец подчеркнул, что деревни Пушкинской волости — это типичнейшее захолустье. Он с удовольствием повторил слова товарища Троцкого: «Проезжая по пути из Москвы в Шатуру, видишь деревни 17-го века». Он глубоко убежден, что это и есть основная язва в стране...

...Товарищ Бланк определил самосуд, как результат неудовлетворительной охраны прав населения. Зачинщиков нет, виновников нет, преступление мирское: власть мира, власть земли может стать костью в горле для нашего молодого организма...»

Долин еще раз перечитал репортаж и отнес его заву. Настроение у него было препоганое.

— Ты чего, Коль? — спросил зав.

— Ничего... — отмахнулся Долин.

Этот крестьянский шабаш, этот суд, эти бородатые крестьяне, эти цыгане, приехавшие всем табором, подействовали на него угнетающе. Его пробудившееся крестьянское нутро заныло, и он опять почувствовал, что мозги его начинают раздваиваться.

— Скоро шесть... Пронькина... — бормотал он, спускаясь по лестнице, — иду... холодно... зима...

На Арбат они ехали в тридцать первом трамвае. Пронькина крепко держалась за него руками, прижималась и, бесстыже глядя в глаза, говорила: «Я не могу быть ничьей рабыней, Николя. Я — белое облако, гонимое ветром революции. Я могу сесть только иа высокий утес, Николя!» Долин не отвечал и с высоты своего роста рассеянно обозревал напряженные, как ему даже казалось, злые лица пассажиров. Вдруг в двух шагах от себя он заметил того самого деда, что пел вчера в трамвае частушки. Дед опять был пьян. Он пучил глаза и, как рыба на песке, открывал рот.

— Неужели опять петь собрался, — предположил Долин.

И, словно в ответ на его мысли, дед крякнул, надул щеки и бабьим голосом, с придыханием, затянул:

Сидит Троцкий на березе,
А Зиновьев на ели.
До чего же вы, товарищи,
Коммуну довели.

— Дед, ты чего, в Сибири никогда не был? — спросил кто-то из стоящих рядом.

— Там, где я побывал, — задумчиво ответил дед, — про то, сосунок, только твоя жена знает.

— Чего? Чего она зиает?

Но дед, воспользовавшись тихим ходом трамвая, уже скакнул в открытую дверь и, шатко сделав несколько шагов, ткнулся головой в сугроб.

— НЭП нас спасет! — крикнул он вслед трамваю.

А Долин, своими раздвоенными мозгами уже представлял себе следующую картину, совсем уж несуразную. Будто жарится он в аду на огромной сковородке, в дед, с хвостом и с рогами, вылезающими из-под облезлой шапки, подкладывает в разожженный под Долиным костер дровишки и приговаривает:

— НЭП нвс спасет. НЭП тебя спасет, сукин сын!..

Тихо было на Арбате. Ветер свирепствовал где-то рядом, а здесь было тихо.

— Посмотришь Коля, как люди живут, — говорила Пронькина, держа его под руку, — они знали, за что боролись.

— Это вроде как Сивцев Вражек?

— Ага...

Дверь им открыл нарядный парень, со свисающим на половину конопатого лица рыжим чубом. На нем был клетчатый пиджак, красная рубашка и огромная ядовито-зеленая бабочка.

— Наденька, — заорал он вместо приветствия, — ты знаешь, что малярия излечивает сифилис?

Пронькина восхищенно прыснула в кулак.

— Ну, Володька! Испугаешь так...

Парень сделал широкий жест.

— Прошу! — и, оглядев с ног до головы Долина, хмыкнул.— Где ты, Надька, такого Кожемяку откопала?

— Не все же мне недомерками удовлетворяться, — гордо возразила Пронькина и неожиданно, схватив парня в охапку, изо всех сил втянула в себя.

— М-м-м.., — Володька задрыгал ногами и затряс руками. — Пусти, хищница!

Долин невозмутимо оглядел большую прихожую. Развесистые оленьи рога на стене, портрет Маркса между рогами, украшенный красной ленточкой, подсвечник на высокой резной тумбе с зажженными тремя свечами. Из-за закрытой двери слышался высокий пронзительный голос, то ли мужской, то ли женский:

— ...Москва из церковно-купецкого рая становится теперь культурным центром. Пошлость жизни уходит из нее безвозвратно. Ну, как, спрашивается, раньше любили? В кромешной тьме да еще икону занавешивали, чтобы боженька не видел. Да разве они любили? Они — работали, в поте лица своего детей делали, помощников своих, опору свою в старости. Смех! Настоящая любовь должна быть свободной от идиотского стыда, легкой, как газовая вуаль, и жгуче-сладкой, как вот это вино!

— Браво, Бухарчик! — недружные хлопки прервали оратора.

— Это наш крошка Бухарчик речь держнт, — пояснила Пронькина Долину.

В большой комнате, тесно обстааленной старой, подчеркнуто барской мебелью, в густых клубах сладковатого табачного дыма, подсвеченного огоньками десятка свечей, развлекалвсь компания. Вокруг стола, заставленного бутылками винв, сидели три молодые женщины и два парня, уже сильно пьяных. Третий же, почти юный, но лысый, с остатками черных волос над ушами, стоял на крышке кабинетнего рояля, воздев руку к потолку.

— Новеньких принимайте! — заорал Володька.

— Молчать, — парень на рояле воздел к потолку вторую руку, — когда я говорю, все должны молчать!

— Заткнись, Бухарчик, — томио протянула полная красивая блондинка и, поднявшись, подошла к Долину, — Вера... Так вот каков твой сосед, Надька, — она старалась быть небрежной, глубоко дышала сильно открытой высокой грудью, но на дне ее темно-серых раскосых глаз почему-то трепетал испуг.

Все смотрели на Долина. Пронькина сумрачно, с суровым торжеством, стояла молча.

— Ревекка... — это подошла другая женщина, жгучечериоволосая, обнажила в улыбке мелкие острые зубки, хихикнула.

— Таня, — подошла третья, лицом и фигурой самая обыкновенная, но с озорными бесенятами в глазах, — любопытный вы какой, — не стесняясь, оглядела Долина и, вдруг, поднявшись на цыпочки, повисла у него на шее и звонко поцеловала в губы.

Долин спокойно, но сильно сжал пальцами ее руки.

— Ай! Вы что? — она отскочила, съежилась, — больно. — В ее озорных глазах, как и у Веры, появилось что-то затравленное.

— Извините, — сказал Долин.

— Ладно, Танька, тебе к синякам не привыкать.

Парни на диване осоловело улыбались.

— Петр-Гоша, — сказали одновременно.

— Молчать! — опять крикнул лысый с рояля.

Таня подошла к столу и, выпив залпом стакан вина, плюхнулась на диван.

— Трепись дальше, Бухарчик!

— Я продолжаю! — лысый топнул ногой, и рояль ответил жалобным гулом, — вот в моих руках изумительный документ анархистов. Да, да — изумительный! Что? Вы скажете — анархисты наши противники? Правильно скажете. Они ни черта не смыслили в марксизме и в руководящей роли пролетариата. Но иногда даже у них были подлинные прозрения.

— Бухарчик, ты ближе к делу давай, а то скину к чертовой матери! — сказала Таня.

— Слушайте! Слушайте этот документ эпохи героической гражданской войны: «Декрет объяаляется свободной ассоциацией анархистов города Саратова. В согласии с постановлением Кронштадтского Совета крестьянских, солдатских и рабочих депутатов упраздняется частная собственность на женщин...»

— Ура-а! — одновременно прокричали Петр и Гоша.

«...Социальное неравенство и церковные браки всегда служили орудием в руках буржуазии, при помощи которого она добилась монополии на все виды прекрасного и, таким образом, препятствовала нормальному продожению человеческого рода. Столь веские причины побудили настоящую организацию издать следующее постановление. Пункт первый. С 1 марта отменяется право владения женщинами от 17 до 32 лет...»

— Ура-а!

— Этот Петр — хозяин, сын самого.., — шептала Пронькина в ухо Долину, стоявшему у книжного шкафа и с завистью поглядывавшему на тисненные золотом корешки, — Володька Сергеев, сын Сергеева. Да, да, этого, этого! Гоша — дружок его... Ревекка чаще всего с Петром... ну, чего ты не понимаешь? Мы женщины свободные. Бухарчика Толькой Левиным зовут. Этот скоро светилом станет. С ним все больше я. Не ревнуешь? С Володькой все больше Верка. Любит он ее, хоть и виду не подает. Ну, а Танька с Гошкой. Бестия! Ты ее зачем цапнул? Я бы тебе цапнула!

— «...Пункт третий. Декрет не касается женщин, имеющих не менее пяти детей».

— Правильно!

— «Пункт четвертый. Прежние владельцы могут сохранить право преимущественного пользования».

— Неправильно!

— «Пункт пятый. В случае сопротивления мужа, он теряет право, предоставленное ему пунктом четвертым».

— Правильно!

— Молчать! «Пункт шестой...»

Долину стало скучно. Он обводил взглядом комнату, и недоумение на его лице все усиливалось. Петр целовал уже ошалевшую Таню в губы, а Гоша, задрав подол ее легкого платья, уткнулся головой в ее голубые панталоны. Ревекка смотрела на Бухарчика и корчила ему рожицы. Вера пила, а Пронькина куда-то запропастилась. В голове у Долина билась одна-единственная мысль: «И чего свечи жгут? Тут за один вечер зарплата прогореть может...»

— «...Пункт девятый. Граждане мужского пола имеют право использовать одну женщину не чаще трех раз в неделю в течение трех часов, соблюдая вышеуказанные правила...»

— Валил бы ты отсюда, а?

Долин вздрогнул. На него на удивление трезво, со злым прищуром смотрела Таня.

Долин добродушно кивнул ей и тихо вышел в прихожую. Уже спускаясь по лестнице, он услышал сверху гулкий голос Пронькиной:

— Коля! Ты чего, глупый? Ты думаешь, тебе не достанется?

Он ускорил шаги.

— Ну, и скотина же ты!..

...Сугроб, еще сугроб... Вот — пожарная каланча... А вот и родной подъезд...

В коридоре его встретила Мария Александровна, сказала с улыбкой:

— К вам сестра приехала.

Долин подавил тяжелый вздох, кивнул. Войдя в комнату, увидел стоящую лицом к окну женщину. Поздоровался. Женщина обернулась.

— Лиза! — сдавленно крикнул Долин, потом тише и утвердительно, — Лиза! — и снова, почти шёпотом, — Лиза?

4

Выдался тот январь тревожным и хлопотным. Добавил он забот людям. Занесло снегом железные дороги в Подмосковье, еле пробивались через эти заносы поезда с продовольствием. Распоясался до последней степени терпения обозлённый преступный элемент, пользовался неурядицами города. Среди бела дня стреляли бандиты в милицию через узкую реку Яузу. И ещё беда — психические. Проходу от них не стало. Выступил в печати профессор Краснушкин, разъяснил: «Ускоренный темп жизни революционного времени ускорил созревание не только нормальной психики, но и больной личности параноика. Процент таких больных очень возрос. Соответственно духу времени изменилось и содержание больных идей: у больного, активно захваченного революционным потоком, душевное заболевание обычно сказывается в желании наиболее совершенного устройства человеческого общества».

Теперь по вечерам у Долина загорались две керосиновые лампы: одна в комнате, другая за занавеской. И в этот вечер, когда яркая луна расплылась по замёрзшему окну холодной искрящейся медузой, было так же. Долин, сидя за столом, писал письмо Остроухову:

«...Уже третий день у меня живёт женщина. Она спит в моём чулане, готовит мне завтрак, молчит и терпеливо ждёт, когда я уйду. Потом она прибирает в комнате, играет с Шуркой Пронькиным, помогает ухаживать за больным племянником Шубиных. Когда я возвращаюсь, она скрывается за занавеской и начинает читать книгу. Она никогда не заговаривает со мной сама и только односложно и вяло отвечает на мои вопросы. Мне хочется взять её за плечи, встряхнуть, закричать: что с тобой?, закричать так, чтобы дрогнуло, наконец, её сердце, но я боюсь этого, я подчиняюсь ей, ее застывшему, каменному лицу, её вечно настороженным печальным глазам, её безжизненному глухому голосу. По ночам, притворясь спящим и даже похрапывая для вящей убедительности, я слышу, как она плачет. Ты недоумеваешь, читая эти строки, но сейчас тебе станет ещё удивительней, потому что женщина, о которой я пишу — Лиза.

Ты помнишь, два года тому назад, я написал тебе, что прекратил её поиски. Тогда один мой знакомый, встреченный мной случайно на ипподроме во время состязаний красноармейцев-конников, рассказал, что её расстреляли петлюровцы. Я поверил. Что мне ещё оставалось делать? Ведь я искал её пять долгих лет, с того самого дня, как ты приехал за мной на тачанке, чтобы забрать в полк, и, вздыхая, ждал, пока распрощаются, наконец, юная медсестра и обалдевший от счастья контуженный детина. Ты деликатно обозревал лошадиные зады, а мы клялись друг другу в вечной любви, клялись, что поженимся, как только кончится война, как только благословит нас на это мировая революция. И вот... Непостижимая случайность, бред, чудо... Не болезнь ли это моя, тебе известная? Я и живу, будто во сне. Я не понимаю, как может быть такое, что вот он я, а вон там, за занавеской, она. Был бы верующим, поставил бы в церкви свечку Николаю Угоднику. Не иначе, он постарался — тёзка всё-таки...

Да, Сергей, это Лиза, и, вместе с тем, уже не она. И вовсе не потому, что ей давно не семнадцать — двадцать пять тоже не бог весть какой возраст — а потому, что случилась в её судьбе беда, не знаю какая, но знаю, что случилась. Я поначалу спрашивал — что, когда, почему — но быстро увидел, что пугаю её, и прекратил...

Ей сейчас жить негде. Задоров, родственник её, ты о нём немного знаешь из моих писем, ищет ей угол в городе, и я молю своего тёзку, чтобы искал подольше...

Годы наши идут. Я всё чаще копаюсь в себе, присматриваюсь к другим, сравниваю. Я всё еще вижу много энергичных, деловых, по-хорошему самоуверенных людей, пусть грубых и порой жестоких, но в то же время честных и неподкупных. Они свято верят, что вот-вот из-за во-он той горы появится сверкающий всадник, мировой коммунизм на белом коне и в красной будёновке. Они ждут его и святым его именем будут крушить и строить, стрелять и отстреливаться, не щадя ни живота своего, ни жизни других. Это так. Сергей, но только всё чаще и чаще я стал видеть других, тех, в чьи души и головы скользкой змеёй заползло сомнение. Оно, это сомнение, сказывается в тысяче мелочей: в темной собачьей грусти глаз, в неуверенном смешке, в суетливости, в излишне громких выступлениях с трибуны, в затаённом беспокойстве о детях и внуках. И я знаю, что и те и другие — честные люди, вернее, я говорю сейчас только о них, честных, и спрашиваю себя: так где же правда? И думаю, что ни у тех, ни у других. Она, эта правда, где-то там, на улице, в промёрзлых домах, в длинной очереди за овсом и мылом, в этих бесконечных Машах и Ванях, и мне кажется, что она в эту минуту сидит у меня за занавеской. Только не тугими ли мы становимся на ухо? Не заглушают ли нам нескончаемые крики на митингах тяжкого вздоха городского подвала или затерянной в глуши деревни? Где она, та дорожка, ведущая от общего счастья к личному горю?

Я заканчиваю, Сергей. Я долго плутал и, наверное, не раз ещё заплутаю, но той пропасти, на которую я в недоумении натыкался, страшась заглянуть в её чёрный зев, вдруг не стало. Не стало потому, что я встретил Лизу.

Я пишу это письмо, украдкой смотрю на занавеску и вижу Лизину тень. Она склоняется над тумбочкой. Я знаю: сейчас она будет принимать бром, тихо и скрытно.

Ну, прощай...».

Продолжение следует.

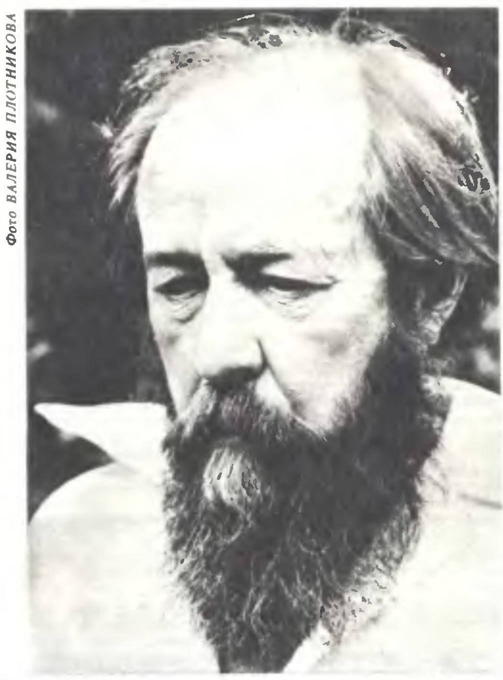


Фото ВАЛЕРИЯ ПЛОТНИКОВА

А. И. Солженицын. Конец 60-х годов.

ПРАВДА ГЛАЗА КОЛЕТ



ПИСЬМА СОЛЖЕНИЦЫНА

Эти письма Александра Исаевича не из частной переписки... Двадцать два года назад они имели огромный мировой общественный резонанс. Их напечатали или откомментировали многие западные газеты, только у нас они вызвали большое недовольство партийного и государственного руководства. И не были напечатаны, поскольку речь в них шла о реальных приметах надвигавшегося духовного застоя, об опасности повсеместных запретов, о могущественной власти партийного аппарата, о всесильной цензуре... История этих писем такова. Первое — к делегатам IV Всесоюзного съезда писателей — было написано в мае 1967 года. И послано Александром Исаевичем в президиум съезда как выступление, поскольку сам он уже тогда не был избран делегатом. Но письмо, конечно же, не огласили. Второе, написанное осенью того же года, — обращено к секретариату избранного на съезде Правления... И опять никаких мер.. А через два года — исключение из членов Союза писателей (кстати, пора бы и пересмотреть ошибочное решение*, как пересмотрены ныне многие другие), а потом и насильственная высылка в эмиграцию... И вот недавно («Нева», 1989 г., № 1) писатель Виктор Конецкий в своей полемической публикации, как бы между прочим, среди своих печалей, приводит и одно из этих писем, желая засвидетельствовать перед всем миром, что письмо-то Солженицына было обращено и к нему, как к одному из борцов с цензурой застойных лет... Но бог ему судья, нас же беспокоит другое, и публикуем мы эти два письма с одной лишь целью: рано их относить к истории русской литературы. Равно как и письмо-обращение А. И. Солженицына к интеллигенции, соотечественникам в феврале 1974 года, написанное за несколько дней до ареста и высылки из страны. Именно сегодня при обсуждении нового Устава СП СССР и закона о печати многие мысли Солженицына должны быть наконец-то услышаны, должны стать нашим ориентиром при разработке этих важнейших правовых документов.

Конечно, кое-что в этих письмах устарело, годы перестройки, гласности и демократизации внесли существенные коррективы в положение дел в литературе, в цензуре и в целом в духовной сфере. О чем свидетельствует, например, и данная публикация, немыслимая еще год назад. Но все это пока мало отразилось на издании книг писателя в нашей стране, положение остается по-прежнему таким, как он описывает в своих письмах двадцатилетней давности. Не странно ли это?! И кто за такое ненормальное положение несет ответственность? Почему многие произведения крупнейшего художника XX века остаются у нас под запретом?! Или кто-то по-прежнему считает, что его беспощадная критика сталинщины, брежневщины в годы глухого и мглистого застоя была несправедливой?! Или вся напраслина, небывальщина, вся ложь, что возводилась на Солженицына, имеет еще силу?! Неужели?! Или кто-то до сих пор не желает признать, что повестью «Один день Ивана Денисовича» и рассказом «Матренин двор» он первым (!) с потрясающей художественной правдой открыл перед нами чудовищную сущность сталинизма, загнавшего народ в лагеря и тюрьмы и умертвлявшего бескормицей по бесчисленным деревням и деревушкам, начиная от окраин самой матушки-Москвы?!. Грустно и постыдно писать об этом. Но истина дороже. Советским читателям должен быть возвращен великий правдолюбец нашего времени... И как не опечалиться, когда нам возвращают жалкую литературу, полуфельетоны и фельетончики, скорее, поделки, расхваливая их на все лады, сравнивая чуть ли не с классикой, а не выходят книги, полные подлинной правды и трагического драматизма... Возвращение Солженицына — это и напоминание нам о его бесстрашии перед застойщиками, о его долгих духовных мучениях и страданиях... Через напоминание о грехах и бедах наших лежит путь к очищению от скверны застойных лет...

* 29 июня 1989 года секретариат правления СП СССР отменил как неправомерное, противоречащее принципам демократии, решение от 5.XI.1969 года об исключении А. И. Солженицына из Союза писателей СССР и принял постановление о публикации его произведений.

Всесоюзному съезду советских писателей (вместо выступления)

В ПРЕЗИДИУМ СЪЕЗДА И ДЕЛЕГАТАМ ЧЛЕНАМ СП СССР, РЕДАКЦИЯМ ЛИТЕРАТУРНЫХ ГАЗЕТ И ЖУРНАЛОВ

Не имея доступа к съездовской трибуне, я прошу Съезд обсудить:

1) то нестерпимое дальше угнетение, которому наша художественная литература из десятилетия в десятилетие подвергается со стороны цензуры и с которым Союз писателей не может мириться впредь.

Не предусмотренная конституцией и поэтому незаконная, нигде публично не называемая, цензура под затуманенным именем «Главлита» тяготеет над нашей художественной литературой и осуществляет произвол литературно-неграмотных людей над писателями. Пережиток средневековья, цензура доволакивает свои мафусаиловы сроки едва ли не в XXI век! Тленная, она тянется присвоить себе удел нетленного времени: отбирать достойные книги от недостойных.

За нашими писателями не предполагается, не признается право высказывать опережающие суждения о нравственной жизни человека и общества, по-своему изъяснять социальные проблемы или исторический опыт, так глубоко выстраданный в нашей стране. Произведения, которые могли бы выразить назревшую народную мысль, своевременно и целительно повлиять в области духовной или на развитие общественного сознания, — запрещаются либо уродуются цензурой по соображениям мелочным, эгоистическим, а для народной жизни недальновидным.

Отличные рукописи молодых авторов, еще никому не известных имен, получают сегодня из редакции отказы лишь потому, что они «не пройдут». Многие члены Союза и даже делегаты этого Съезда знают, как они сами не устаивали перед цензурным давлением и уступали в структуре и замысле своих книг, заменяли в них главы, страницы, абзацы, фразы, снабжали блеклыми названиями, чтобы только увидеть их в печати, и тем непоправимо искажали их. По понятному свойству литературы все эти искажения губительны для талантливых произведений и совсем нечувствительны для бездарных. Именно лучшая часть нашей литературы появляется в свет в искаженном виде.

А между тем сами цензурные ярлыки («идеологически-вредный», «порочный» и т. п.) недолговечны, текучи, меняются на наших глазах. Даже Достоевского, гордость мировой литературы, у нас одно время не печатали (не полностью печатают и сейчас), исключали из школьных программ, делали недоступным для чтения, поносили. Сколько лет считался «контрреволюционным» Есенин (и за книги его даже давались тюремные сроки)? Не был ли и Маяковский «анархиствующим политическим хулиганом»? Десятилетиями считались «антисоветскими» неувядаемые стихи Ахматовой. Первое робкое напечатание ослепительной Цветаевой десять лет назад было объявлено «грубой политической ошибкой». Лишь с опозданием в 20 и 30 лет нам возвратили Бунина, Булгакова, Платонова, неотвратимо стоят в череду Мандельштам, Волошин, Гумилев, Клюев, не избежать когда-то «признать» и Замятина, и Ремизова. Тут есть разрешающий момент — смерть неугодного писателя, после которой, вскоре или не вскоре, его возвращают нам, сопровождая «объяснением ошибок». Давно ли имя Пастернака нельзя было и вслух произнести, но вот он умер — и книги его издаются, стихи его цитируются даже на церемониях.

Воистину сбываются пушкинские слова:

«ОНИ ЛЮБИТЬ УМЕЮТ ТОЛЬКО МЕРТВЫХ».

Но позднее издание книг и «разрешение» имен не возмещает ни общественных, ни художественных потерь, которые несет наш народ от этих уродливых задержек, от угнетения художественного сознания. (В частности, были писатели 20-х годов — Пильняк, Платонов, Мандельштам, которые очень рано указывали и на зарождение культа и на особые свойства Сталина, — однако их уничтожили и заглушили вместо того, чтобы к ним прислушаться.) Литература не может развиваться в категориях «пропустят — не пропустят», «об этом можно — об этом нельзя». Литература, которая не есть воздух современного ей общества, которая не смеет передать обществу свою боль и тревогу, в нужную пору предупредить о грозящих нравственных и социальных опасностях, не заслуживает даже названия литературы, а всего лишь — косметики. Такая литература теряет доверие у собственного народа, и тиражи ее идут не в чтение, а в утильсырье.

Наша литература утратила то ведущее мировое положение, которое она занимала в конце прошлого века и в начале нынешнего, и тот блеск эксперимента, которым она отличалась в 20-е годы. Всему миру литературная жизнь нашей страны представляется сегодня неизмеримо бледней, плоше и ниже, чем она есть на самом деле, чем она проявила бы себя, если бы ее не ограничивали, не замыкали. От этого проигрывает и наша страна в мировом и общественном мнении, проигрывает и мировая литература: располагай она всеми нестесненными плодами нашей литературы, углубись она нашим духовным опытом — все мировое художественное развитие пошло бы иначе, чем оно идет, приобрело бы новую устойчивость, взошло бы даже на новую художественную ступень.

Я ПРЕДЛАГАЮ СЪЕЗДУ ПРИНЯТЬ ТРЕБОВАНИЕ И ДОБИТЬСЯ УПРАЗДНЕНИЯ ВСЯКОЙ — ЯВНОЙ ИЛИ СКРЫТОЙ — ЦЕНЗУРЫ НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ ПРОИЗВЕДЕНИЯМИ, ОСВОБОДИТЬ ИЗДАТЕЛЬСТВА ОТ ПОВИННОСТИ ПОЛУЧАТЬ РАЗРЕШЕНИЕ НА КАЖДЫЙ ПЕЧАТНЫЙ ЛИСТ.

2) ...обязанности Союза по отношению к своим членам. Эти обязанности не сформулированы отчетливо в уставе ССП («защита авторских прав» и «меры по защите других прав писателей»), а между тем за треть столетия плачевно выявилось, что ни «других», ни даже авторских прав гонимых писателей Союз не защитил.

Многие авторы при жизни подвергались в печати и с трибун оскорблениям и клевете, ответить на которые не получали физической возможности, более того — личным стеснениям и преследованиям (Булгаков, Ахматова, Цветаева, Пастернак, Зощенко, Платонов, Александр Грин, Василий Гроссман). Союз же писателей не только не предоставил им для ответа и оправдания страниц своих печатных изданий, не только не выступил сам в их защиту, — но руководство Союза неизменно проявляло себя первым среди гонителей. Имена, которые составят украшение нашей поэзии XX века, оказались в списке исключенных из Союза либо даже не принятых в него! Тем более руководство Союза малодушно покидало в беде тех, чье преследование окончилось ссылкой, лагерем и смертью (Павел Васильев, Мандельштам, Артем Веселый, Пильняк, Бабель, Табидзе, Заболоцкий и другие). Этот перечень мы вынужденно обрываем словами «и др.»: мы узнали после XX съезда партии, что их было БОЛЕЕ ШЕСТИСОТ — ни в чем не виноватых писателей, кого Союз послушно отдал их тюремно-лагерной судьбе. Однако свиток этот еще длиннее, его закрутившийся конец не прочитывается и никогда не прочтется нашими глазами: в нем записаны имена и таких молодых прозаиков и поэтов, кого лишь случайно мы могли узнать из личных встреч, чьи дарования погибли в лагерях нерасцветшими, чьи произведения не пошли дальше кабинетов госбезопасности времен Ягоды—Ежова—Берии—Абакумова.

Новоизбранному руководству Союза нет никакой исторической необходимости разделять с прежними руководствами ответственность за прошлое.

Я ПРЕДЛАГАЮ ЧЕТКО СФОРМУЛИРОВАТЬ В ПУНКТЕ 22-М УСТАВА ССП ВСЕ ТЕ ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ, КОТОРЫЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ СОЮЗ ЧЛЕНАМ СВОИМ, ПОДВЕРГШИМСЯ КЛЕВЕТЕ И НЕСПРАВЕДЛИВЫМ ПРЕСЛЕДОВАНИЯМ — С ТЕМ, ЧТОБЫ НЕВОЗМОЖНЫМ СТАЛО ПОВТОРЕНИЕ БЕЗЗАКОНИЙ.

Если Съезд не пройдет равнодушно мимо сказанного, я прошу его обратить внимание на запреты и преследования, испытываемые лично мною:

1) мой роман «В круге первом» (35 авт. листов) скоро два года, как отнят у меня государственной безопасностью, и этим задерживается его открытое редакционное продвижение. Напротив, еще при моей жизни, вопреки моей воле и даже без моего ведома этот роман «издан» противоестественным «закрытым» изданием для чтения в избранном неназываемом кругу. Мой роман стал доступен литературным чиновникам, от большинства же писателей его прячут. Добиться открытого обсуждения романа в писательских секциях, отвратить злоупотребления и плагиат я не в силах.

2) вместе с романом у меня отобран мой литературный архив 20- и 15-летней давности, вещи, не предназначавшиеся к печати. Теперь закрыто «изданы» и в том же кругу распространяются тенденциозные извлечения из этого архива. Пьеса «Пир победителей», написанная мною в стихах наизусть в лагере, когда я ходил под четырьмя номерами (когда, обреченные на смерть измором, мы были забыты обществом и вне лагерей НИКТО не выступил против репрессий), — давно покинутая, эта пьеса приписывается мне теперь как самоновейшая моя работа.

3) уже три года ведется против меня, всю войну провоевавшего командира батареи, награжденного боевыми орденами, безответственная клевета: что я отбывал срок якобы как уголовник, или сдался в плен (я никогда там не был), «изменил Родине», «служил у немцев». Так истолковываются 11 лет моих лагерей и ссылки, куда я попал за критику Сталина. Эта клевета ведется на закрытых инструктажах и собраниях людей, занимающих официальные посты. Тщетно я пытался остановить клевету обращением в Правление ССП РСФСР и в печать: Правление даже не откликнулось, ни одна газета не напечатала моего ответа клеветникам. Наоборот, клевета с трибун против меня в последний год усилилась, ожесточилась, использует искаженные материалы конфискованного моего архива — я же лишен возможности на нее ответить.

4) моя повесть «Раковый корпус» (25 авт. листов), одобренная к печати (1-я часть) секцией прозы Московской писательской организации, не может быть издана ни отдельными главами (отвергнуты в пяти журналах), ни тем более целиком (отвергнута «Новым миром», «Звездой» и «Простором»).

5) пьеса «Олень и шалашовка», принятая театром «Современник» в 1962 году, до сих пор не разрешена к постановке.

6) киносценарий «Знают истину танки», пьеса «Свет, который в тебе», мелкие рассказы («Правая кисть», серия «крохотных») не могут найти себе ни постановщика, ни издателя.

7) мои рассказы, печатавшиеся в журнале «Новый мир», не переизданы отдельной книгой ни разу, отвергаются всюду («Советский писатель», Гослитиздат, «Библиотека «Огонька») и, таким образом, недоступны широкому читателю.

8) при этом мне запрещаются и всякие другие контакты с читателями: публичное чтение отрывков (в ноябре 1966 г. из таких уже договоренных 11 выступлений было в последний момент запрещено 9) или чтение по радио. Да просто дать рукопись «прочесть и переписать» у нас теперь под уголовным запретом (древнерусским писцам пять столетий назад это разрешалось!).

Так моя работа окончательно заглушена, замкнута, оболгана.

При таком грубом нарушении моих авторских и «других» прав — возьмется или не возьмется IV Всесоюзный съезд защитить меня? Мне кажется, этот выбор немаловажен и для литературного будущего кое-кого из делегатов.

Я спокоен, конечно, что свою писательскую задачу я выполню при всех обстоятельствах, а из могилы — еще успешнее и неоспоримее, чем живой. Никому не перегородить путей правды, и за движение ее я готов принять и смерть. Но, может быть, многие уроки научат нас, наконец, не останавливать пера писателя при жизни?

Это еще ни разу не украсило нашей истории.

16 мая 1967 г. **СОЛЖЕНИЦЫН А. И.**

В СЕКРЕТАРИАТ ПРАВЛЕНИЯ СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР ВСЕМ СЕКРЕТАРЯМ ПРАВЛЕНИЯ

Мое письмо IV съезду Союза писателей, хотя и поддержанное более, чем ста писателями, осталось без оглашения и без ответа. Лишь распространились однообразные, по-видимому, централизованные, слухи, успокаивающие общественное мнение: будто архив и роман мне возвращены, будто печатается «Раковый корпус» и книга рассказов. Но все это — ложь, как вы знаете.

Секретари Правления СП СССР Г. Марков, К. Воронков, С. Сартаков, Л. Соболев в беседе со мной 12 июня 1967 г. заявили, что Правление СП считает своим долгом публично опровергнуть низкую клевету, распространявшуюся обо мне и моей военной биографии. Но не только не последовало опровержения, а клевета не унимается: на закрытых инструктажах, активах, семинарах обо мне распространяется новый фантастический вздор, вроде того, что я бежал в Арабскую республику, не то в Англию (хотел бы заверить клеветников, что они побегут скорей). Наиболее же настойчиво видными лицами выражается сожаление, что я не умер в лагере, что был освобожден оттуда. (Впрочем, и сразу после «Ивана Денисовича» такие сожаления уже выражались. Теперь эта книга тайно изымается из библиотечного пользования).

Те же секретари Правления обещали «рассмотреть вопрос» по крайней мере о печатании моей последней повести «Раковый корпус». Но за три месяца — четверть года! — и это нисколько не сдвинулось. За три месяца сорок два секретаря Правления не оказались способны ни вынести оценку повести, ни принять рекомендации о ее печатании. В этом странном равновесии — без прямого запрета и без прямого дозволения — моя повесть существует уже более года, с лета 1966-го. Сейчас журнал «Новый мир» хочет печатать эту повесть, однако не имеет разрешения.

Думает ли Секретариат, что от такой бесконечной затяжки моя повесть тихо изникнет, перестанет существовать и не надо будет голосовать о включении или невключении ее в отечественную литературу? А между тем, начиная с писателей, она охотно читается. По воле читателей она уже разошлась в сотнях машинописных экземпляров. При встрече 12 июня я предупредил Секретариат, что надо спешить ее печатать, если мы хотим ее появления сперва на русском языке; что в таких условиях мы не сможем остановить ее неконтролируемого появления на Западе.

После многомесячной бессмысленной затяжки приходит пора заявить: если так произойдет, то по явной вине (а может быть и по тайному желанию?) Секретариата Правления СП СССР.

Я настаиваю на опубликовании моей повести безотлагательно.

12 сентября 1967 г. **СОЛЖЕНИЦЫН**

ОБРАЩЕНИЕ К СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ

Когда-то мы не смели и шепотом шелестеть. Теперь вот пишем и читаем. Самиздат, а уж друг другу-то, сойдясь в курилках НИИ, от души нажалуемся: чего только они не накуролесят, куда только не тянут нас? И ненужное космическое хвастовство при разорении и бедности дома; и укрепление дальних диких режимов; и разжигание гражданских войн; и безрассудно вырастили Мао-Цзе-дуна (на наши средства) и — нас же на него погонят, и придется идти, куда денешься? И судят, кого хотят, и здоровых загоняют в умалишенные — всё «они», а мы — бессильны.

Уже до донышка доходит, уже всеобщая духовная гибель насунулась на всех нас, и физическая вот-вот запылает и сожжет нас и наших детей, — а мы по-прежнему все улыбаемся трусливо и лепечем косноязычно.

— А чем же мы помешаем? У нас нет сил.

Мы так безнадежно расчеловечились, что за сегодняшнюю скромную кормушку отдадим все принципы, душу свою, все усилия наших предков, все возможности для потомков — только бы не расстроить своего утлого существования. Не осталось у нас ни твердости, ни гордости, ни сердечного жара. Мы даже всеобщей атомной смерти не боимся, третьей мировой войны не боимся (может, в щелочку спрячемся), мы только боимся шагов гражданского мужества! Нам только бы не оторваться от стада, не сделать шага в одиночку — и вдруг оказаться без белых батонов, без газовой колонки, без московской прописки.

Уж как долбили нам на политкружках, так в нас и вросло, удобно жить, на весь век хорошо: среда, социальные условия,

из них не выскочишь, бытие определяет сознание, мы-то при чем! Мы ничего не можем.

А мы можем — все! — но сами себе лжем, чтобы себя успокоить. Никакие не «они» во всем виноваты — мы сами, только мы!

Возразят: но ведь, действительно, ничего не придумаешь! Нам залепили рты, нас не слушают, не спрашивают. Кто же заставит их послушать нас?

Переубедить их — невозможно.

Естественно было бы их переизбрать! — но перевыборов не бывает в нашей стране.

На Западе люди знают забастовки, демонстрации протеста, — но мы слишком забиты, нам это страшно: как это вдруг — отказаться от работы, как это вдруг — выйти на улицу!

Все же другие роковые пути, за последнии век опробованные в горькой русской истории, — тем более не для нас, и вправду — не надо! Теперь, когда все топоры своего дорубились, когда все посеянное взошло — видно нам, как заблудились, как зачадились те молодые, самонадеянные, кто думали террором, кровавым восстанием и гражданской войной сделать страну справедливой и счастливой. Нет, спвсибо, отцы просвещения! Теперь-то знаем мы, что гнусность методов располагается в гнусности результатов. Наши руки — да будут чистыми!

Так круг — замкнулся? И выхода — действительно нет? И остается нам только бездейственно ждать: вдруг случится что-нибудь свмо?..

Но никогда оно от нас не отлипнет само, если мы все дни будем его признавать, прославлять и упрочнять, если не оттолкнемся хотя б от самой его чувствительной точки.

От — лжи.

Когда насилие врывается в мирную людскую жизнь — его лицо пылает от самоуверенности, оно так и на флаге несет, и кричит: «Я — Насилие! Разойдись, расступись — раздавлю!» Но насилие быстро стареет, немного лет — оно уже не уверено в себе, и чтобы держаться, чтобы выглядеть прилично, — непременно вызывает себе в союзники Ложь. Ибо: насилию нечем прикрыться, кроме лжи, а ложь может держаться только насилием. И не каждый день, не на каждое плечо кладет насилие свою тяжелую лапу: оно требует от нас только покорности лжи, ежедневного участия во лжи — и в этом вся верноподданность.

И здесь-то лежит пренебрегаемый нами, самый простои, самый доступный ключ к нашему освобождению: личное неучастие во лжи. Пусть ложь все покрыла, пусть ложь всем владеет, но в самом малом упремся: пусть владеет не через меня!

И это — прорез во мнимом кольце нашего бездействия! — самый легкий для нас и самый разрушительный для лжи. Ибо когда люди отшатываются ото лжи — она просто перестает существовать. Квк зараза, она может существовать только на людях.

Не призываемся, не созрели мы идти на площади и громогласить правду, высказывать вслух что думаем, — не надо, это страшно. Но хоть откажемся говорить то, чего не думаем!

Вот это и есть наш путь, самый легкий и доступный при нашей проросшей органической трусости, гораздо легче (страшно выговорить) гражданского неповиновения по Ганди.

Наш путь: ни в чем не поддерживать лжи сознательно! Осознав, где граница лжи (для каждого она еще по-разному видна), — отступиться от этой гангренной границы! Не подклеивать мертвых косточек и чешуек Идеологии, не сшивать гнилого тряпья — и мы поражены будем, как быстро и беспомощно ложь опадет, и чему надлежит быть голым — то явится миру голым.

Итак, через робость нашу пусть каждый выберет: остается ли он сознательным слугою лжи (о, разумеется, не по склонности, но для прокормления семьи, для воспитания детей в духе лжи!), или пришла ему пора отряхнуться честным человеком, достойным уважения и детей своих, и современников. И с этого дня он:

— впредь не напишет, не подпишет, не напечатает никаким способом ни единой фразы, искрнвляющей, по его мнению, правду;

— такой фразы ни в частной беседе, ни многолюдно не выскажешь ни от себя, ни по шпаргалке, ни в роли агитатора, учителя, воспитателя, ни по театральной роли;

— живописно, скульптурно, фотографически, технически, музыкально не изобразит, не сопроводит, не протранслирует ни одной ложной мысли, ни одного искажения истины, которое различает;

— не приведет ни устно, ни письменно ни одной «руководящей» цитаты из угождения, для страховки, для успеха своей работы, если цитируемой мысли не разделяет полностью или она не относится точно сюда;

— не даст принудить себя идти на демонстрацию или митинг, если это против его воли и желания; не возьмет в руки, не подымет транспаранта, лозунга, которого не разделяет полностью;

— не поднимет голосующей руки за предложение, которому не сочувствует искренне: не проголосует ни явно, ни тайно за лицо, которое считает недостойным или сомнительным;

— не даст загнать себя на собрание, где ожидается принудительное, искаженное обсуждение вопроса;

— тотчас покинет заседание, собрание, лекцию, спектакль, киносеанс, как только услышит от оратора ложь, идеологический вздор или беззастенчивую пропаганду;

— не подпишется и не купит в рознице такую газету или журнал, где информация искажается, первосущные факты скрываются.

Мы перечислили, разумеется, не все возможные и необходимые уклонения ото лжи. Но тот, кто станет очищаться — взором очищенным легко различит и другие случаи.

Да, на первых порах выйдет не равно. Кому-то на время лишиться работы. Молодым, желающим жить по правде, это очень осложнит нх молодую жизнь при начале; ведь и отвечаемые уроки набиты ложью, надо выбирать. Но и ни для кого, кто хочет быть честным, здесь не осталось лазейки: никакой день никому из нас даже в самых безопасных технических науках не обмануть хоть одного из названных шагов — в сторону правды или в сторону лжи; в сторону духовной независимости или духовного лакейства. И тот, у кого не достанет смелости даже на защиту своей души — пусть не гордится своими передовымн взглядами, не кичится, что он академик или народный артист, заслуженный деятель или генерал, — так пусть и скажет себе: я — быдло и трус, мне лишь бы сытно и тепло.

Даже этот путь — самый умеренный изо всех путей сопротивления — для засидевшихся иас будет нелегок. Но насколько же легче самосожжения или даже голодовки: пламя не охватит твоего туловища, глаза не лопнут от жара, и черный-то хлеб с чистой водою всегда найдется для твоей семьи.

Преданный нами, обманутый нами великии народ Европы — чехословацкий, неужели не показал нам, как даже против танков выстаивает незащищенная грудь, если в ней достойное сердце?

Это будет нелегкий путь? — но самый легкий из возможных. Нелегкий выбор для тела, — но единственный для души. Нелегкий путь, — однако есть уже у нас люди, даже десятки их, кто годами выдерживает все эти пункты, живет по правде.

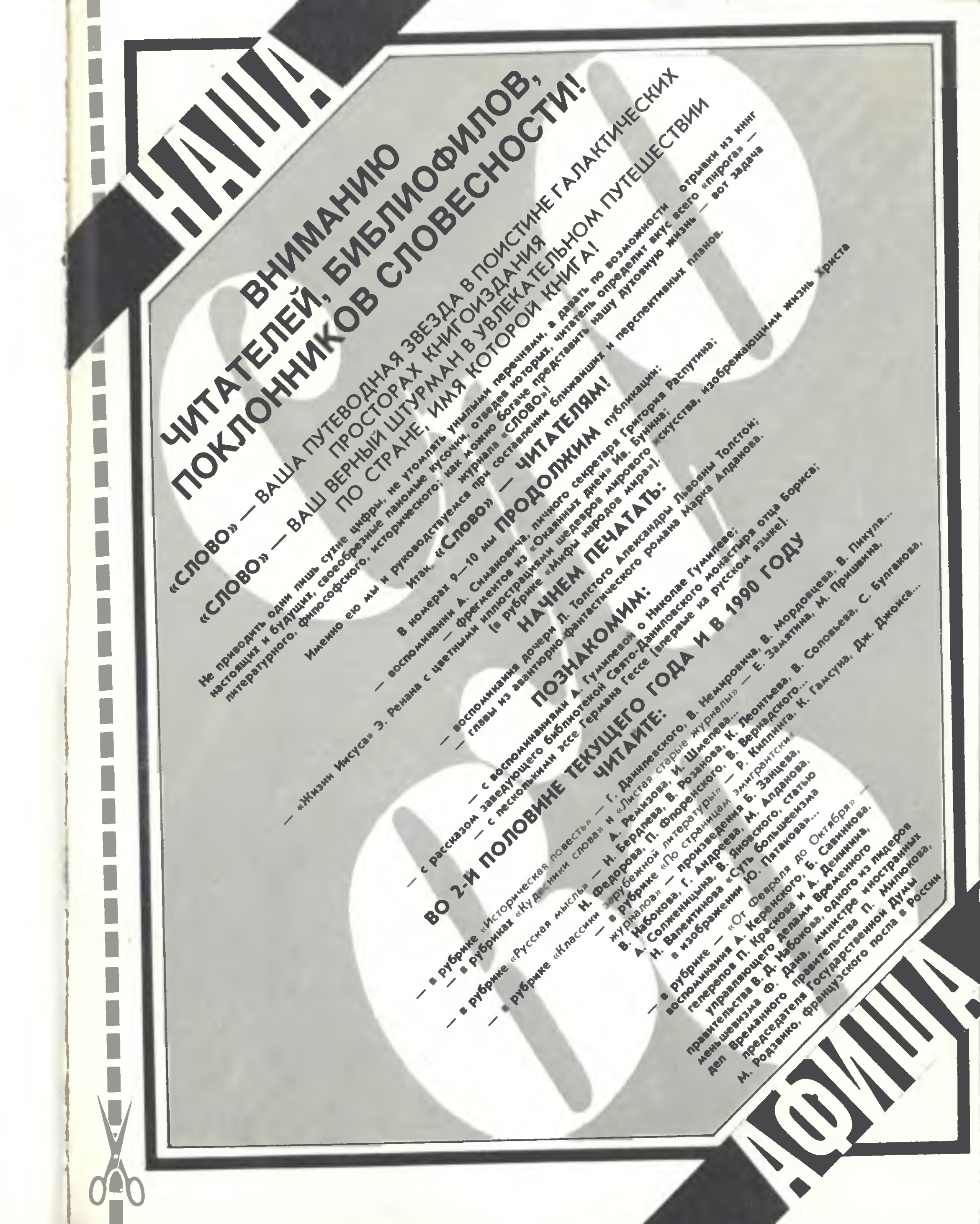
Итак: не первыми на этот путь, а — присоединиться! Тем легче и тем короче окажется всем нам этот путь, чем дружнее, чем гуще мы на него вступим! Будут нас тысячи — и не управятся, ни с кем ничего не поделать. Станут нас десятки тысяч — и мы не узнаем нашей страны!

Если ж мы струсим, то довольно жаловаться, что кто-то нам не дает дышать — это мы сами себе не даем! Пригнемся еще, подождем, а наши братья биологи помогут приблизить чтение наших мыслей и переделку наших генов.

Если и в этом мы струсим, то мы — ничтожны, безнадежны, н это к нам пушкинское презрение:

К чему стадам дары свободы?
Наследство их из рода в роды
Ярмо с гремушками да бич.

12 февраля 1974 г.



НАША АФИША

М. Палеолога, английского посла в России
Дж. Бьюкенена, Л. Троцкого, В. Бонч-Бруевича,
А. Луначарского, А. Шляпникова,
С. Мстиславского, В. Антонова-Овсеенко,
Н. Подвойского, И. Сталина, Л. Каменева,
Г. Зиновьева, Л. Мартова, Н. Крупской,
Г. Плеханова, И. Церетели...

— в рубрике «Таинства магии» — фрагменты сочинения С. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила», а также «Встречи с ясновидящими» — рассказ Дмитрия Жукова со слов В. В. Шульгина, авторе недавно переизданной книги «Дни. 1920-й год»;

— в рубрике «Литературное наследие» — В. Чивилихина, В. Федорова, И. Акулова, И. Майского, С. Маркова...

— в рубрике «Книга, о которой спорят» — диалог писателя Р. Баландина и ученого Н. Московченко о работе Я. Рапопорта, освещающего «дело врачей» 1953 года».

ИЗ РЕДКИХ ПУБЛИКАЦИИ:

— воспоминания Айседоры Дункан «Моя исповедь»; — фрагменты романа А. Дюма-отца о Пушкине; — воспоминания современников о встречах с А. Твардовским и М. Шолоховым; — размышления Надежды Мандельштам; — дневники Бориса Шергина; — воспоминания Анны Вырубовой, написанные в эмиграции; — незаконченную повесть Николая Гумилева «Веселые братья»... — неизвестные рассказы Арк. Аверченко.

На страницах журнала выступят **ПИСАТЕЛИ-СОВРЕМЕННИКИ:** Виктор Астафьев, Василий Белов, Юрий Бондарев, Леонид Бородин, Иван Васильев, Михаил Воздвиженский, Сергей Воронин, Михаил Вострышев, Павел Горелов, Николай Доризо, Борис Екимов, Станислав Золотцев, Владимир Крупин, Юрий Кузнецов, Виктор Лихоносов, Юрий Максимов, Эдуардас Межелаитис, Олег Михайлов, Гарий Немченко, Михаил Петров, Сергей Плеханов, Юрий Прокушев, Валентин Распутин, Михаил Синельников, Николай Старшинов, Анатолий Ткаченко, Ярослав Шипов...

ПО-ПРЕЖНЕМУ мы будем вести острополемический заинтересованный разговор о тенденциях литературного процесса, о проблемах современного книгоиздания.

СЛОВО ВОЗЬМУТ:

Председатели Госкомиздатов: Белоруссии — М. Делец, Казахстана — К. Закирьянов, Литвы — Ю. Некрошюс...

Директора издательств: А. Авеличев («Прогресс»), В. Адамов («Книга»), Г. Анджапаридзе («Художественная литература»), Д. Евдокимов («Московский рабочий»), А. Курилко («Книжная палата»), В. Набирухин (Лениздат), Л. Фролов («Современник»), Х. Тлемисов («Кайнар», Каз. ССР)...

ТАКОВЫ НАШИ ПЛАНЫ

А кого и что вы хотели бы прочесть помимо указанных авторов и произведений? Просим отметить, что вас особенно заинтересовало в **АФИШЕ**, и, не откладывая, прислать предложения, замечания, заявки с тем, чтобы редакция смогла уточнить и скорректировать свои планы.

СЛОВО ЗА ЧИТАТЕЛЯМИ!

Подписка на журнал «СЛОВО» принимается во всех почтовых отделениях и учреждениях «Союзпечати» с любого номера без ограничении. О всех случаях отказа в подписке просим сообщать в редакцию.

Очень сожалеем, но в розничной продаже нашего журнала НЕТ.

В каталоге «Союзпечати» ищите журнал «В мире книг» (индекс 70110).

По договоренности с издательством «Книга», начиная с 1990 года, будут выходить сборники-приложения к «Слову», в которых литературно-художественные, исторические и философские публикации, помещенные на страницах журнала, представят в полном объеме. Ориентировочно первый выпуск будет состоять из дневников Николая II, воспоминаний А. Вырубовой, А. Симановича, В. Пуришкевича и т. д.

КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ

Люблю книги. С детства верно и преданно люблю. Собираю, дорожу. В наш век дефицита хорошо помню историю приобретения едва ли не каждой: тут целая гамма переживаний. Такого рода эмоции знают, вероятно, только отечественные книголюбы, вечно преследуемые охотничьим стремлением «достать» — и не какой-то там раритет, а в сущности, обыкновенную заинтересовавшую новинку.

И все-таки, находясь в этом небольшом зале ДК издательства «Правда», испытывал то ли зависть, то ли комплекс какой-то книголюбской неполноценности... Здесь проходила первая выставка-конкурс миниатюрных книг, изготовленных читателями журнала «Полиграфия» на основе публиковавшихся в этом журнале произведений известных поэтов и прозаиков.

На обложках выставленных в витринах книжечек имена Ахматовой, Бальмонта, Булгакова, Бернса, Горького, Гумилева, Есенина, Окуджавы, Пастернака, Рубцова, Северянина, Тютчева, Хайяма, Цветаевой, Шекспира... Около двух с половиной лет назад в редакции «Полиграфии» родилась и начала осуществляться эта чрезвычайно понравившаяся читателям идея: составить себе библиотечку из самостоятельно переплетенных мини-книг. Одновременно был объявлен и конкурс на лучший переплет. Что значит его сделать — не обязательно даже лучший — могу, к сожалению, только догадываться: из того, что увидел, из услышанных разговоров людей сведущих. Вот признание одного из них — инженера-контролера В. Маркова: «Хочу подчеркнуть, что самое главное в этом деле — сделать по-настоящему красивую книгу... Работа над каждой книгой — это постоянный творческий эксперимент. Очень трудно расставаться с завершенной книгой, в которую помимо физического труда вложена часть души, но нужно идти дальше, не стоять на месте».

А рядом — оживленное профессиональное обсуждение. Одни стремятся понять, каким способом, с помощью каких материалов сделан тот или иной переплет. Другие удовлетворенно объясняют: секреты производства им ведомы.

Глядя на особенно красивые, с любовью и изобретательностью сделанные переплеты, например, А. М. Подшивалова (шесть книжек, оформленных серийно: разного цвета обложки с корешками и уголками из кожи) или Э. М. Ткачука (стилизация под богатые издания прошлого века: чернь и золото по бордовому фону), вполне осознаешь, как действительно трудно расстаться с завершенной книгой — и не только творчески, а просто отпустить ее куда-то от себя. Тем не менее, подчеркнул инициатор конкурса главный редактор журнала «Полиграфия» А. И. Овсянников, в редакцию было прислано около двухсот работ, а для выставки отобрано — сто. И что интересно — среди них немало книжечек, переплетенных разного возраста детьми, переплетенных, может быть, не столь искусно, без того разнообразия приемов и материалов, как в лучших экспонатах, представленных взрослыми, но, что называется, со старанием и удовольствием. То ли еще будет, когда появятся опыт и настоящий профессионализм!

Один из посетителей выставки ходил, смотрел и, как выяснилось, сравнивал и колебался. Не решился он послать свои работы на конкурс, а здесь — не выдержал, показал («просто так») конкурсной комиссии. И художественный уровень, и техника исполнения его переплетов были по достоинству оценены, выставлены и допущены к участию в конкурсе. Автор, полковник в отставке В. А. Чурсин, научился переплетному делу по материалам журнала «Полиграфия», сумел достичь немалого в своем неожиданном увлечении. Тронутый вниманием, он благодарил редакцию: «Прекрасная, великолепная затея». Выражение признательности по поводу «затеи» журнала — и во многих читательских письмах, с которыми довелось познакомиться. Говоря об ее общественном смысле, один из выступавших на вернисаже совершенно справедливо сочетал понятия «досуг» и «культура».

Это именно так. Ведь, с одной стороны, редакция предложила читателям игру (вспомним слова Барбюса: «для детей игры серьезные занятия, играют только взрослые»), а с другой — результат, продукт, что ли, этой игры, несомненная принадлежность культуры, подобно любому другому явлению самодеятельного творчества. Кроме того, собственноручно производя — *с о б и р а я*, оформляя, украшая книгу в ее современной полиграфической или сувенирной форме (например, в виде кошелька, были и такие на выставке), — читатель как бы становится на более высокую ступень своего с ней взаимодействия, оказывается не только потребителем ее содержания, но и ее сотворцом, материализует в ней и собственную духовность. И как раз в этом видят свой преимущественный интерес, стимул к игре, предложенной «Полиграфией», многие подписчики журнала. Но, судя по письмам, еще больше таких — и тут придется взять грустную ноту, — для которых эта игра едва ли не единственная возможность (так и пишут) стать обладателем пусть и небольшого томика, допустим, стихов популярного поэта. Спасибо и за то журналу «Полиграфия». Но увы, друзья мои, книголюбы, к каким только ухищрениям не заставляет прибегать нас нужда! Вот и конкурс переплетов...

...И завидую я прежде всего тем умельцам *к н и г о д е л а н и я*, которым оно нужно не просто утилитарно, а именно чтобы *и г р а т ь*, чтобы творить. Тут ведь необходимы и руки золотые, и вкус, и душа живая — нужен талант!

Б. ПЕТРОВ



Фото НИКОЛАЯ КУЛЕБЯКИНА

Книги, изготовленные Владимиром Дмитриевичем Марковым, инженером-конструктором из г. Дубна, отмечены специальной премией «За пропаганду переплетного мастерства».

СЛОВО № 8 август 1989

Издается с сентября 1936 года

Литературно-художественный журнал Госкомиздатов СССР и РСФСР

В НОМЕРЕ:

Сдано в набор 29.05.89. Подписано в печать 05.07.89. А03403. Печать глубокая и офсетная. Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. л. 13,55+1,33 вкл. Тираж 148 712. Заказ 354. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 129272, Москва, Сущевский вал, 64

Телефон для справок: 281-50-98

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфкомбинат Госкомиздата СССР. 170024, г. Калинин, проспект Ленина, 5.

Во всех случаях обнаружения полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться на Калининский полиграфкомбинат по адресу, указанному в выходных сведениях.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимается «Союзпечать».



Михаил Врубель. Женская фигура на котурнах.